

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Редакционный совет

Александрова О. В., д. филол. н., проф. (Россия, МГУ)
Балина М., д-р, проф. (США, ун-т Иллинойс Везлиан)
Богданова-Бегларян Н. В., д. филол. н., проф. (Россия, СПбГУ)
Буле О., д-р, доц. (Нидерланды, ун-т Лейдена)
Вендина Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, Москва, Институт славяноведения РАН)
Виноградов В. А., д. филол. н., член-корр. РАН (Россия, Москва, Институт языкознания РАН)
Войтак М., д-р, проф. (Польша, Люблинский ун-т)
Ерофеева Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Котельников В. А., д. филол. н., проф. (Россия, СПб., Институт русской литературы РАН)
Краузе М., д-р, проф. (Германия, ун-т Гамбурга, Институт славистики)
Мызников С. А., д. филол. н., проф. (Россия, СПб., Институт лингвистических исследований РАН)
Овчинникова И. Г., д. филол. н., проф. (Израиль, ун-т Хайфы)
Полякова Е. Н., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
Рут М. Э., д. филол. н., проф. (Россия, УрГУ)
Савкина И., д-р, проф. (Финляндия, ун-т Тампере)
Саксена Р., д-р, проф. (Индия, ун-т Дели)
Ушакова О. М., д. филол. н., доц. (Россия, ТюменГУ)
Фэвр-Дюпэгр А., д-р, доц. (Франция, ун-т Пуатье)

Редакционная коллегия

<i>Табункина И. А.</i> (гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Данилевская Н. В.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
<i>Русинова И. И.</i> (зам. гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Дускаева Л. Р.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, СПбГУ)
<i>Шутёмова Н. В.</i> (зам. гл. ред.), д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Ерофеева Е. В.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
<i>Абашев В. В.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)	<i>Кондаков Б. В.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
<i>Абашева М. П.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГГПУ)	<i>Кочкарева И. В.</i> , к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
<i>Алексеева Л. М.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)	<i>Кушнина Л. В.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
<i>Арустамова А. А.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Мишланов В. А.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
<i>Баженова Е. А.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Мышкина Н. Л.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
<i>Боронникова Н. В.</i> , к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Нестерова Н. М.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
<i>Бочкарёва Н. С.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)	<i>Петрова Н. А.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГГПУ)
<i>Братухин А. Ю.</i> , к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Подюков И. А.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГГПУ)
<i>Бурдина С. В.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Проскурнин Б. М.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
	<i>Серова Т. С.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
	<i>Фоминых Т. Н.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГГПУ)

Адрес учредителя и издателя: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15. E-mail: langlit2009@mail.ru.

Адрес редакции: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 (Факультет современных иностранных языков и литератур, Филологический факультет).

Сайт журнала: <http://www.rfp.psu.ru>.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77-66482 от 14.07.2016 г.

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям 10.01.00 – литературоведение, 10.02.00 – языкознание от 01.12.2015 г.

Founder: Perm State University

Editorial Council

- Olga Aleksandrova* (Russia, Moscow State University)
Marina Balina (USA, Illinois Wesleyan University)
Natalya Bogdanova-Beglarian (Russia, Saint Petersburg State University)
Otto Boele (Netherlands, Leiden University)
Tatyana Vendina (Russian Academy of Sciences, Moscow, Institute of Slavic Studies)
Victor Vinogradov (Russian Academy of Sciences, Moscow, Institute of Linguistics)
Maria Voytak (Poland, Lublin University)
Tamara Erofeeva (Russia, Perm State University)
Vladimir Kotelnikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Russian Literature)
Marion Krause (Germany, University of Hamburg, Institute for Slavic Studies)
Sergey Myznikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Linguistic Studies)
Irina Ovchinnikova (Israel, University of Haifa)
Elena Polyakova (Russia, Perm State University)
Mary Rut (Russia, Ural State University)
Ranjana Sxaena (India, University of Delhi)
Irina Savkina (Finland, University of Tampere)
Olga Ushakova (Russia, Tyumen State University)
Anne Faivre Dupaigne (France, University of Poitiers)

Perm Editorial Board

- | | |
|--|---|
| <i>Irina Tabunkina</i> – Editor-in-Chief
(Perm State University) | <i>Boris Kondakov</i> (Perm State University) |
| <i>Irina Rusinova</i> – Associate Editor
(Perm State University) | <i>Irina Kochkareva</i> (Perm State University) |
| <i>Natalya Shutemova</i> – Associate Editor
(Perm State University) | <i>Ludmila Kushnina</i>
(Perm National Research Polytechnic University) |
| <i>Vladimir Abashev</i> (Perm State University) | <i>Valerij Mishlanov</i> (Perm State University) |
| <i>Marina Abasheva</i>
(Perm State Humanitarian-Pedagogical University) | <i>Nelly Myshkina</i>
(Perm National Research Polytechnic University) |
| <i>Larissa Alekseeva</i> (Perm State University) | <i>Natalya Nesterova</i>
(Perm National Research Polytechnic University) |
| <i>Anna Arustamova</i> (Perm State University) | <i>Irina Ovchinnikova</i> (Perm State University) |
| <i>Elena Bazhenova</i> (Perm State University) | <i>Natalya Petrova</i>
(Perm State Humanitarian-Pedagogical University) |
| <i>Natalya Boronnikova</i> (Perm State University) | <i>Ivan Podukov</i> (Perm State Humanitarian-Pedagogical University) |
| <i>Nina Bochkareva</i> (Perm State University) | <i>Boris Proskurnin</i> (Perm State University) |
| <i>Alexandr Bratukhin</i> (Perm State University) | <i>Tamara Serova</i>
(Perm National Research Polytechnic University) |
| <i>Svetlana Burdina</i> (Perm State University) | <i>Tatyana Fominykh</i>
(Perm State Humanitarian-Pedagogical University) |
| <i>Natalya Danilevskaya</i> (Perm State University) | |
| <i>Liliya Duskaeva</i> (Saint Petersburg State University) | |
| <i>Elena Erofeeva</i> (Perm State University) | |

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО

Братухин А. Ю. К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В СОЧИНЕНИЯХ КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО	5
Ганичева С. А. ДИАЛЕКТНЫЕ АФФИКСАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ ГЛАГОЛОВ-ЗООФОНОВ (на материале «Лексического атласа русских народных говоров»)	13
Подюков И. А. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ РУССКИХ НАРОДНЫХ МИФОНИМОВ И ОБРЯДОВЫХ ТЕРМИНОВ КОМИ-ПЕРМЯЦКИМ ЯЗЫКОМ	20
Дементьева А. М. ФИНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИНЛЯНДСКОГО ВАРИАНТА ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА	32
Эйсмонт П. М. ОБ ОБРАЗЕ ЗАЙЦА В НАИВНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА	41
Медведева Е. А. СТИЛИСТИКО-ТЕКСТОВЫЙ СТАТУС ПЕРСУАЗИВНОСТИ МЕДИАТЕКСТА	52
Твердохлеб О. Г. ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ В ПОЭЗИИ Н. С. ГУМИЛЕВА	59
Ширинкина М. А. ДИСКУРС ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ	67
Яковлева Е. Л. РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА КАК КУЛЬТУРНОГО ПОСРЕДНИКА В ПРОДВИЖЕНИИ ТАЙВАНЬСКИХ КОМПАНИЙ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ	75

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

Бурова И. И. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИПОСТАСИ ЭНН ИЗАБЕЛЛЫ ТЕККЕРЕЙ, ВИКТОРИАНСКОЙ ЛЕДИ И ФЕМИНИСТКИ	85
Дронова О. А. ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО СЪЕМНОЙ КАЗАРМЫ: МОТИВ ДОМА В РОМАНАХ «НОВОЙ ДЕЛОВИТОСТИ»	94
Дубровских Т. С. ЭСТЕТИКА НЕОБЫЧАЙНОГО В КНИГЕ Н. АСЕЕВА «ПРОЗА ПОЭТА»	103

К 100-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА

Ерофеева Т. И., Ерофеева Е. В. СОЦИАЛЬНАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (краткий обзор, 1916–2016)	112
Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. ПЕРМСКАЯ ШКОЛА МЕТАФОРЫ	122
Пустовалов А. В. СТОЯ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ: ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ	134

CONTENTS

LANGUAGE, CULTURE, SOCIETY

Alexander Ju. Bratukhin CONCERNING INTERPRETATION OF PRECEDENT TEXTS IN WORKS BY CLEMENT OF ALEXANDRIA	5
Svetlana A. Ganicheva DIALECT AFFIXAL PARADIGMS OF VERBS DENOTING ANIMAL AND BIRD SOUNDS	13
Ivan A. Podjukov PECULIARITIES OF MASTERING RUSSIAN FOLK MYTHOLOGICAL NAMES AND RITUAL TERMS IN THE KOMI-PERMYAK LANGUAGE	20
Alexandra M. Demytyeva FINNISH INFLUENCE ON THE VOCABULARY OF FENNO-SWEDISH	32
Polina M. Eismont THE MENTAL IMAGE OF “RABBIT” IN THE NAÏVE LINGUISTIC WORLD VIEW	41
Evgeniya A. Medvedeva THE STYLISTIC AND TEXT STATUS OF MEDIA TEXT PERSUASIVENESS	52
Olga G. Tverdokhlebo OBJECTS OF COMPARISON IN NIKOLAY GUMILEV’S POETRY	59
Mariya A. Shirinkina EXECUTIVE DISCOURSE: THE CONCEPT REVISITED	67
Elena L. Yakovleva THE ROLE OF A TRANSLATOR AS A CULTURAL MEDIATOR IN THE PROMOTION OF TAIWANESE COMPANIES IN THE POST-SOVIET AREA	75

LITERATURE IN THE CULTURAL CONTEXT

Irina I. Burova LITERARY GUISES OF ANNE ISABELLA THACKERAY, A VICTORIAN LADY AND FEMINIST	85
Olga A. Dronova FROM THE HOTEL TO THE RENTAL HOUSING: THE MOTIF OF HOME IN NOVELS OF THE “NEW OBJECTIVITY”	94
Tatyana S. Dubrovskikh AESTHETICS OF THE FANTASTIC IN THE BOOK “THE PROSE OF THE POET” BY N. ASEEV	103

ON THE 100th ANNIVERSARY OF PERM STATE UNIVERSITY

Tamara I. Erofeeva, Elena V. Erofeeva SOCIAL DIALECTOLOGY AT PERM UNIVERSITY (brief overview, 1916–2016)	112
Larissa M. Alekseeva, Svetlana L. Mishlanova PERM SCHOOL OF METAPHOR	122
Alexey V. Pustovalov STANDING ON THE GIANTS’ SHOULDERS: FOREIGN PHILOLOGY AT PERM UNIVERSITY	134

УДК 821.14

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В СОЧИНЕНИЯХ КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО

Александр Юрьевич Братухин

к. филол. н., доцент кафедры мировой литературы и культуры

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Пермь, ул. Букирева, 15. Bratuchko@yandex.ru

Климент Александрийский, интерпретируя или ссылаясь на известные тексты Гомера и иных древнегреческих авторов, порою достаточно основательно преобразует их. Маловероятно, что эти изменения случайны: Климент хорошо знал древнегреческую литературу и часто приводил точные цитаты из используемых произведений. Интерпретации александрийского автора были призваны подтвердить его тезисы и представляли собой как радикальное исправление оригинального текста или переоценку персонажей, так и дополнение, незначительное изменение и перестановку стихов. При сопоставлении случаев вольного обращения Климента с языческими сочинениями с более или менее точной передачей слов классических поэтов предшествующими христианскими писателями становится заметным развитие стиля христианской письменности: очевиден переход от использования стихов из древних поэм как «улики» против многобожия к превращению их в ряды *exempla*, в литературный фон, на котором развивается мысль автора. Подобное обращение с источниками сближает Климента не с апологетами Татианом и Феофилом, не решавшимися переделывать известные пассажи, а с Платоном или Плутархом, допускавшими переработку написанного предшественниками для создания нужного впечатления от их слов, и выдаёт в Клименте автора, который, пренебрегая фактографической точностью при изложении используемого им материала, стремился к созданию философского трактата, где в своеобразных притчах допустимы отступления от цитируемых источников.

Ключевые слова: Климент Александрийский; Гомер; Плутарх; Платон; *licentia poetica* («поэтическая вольность»).

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-5-12

Рассмотрим преобразования precedentных текстов античной литературы, которые позволяет себе Климент Александрийский, христианский автор рубежа II–III вв. Примеров создания им собственных пассажей при помощи фрагментов чужих сочинений очень много. Брамбилласка пишет, что классические цитаты и ссылки в «Увещевании» обусловлены самой структурой этого труда, «пронизывая каждый отрывок и постоянно затрагивая сердцевину текста Климента» [Brambillasca 1972: 10]. Прямых классических цитат (966) Климент использует в 3 раза больше, чем Иустин, Татиан, Афинагор, Феофил, Ириней, Ипполит Римский, Ориген, Минуций Феликс и Тертуллиан, вместе взятые, а не прямых (3063) – в 3,7 раз больше [Krause 1958: 128]. Как правило, отступления от источника у этого богослова, демон-

стрирующего хорошее знание классической литературы, не существенны, а потому те «ошибки», о которых пойдёт речь ниже, представляются весьма странными. Речь идёт о значительном изменении известных классических стихов. Мы высказываем предположение, что такие «погрешности» являются «поэтической вольностью», отдалённо напоминающей ту, с которой древнегреческие трагики перерабатывали мифы.

Precedentные тексты Ю. Н. Караулов определяет как «(1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращения к которым возобновляется неодно-

кратно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 2010: 216]. В нашей статье мы будем руководствоваться этой дефиницией.

Рассмотрим для примера фрагмент из «Педагога», где, проповедуя скромность ложа, Климент, по словам А.-И. Марру, делает «очень неточное изложение (*assez inexactement résumé*)» [Clément d'Alexandrie 1960: 156, n. 4] фрагмента из двадцать третьей песни «Одиссеи»: ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς τῆς νομφιδίου κλίνης τὸ σκάζον λίθῳ ἐπανῶρθοῦτο («Одиссей же при помощи камня устранил шатание брачного ложа»¹) (Paed. II, 9, 78, 2). В действительности Гомер говорит: «На дворе находилась маслина с темной / Сению, пышногустая, с большую колонну в объёме; / Маслину ту окружил я стенами из тесанных, плотно / Сложенных камней²; и, свод на стенах утвердивши высокий, / Двери двустворные сбил из досок и на петли навесил; / После у маслины ветви обсёк и поблизости к корню / Ствол отрубил топором, и отрубок у корня, отвсюду / Острою медью его по снуру обтесав, основаньем / Сделал кровати, его пробуравил, и скобелью брусья / Выгладил, в раму связал и к отрубку приладил, богато / Золотом их, серебром и слоновью костью украсив; / Раму ж ремнями из кожи воловьей, обшив их пурпурной / Тканью, стянул. Таковы все приметы кровати» (Od. XXIII, 190–202; здесь и ниже, если нет примечаний, пер. В. А. Жуковского). Слово *θάλαμος*, имеющее значение «спальня», метонимически может означать «брачное ложе»³. Климент, впрочем, всегда употребляет это слово в значении «брачный» чертог. Тем не менее он мог перетолковать 192–193-й стихи «Одиссеи» в нужном для него ключе: «Я ложе воздвиг, плотно подогнав один камень к другому».

Имя Пенелопы, к образу которой более ранние христианские авторы не обращались, появляется на страницах творений Климента Александрийского три раза. Это появление, очевидно, объясняется влиянием «внешних» писателей, а не заимствованием сюжета у предшествующих апологетов. В «Педагоге» Климент пишет: «Природа же не постоянно предоставляет время для брачного общения, но более желанным бывает более редкое соединение. Однако не следует, как во мраке, и ночью быть невоздержанным, но нужно помещать в душе стыдливость, словно свет разума. Мы не будем ничем отличаться от ткущей (*ἰστουρούσης*) Пенелопы, днём создавая ткань (*ἔξυφαίνοντες*) учения целомудрия, ночью же распуская (*ἀναλύοντες*), когда восходим на ложе» (Paed. II, 10, 97, 1–2). Александрийский богослов намекает на стихи Гомера: «День целый она <Пенелопа> за тканём проводила

(*ὑφαίνεσκεν μέγαν ἰστόν*), а ночью / Факел зажжёши, сама всё натканное днём распускала (*ἀλλύεσκεν*)» (Od. II, 104–105; XIX, 149–150; XXIV, 139–140). В изданиях «Педагога» в качестве параллели к этому месту приводится также пассаж из платоновского «Федона», где этот образ используется в похожем контексте: «<душа философа> не думает, будто дело философии – освободить её, а она, когда это дело сделано, может снова предаться радостям и печалям и надеть прежние оковы, наподобие Пенелопы, без конца распускающей свою ткань (*τινὰ ἐναντίως ἰστόν μεταχειριζομένης*)» (Plat. Phaedo. 84a, пер. С. П. Маркиша). Отметим, что лексических параллелей между текстом Климента и Платона нет и что образ Пенелопы, являющейся символом супружеской верности, у Климента, как и у Платона, появляется вне всякой связи с её целомудрием; более того, она оказывается связанной с отступлением от воздержания.

Яннис Цермулас указывает на главку из лукиановских «Беглецов», где также используется образ ткущей Пенелопы [Tsermoulas 1934: 100, n. 5]. Философия там говорит Зевсу: «Простые люди, глядя на эти <дурные дела псевдофилософов>, презирают философию, думают, что все <философы> таковы, и обвиняют меня за <такое> учение. Так что невозможно долгое время оставаться со мной тому, кого мне удастся привлечь к себе. Но со мной случается то же, что с Пенелопой: то, что я сотку (*ἔξυρήνω*), за короткое время снова распускается (*ἀλλύεται*)» (Luc. Fugit. 21). При этом Цермулас никак не комментирует упоминание Климентом Пенелопы в контексте осуждения невоздержанности [ibid.: 99–100].

Согласно Клоду Мондезеру, у Климента встречается использование слова, выражения, даже фразы без какого-либо внимания к особой авторитетности текста, к его собственному смыслу и ещё менее к его контексту, но «исключительно по причине экспрессивной окраски его значения (*valeur expressive*) для обсуждаемого предмета <...>. Климент не отказывается от этого использования <текстов>, он обращается к Платону и Гомеру, так же как сам Платон обращался к Гомеру <...>» [Mondésert 1944: 162]. Вероятнее всего, в рассматриваемом фрагменте Пенелопа появляется просто как риторический пример, который, однако, мог намекать на то, что добродетель язычников не может сравниться с новозаветной праведностью. Джон Фергюсон замечает, что сравнения, метафоры и образы у Климента не только литературные общие места, «не только приёмы обучения, предназначенные прояснить нечто тёмное ссылкой на знакомое; они выражают философию жизни» [Ferguson 1976: 67].

В «Педагоге» Климент доказывает, что молоко является совершенной пищей: «С полным основанием Господь вновь обещает молоко праведным, чтобы Логос явно показал Себя обоими, альфой и омегой, началом и концом. Нечто подобное и Гомер против своей воли прорицает, называя праведных людей галактофагами» (Paed. I, 6, 36, 1). Здесь Климент видоизменяет сообщение Гомера, у которого сказано: «<...> достославных гиппомолгов / галактофагов (т. е. питающихся лишь молоком) и абиев, справедливейших из людей» (II. XIII, 5–6, перевод наш. – А. Б.). По словам А.-И. Марру, «в своём рвении сделать из Гомера пророка Климент даёт галактофагам гиппомолгам (букв.: «доющим кобылиц», прим. наше. – А. Б.), названным просто “благородными”, эпитет “справедливые”, который поэт присваивает другому народу, абиям» [Clément d’Alexandrie 1960: 176, n. 1]. Климент, вероятно, истолковал название народа (Αβίων) как омонимичное прилагательное со значением «бедных» (ἀβίων). Именно так переводит текст Гомера (ἀγαῶν ἰππημολγῶν γλακτοφάγων Αβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων) Н. И. Гнедич: «<...> и дивных мужей гиппомолгов, / Бедных, питавшихся только млеком, справедливейших смертных».

В «Увещании к язычникам» Климент пишет: «Итак, убежим от обычая, убежим от него, как от опасного мыса, как от угрозы Харибды или как от мифических сирен: он душит человека, является западней, пропастью, бездной; он ненасытен: “ В сторону доложен ты судно отвести от волненья и дыма”⁴. Убежим, убежим, о спутники, от той волны: она извергает огонь (πῦρ ἐρεύεται)» (Protr. 12, 118, 1–2). У Гомера говорится: «Скилла грозила с одной стороны, а с другой пожирала / Жадно Харибда солёную воду: когда извергались / Воды из чрева её, как котле, на огне раскалённом (λέβης ὡς ἐν πυρὶ πολλῷ), / С свистом кипели они, клокоча и буровясь» (Od. XII 235–238).

В «Строматах» (V, 14, 116, 1) Климент, доказывая, что Гомер различал Отца и Сына, приводит подряд три стиха (410–411 и 275) из девятой песни «Одиссеи» с очень незначительными изменениями, где упоминается «Великий Зевс» и «Зевс-щитодержец»: εἰ μὲν δὴ οὐτίς σε βιάζεται οἶον ἔοντα («Если никто, для чего же один так ревёшь ты? Но если»), / νοῦσον δ’ οὐπὼς ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι («Болен, то воля на это Зевеса <великого>, её не избегнешь») (Od. IX, 410–411). / οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν («Ибо Зевес Щитодержец циклопов отнюдь не пугает») (IX, 275, пер. этого стиха наш. – А. Б.). Эндрию Иттер ссылается на это место, не анализируя

перестановку Климентом гомеровских строчек [Ittrer 2009: 150, n. 37].

В пользу сознательного изменения Климентом смысла гомеровского текста говорят следующие обстоятельства. Маловероятно, чтобы александрийский автор не помнил красочное описание устройства ложа царя Итаки или, приведя точную цитату из этой поэмы в «Увещании», тут же ошибся в парафразе. Преобразования стихов «Одиссеи» достаточно остроумны и не похожи на lapsus memoriae: появление в «Педагоге» камня (λίθος) и брачного ложа (νυμφίδιος κλίνη) вытекает из упоминания у Гомера камней (λιθάδες) (Od. XXIII, 193) и брачного чертога (θάλαμος) (Od. XXIII, 192). Приписывание волне способности извергать огонь можно объяснить наличием в гомеровской поэме сравнения кипящей волны с кипящим на огне котлом. При этом получившиеся пассажи соответствуют задачам христианского автора: доказать аскетизм древнегреческого героя, ярким сравнением предостеречь читателей от невоздержанности, проиллюстрировать совершенство молока как пищи, придать описанию Харибды inferнальный оттенок (ср.: Мф. 25:41) и доказать существование уже у Гомера зачаточных представлений о тричности Бога.

Право «исправлять» слова Гомера об устройстве спальни Одиссея, вероятно, вытекало для Климента из его уверенности в том, что одно – поэтическое описание, другое – истинное положение вещей. Поскольку Одиссей для александрийского автора – персонаж положительный⁵, его поступки должны соответствовать его образу. Такое исправление напоминает два отрывка из «Увещания», где Климент, приведя гомеровские или культовые эпитеты, тут же предлагает их изменить на более подходящие: «Посвящения, достойные ночи и огня, и многомужественного (II. II, 547), скорее же многосуетного племени Эректидов» (Protr. 2, 22, 1). «Хорош же Зевс Мантик (Прорицатель), Ксений (Защитник чужестранцев), Гикесий⁶ (Покровитель просящих), Мейлихий (Милостивый к кающимся), Паномфей (Посылающий все знамения), Простропей (Мстящий за преступления)! Скорее же Обидчик, Беззаконник, Преступник, Нечестивец, Бесчеловечный, Насильник, Раствитель, Прелюбодей, Сладострастник» (Protr. 2, 37, 1).

Ещё на одну «правку» гомеровского текста указывает Дэвид Досон: «Климент атакует излюбленную цель тех философски мыслящих критиков, которые находили гомеровскую поэзию неподходящей – его описание молитв (Litai) как дочерей Зевса. У Гомера старый возница Феникс говорит Ахиллу: “Так, Молитвы – смирен-

ные дочери великого Зевса – / Хромы, морщинисты, робко подъемлющи очи косые, / Вслед за Обидой они, непрестанно заботные, ходят. / Но Обида могуча, ногами быстра; перед ними / Мчится далёко вперёд и, по всей их земле упреждая, / Смертных язвит; а Молитвы спешат исцелять уязвлённых” (II. IX, 502–507, пер. Н. И. Гнедича). Гомер, возможно, рассматривал молитвы как аллегорические олицетворения Зевсова отклика на наказание; по крайней мере, античные читатели, подобные Архилоху и Алкею, истолковывали эту сцену таким образом. Но Климент истолковывает гомеровские слова буквально, высмеивая “хромающие, морщинистые, косоглазые” Молитвы как “дочерей скорее Терсита, чем Зевса” и с сарказмом вопрошая: “Разве справедливо, что люди у Зевса просят родительского счастья, которое он не смог дать самому себе?”» [Dawson 1992: 203].

В более позднюю эпоху такое «корректирование» получит продолжение. Свт. Григорий Богослов, как бы полемизируя с Платоном, утверждает: «Бога познать трудно, изречь же невозможно, как некто из богословов у эллинов философствовал, – надуманно (οὐκ ἀτέχως), мне кажется <...>. Но изречь невозможно, как я считаю, познать же невозможнее» (Greg. Naz. De theologia. Orat. 28, 4).

Отметим, что и при передаче других классических текстов Климент допускает отступления от первоисточника: «Из-за вина, без меры <выпитого>, язык делается связанным, губы становятся вялыми, глаза теряют естественность, словно бы лицо было погружено в обильную влагу, и, принуждённые заблуждаться, считают, что все вокруг крутится, но не могут сосчитать по отдельности то, что вдали: *И мнится мне, что два я вижу солнца* (Eur. Bacch. 918), говорил пьяный фиванский старец <...>» (Paed. II, 2, 24, 1). Климент не только превращает Пенфея в старика, но делает его своеобразным «илотом», демонстрирующим вред пьянства. Отметим, что в «Увещании» фиванский царь изображён более традиционно: «*И мнится мне, что два я вижу солнца, Фив / Двойных виденье предо мной <...>* — сказал некто, приведённый в исступление идолами, опьянённый неразбавленным вином невежества. Я, скорее всего, пожалею его, буйствующего во хмелю, и призову находящегося не в своём уме к трезвому спасению, потому что и Господь радуется раскаянию, а не смерти грешника» (Clem. Protr. 12, 118, 5).

В Strom. III, 2, 10, 2 Климент «исправляет» Платона, говорящего об общности жён. При этом истолкование христианским автором слов языческого философа переключается с истолкованием

последнего Эпиктетом (Epict. Dissert. II, 4, 8–10). По нашему мнению, такая интерпретация известных языческих текстов является не изолированным примером работы христианского автора с наследием античности, а естественным продолжением классической традиции, которой он, если хотел быть читаемым своими современниками, должен был следовать, примкнув «к господствующей моде» [Scham 1913: 173].

Андре Меа так характеризует Климента: «Аттицист по языку, он при случае проявляет себя как искусный писатель, способный занять место рядом с наиболее утончёнными и красноречивыми авторами своего времени – Плутархом, Лукианом, Дионом Хризостомом» [Méhat 1966: 15]. Первый из упомянутых французским исследователем писателей, обращение Климента к которому признаётся учёными [Pohlenz 1943: 129], неоднократно позволял себе видоизменять свои источники. Например, он так объясняет невозможность совместной трапезы Одиссея и Ифита: «Гомер, сказав “Но за стол пригласить свой друга не мог”⁷, очевидно, знал <происходящую от> вина словоохотливость, порождающую многословие» (Plut. Quaest. conv. III, 645a). На самом деле, согласно Гомеру, совместная трапеза Одиссея и Ифита не могла состояться из-за смерти последнего: «<...> прекратил сын Зевесов, Геракл беспощадный, / Жизнь благородному Ифиту, Еврита славного сыну» (Od. XXI, 36–37).

Беседу Телемаха с Нестором автор «Застольных бесед» объясняет желанием сына Одиссея порадоваться вопросами словоохотливого старика: «Старику, даже если <их> рассказ совершенно не нужен (κἂν μὴδὲν ἢ διήγησις ἢ προσήκουσα), спрашивающие о всякой всячине угождают и побуждают <их>, желающих, к разговору» (Plut. Quaest. conv. II, 631b). У Гомера Телемахом, если верить его словам, обращённым к Ментору-Афине, движет совсем иное чувство: «Я же теперь, о ином вопрошая, хочу обратиться / К Нестору – правдой и мудростью всех он людей превосходит» (Od. III, 243–244).

В восьмой книге «Застольных бесед» Плутарх, рассуждая о пристрастии современников к баням с горячей и холодной водой, изменяет гомеровский стих «Там в Ахеронт Пирифлегетон с Коцитом впадают (ἐνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι / Κόκυτός θ’)» (Od. X, 513–514, перевод наш. – А. Б.). Для того чтобы цитата соответствовала его предыдущим словам, он пишет: «Там Ахеронт с Пирифлегетон струятся (ἐνθα μὲν εἰς Ἀχέρον τε Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι); ибо это, как мне кажется, сказал бы некто из живших немного ра-

нее нас, если бы отворилась дверь бани» (*Plut. Quaest. conv. VIII, 734a–b*).

В сочинении «Об Исиде и Осирисе» Плутарх заявляет, что Платон называет Исиду кормилицей (τιθήνη) и всеохватывающей (πανδεχής) (*Plut. De Isid. et Osir. 372e [53]*), хотя Платон в соответствующих местах (*Plat. Tim. 49a, 51a*) Исиду не упоминает.

Возвращаясь к Клименту, отметим, что при сопоставлении его отношения к передаче фрагментов из сочинений античных поэтов с подходом более ранних авторов, таких как Иустин Философ, Татиан, Афинагор, Феофил Антиохийский, можно заметить преодоление александрийским писателем «робости» своих предшественников перед изменением оригинального текста. Это можно, на наш взгляд, объяснить изменением оценки Климентом христианской литературы: для апологетов их сочинения были несопоставимыми с сочинениями античных классиков, поставивших им материал для критики язычества, материал, который должен был быть точно переданным, словно улика; автор же «Стромат» намеревался создать текст, формально не отличавшийся от текстов Плутарха или Платона.

Жан Пепен так говорит об изменениях в употреблении разными христианскими авторами языческих *exempla* («риторических примеров»): «Христианские апологеты II века используют некоторые из них, но они чаще всего делают это с враждебными намерениями. Гораздо более доброжелательное отношение возникает в III в. с Климентом Александрийским, может быть, потому что гностики за это время поспособствовали чрезмерному смешению <христианства> с греческой мифологией. Не прекращают отмечать у Климента и его преемников все риторические средства язычества, предназначенные <помочь> изложению христианских идей» [Рёрин 1986: 20–21]. Христианский автор Ипполит (170–236 гг.) рассказывает (*Hipp. Ref. V, 7, 29–33*) о том, что гностики наассены усмотрели в словах «Одиссеи» («Эрмий тем временем, бог килленийский, мужей умерщвлённых / Души из трупов бесчувственных вызвал; имея в руке свой / Жезл золотой (по желанью его наводящий на бодрых/ Сон, отверзающий сном затворённые очи у сонных), / Им он махнул, и, столпясь, полетели за Эрмием тени <...>» (*Od., XXIV, 1–5*)) намёк на христианское слово, золотым жезлом которого является железный жезл из псалма (*Пс. 2:9*). По мнению наассенов, оно, пробуждая уснувшие души, действует в соответствии с ролью, принадлежащей Христу из *Еф. 5:14* [Рёрин 1986: 40]. На наш взгляд, причина перемены отношения Климента к наследию античности заключается в его ориен-

тировании не на гностиков, а, как было сказано выше, на классических авторов. Не исключая влияния на автора «Педагога» общей тенденции более широкого использования античных мифов, появлению которой могли поспособствовать и еретики II–III вв., мы полагаем, что Климент (как, возможно, и упомянутые Ипполитом наассены), обращаясь к образам гомеровских героев и изменяя оригинальные тексты, следовал направлению, заданному авторами, подобными Плутарху. В пользу этого предположения говорят следующие факты. Во-первых, для ортодоксального писателя, даже такого терпимого к инакомыслию, как Климент, было бы странным подражать тем, с кем он полемизирует; во-вторых, характер интерпретации им фрагментов из «Одиссеи» как неких примеров, призванных подтвердить его правоту в бытовых советах, более похож на способ использования гомеровских стихов прославленными языческими авторами, чем на приведённый выше «мистический» пассаж гностиков.

Весьма вольная передача древних текстов, привлекаемых Климентом, по нашему мнению, для демонстрации своей верности литературной традиции, является одной из черт создаваемого Климентом стиля христианской письменности, когда христианское содержание вливается в античные формы. В этой связи следует обратить внимание и на «неправильное» описание Климентом мистерий: «В Элевсине тогда жили землеродные. Имена им Баубо, Дисавл, Триптолем, а еще Евмолп и Евбулей. <...> Баубо <...>, приняв гостеприимно Деметру, предлагает ей кикеон. Когда та отказалась взять и не пожелала пить, так как была печальна, Баубо, огорчившись, словно её обидели, задирает подол и показывает богине срам. Деметра же радуется зрелищу и отведывает напиток, насладившись увиденным. Это и есть мистерии афинян» (*Prot. 2, 20, 2–3*). Климент для того, очевидно, чтобы опорочить знаменитые элевсинские ритуалы, вводит в них принадлежащую орфическим мистериям [Nilsson 1967: 657–658, Anm. 2] Баубо.

М. П. Нильссон, высказывавший сомнение в том, что Климент был посвящённым, считает, что церковные авторы не стремились к точности в описаниях обрядов и не проверяли, к каким мистериям они относятся. Целью такого рассказа была демонстрация их предосудительности. Читатели практически ничего не знали об этом предмете и не могли проверить сообщаемую информацию [Нильссон 1998: 60]. Нам представляется, что Климент, придумывая контаминированные таинства, не имел намерения обмануть читателей, а шёл по стопам самих язычников.

Сравнивая разные культы, имеющие, как ему представляется, одинаковое содержание, Климент уподобляет таинства, посвящённые Зевсу и Деметре, таинствам в честь Атгиса, Кибелы и корибантов (Protr. 2, 15, 1). В этом сближении христианский автор не противоречит язычникам: Э. Хэтч упоминает «роспись в нехристианских катакомбах в Риме, в которой элементы греческих мистерий Деметры смешиваются с элементами мистерий Сабазия и Митры таким образом, который предполагает, что и культы их также были смешаны» [Hatch 1957: 290]. Соединяя в Protr. 2, 20, 2–3 элевсинские и орфические элементы, александрийский автор рассматривает используемый материал не как улику (подобно, например, Афинагору, (Legat. 20)), а как литературное средство для раскрытия своей концепции языческих мистерий.

В сочинении «Об Исиде и Осирисе» Плутарх декларирует свой принцип обращения с мифами, который, вероятно, можно распространить и на литературные памятники: «Следует использовать мифы не как представляющие собой лишь рассказы (λόγοις πάμπαν οὔσιν), но беря то, что в каждом есть подходящего (τὸ πρόσφορον ἐκάστου) в соответствии со сходством (κατὰ τὴν ὁμοιότητα)» (Plut. De Isid. et Osir. 374e [58]). Руководствуясь подобным правилом, Климент истолковывает прецедентные тексты и обряды античности.

Мы видим, что изменения, вносимые Климентом Александрийским в классические тексты, призванные подтвердить защищаемое им положение, представляют собой или кардинальное исправление античного поэта (описание устройства Одиссеева ложа, ср. объяснение невозможности совместной трапезы Ифита и Одиссея у Плутарха), переоценку персонажей (истолкование распускания Пенелопой ночью сотканного ею днём как образа возвращения человека к греху, ср. истолкование Плутархом умудрённого годами Нестора как болтливой старика), или незначительное изменение (приписывание галактофагам праведности абиев, ср. уравнивание Ахеронта с Пирифлегетоном у Плутарха), дополнение (упоминание огня Харибды, ср. вставление Плутархом имени Исиды в платоновский текст). Такая вольность обращения с текстами, принадлежащими великому языческому поэту, переводит Климента из разряда авторов, подобных Татиану и Феофилу, не решавшихся переделывать известные пассажи, в когорту тех, кто, как Платон или Плутарх, допускали преобразование сказанного предшественниками для произведения нужного впечатления на читателей.

Мы видим, что Климент, видоизменяя используемые им классические тексты, демонстрирует иное отношение к ним, чем его предшественники, греческие апологеты II в. Для них античная литература была в некотором отношении чуждой, и ее памятники привлекались ими в полемических целях. Климент «по-свойски», как Платон или Плутарх, обращается с Гомером и другими поэтами, рассматривая их тексты, таким образом, как материал для продуцирования своих, а их самих – как авторов одной с собой культуры.

Примечания

¹ М. Арл переводит этот отрывок так: «Ulysse redressait avec une pierre le pied boiteux du lit nuptial» [Clément d'Alexandrie 1960: 157].

² Буквально: «Вокруг него <кустистого древа маслины> я спальню воздвиг <...> из плотно пригнанных друг к другу камней (τῷ δ' ἐγὼ ἀμφιβάλων θάλαμον δέμον <...> πικνηῖσιν λιθάδεσσι)». В приводимых Минем комментариях по поводу этих слов сказано: Vide num huc respexit Clemens (Patrologia Graeca. Col. 492, nota 66).

³ Так, например, М. Л. Гаспаров переводит слова Пиндара (Pind. Ol. 7, 29) – «Λικύμνιον ἐλθόντ' ἐκ θαλάμων Μιδέας» – так: «<...> Ликимния, что сошёл с Мидеина ложа».

⁴ См.: Od. XII 219–220. Климент практически точно цитирует Гомера, заменяя только слово τοῦτου словом κείνου: вместо «этого <дыма>» – «того <дыма>».

⁵ Одиссеей упоминается Климентом либо в позитивном ключе (Protr. 12, 118, 1–4; Paed. II, 7, 59, 2; II, 9, 78, 2), либо нейтрально (Protr. 2, 35, 2; 4, 47, 6; Strom. I, 15, 73, 6; I, 21, 134, 3; VI, 11, 89, 1).

⁶ Ксений, Гикесий и др. – культовые эпитеты Зевса.

⁷ Буквально: «Но оно <т. е. начало сродняющего гостеприимства (подаренный Одиссеем меч)> не <стало> известно их совместной трапезе (οὐδὲ τραπέζῃ γνώτην ἀλλήλων)». У Гомера – ἀλλήλω.

Список литературы

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с.

Нильссон М.-П. Греческая народная религия / пер. с англ. и указ. С. Клементьевой; отв. ред. А. И. Зайцев. СПб.: Алетейя, 1998. 245 с.

Brambillasca G. Citations de l'Écriture Sainte et des auteurs classiques dans le Προτροπτικὸς πρὸς Ἑλληνας de Clément d'Alexandrie // Studia patristica. 1972. Vol. 11. Part 2 (Texte und Untersuchungen

zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Bd. 108). P. 8–12.

Clément d'Alexandrie. Le Pédagogue. Livre I / Introduction et notes de H.-I. Marrou, traduction de M. Harl. Paris: Les éditions du Cerf, 1960. 298 p.

Dawson D. Allegorical readers and cultural revision in ancient Alexandria. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992. XI. 341 p.

Ferguson J. The achievement of Clement of Alexandria // Religious Studies. 1976. Vol. 12, № 1. P. 59–80.

Hatch E. The influence of Greek Ideas on Christianity. New York, 1957.

Itter A. C. Esoteric teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria. Leiden, Boston, 2009. XIX. 233 p.

Krause W. Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur. Wien: Herder, 1958. 320 S.

Méhat A. Étude sur les 'Stromates' de Clément d'Alexandrie. Paris: Editions du Seuil, 1966. 580 p.

Mondésert, C. Clément d'Alexandrie. Introduction à l'étude de sa pensée religieuse à partir de l'Écriture. Paris; Aubier: Éditions Montaigne, 1944. 278 p.

Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion. 2. Aufl. München, 1967. Bd. 1. XXIV. 892 S. 27. Ill.

Pépin J. Christianisme et mythologie. Jugements chrétiens sur les analogies du paganisme et du christianisme // De la philosophie ancienne à la théologie patristique. Variorum reprints. VIII. London, 1986. P. 17–44.

Pohlenz M. Klemens von Alexandria und sein hellenisches Christentum // Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse. № 3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1943. S. 103–180.

Scham J. Der Optativgebrauch bei Klemens von Alexandrien in seiner sprach- und stilgeschichtlichen Bedeutung. Ein Beitrag zur Geschichte des Attizismus in der altchristlichen Literatur. Paderborn: Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh. 1913. XIV. 182 [1] S.

Tsermoulas J. M. Die Bildersprache des Klemens von Alexandrien. Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Universität Würzburg. Kairo Saifarovsky: Buchdruckerei, 1934. 116 S.

References

Karaulov Ju. N. *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [The Russian Language and a Linguistic Persona]. 7th ed. M., LKI Publ., 2010. 264 p.

Nilsson M. P. *Grecheskaya narodnaya religiya* [Greek Popular Religion]. Transl. from English by

S. Klement'eva. Ed. by A. I. Zaycev. SPb., Aleteya Publ., 1998. 245 p.

Brambillasca G. Citations de l'Écriture Sainte et des auteurs classiques dans le Προτρεπτικός πρὸς Ἑλληνας de Clément d'Alexandrie [Quotations from the Holy Scripture and Classical Authors in the Προτρεπτικός πρὸς Ἑλληνας by Clement of Alexandria]. *Studia patristica*. 1972. Vol. 11. Part 2. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Bd. 108). P. 8–12.

Clément d'Alexandrie Le Pédagogue. Livre I [The Instructor. Book I]. Introduction and notes by H. I. Marrou, translation by M. Harl. Paris: Les éditions du Cerf, 1960. 298 p.

Dawson D. Allegorical readers and cultural revision in ancient Alexandria. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992. XI, 341 p.

Ferguson J. The Achievement of Clement of Alexandria. Religious Studies. 1976. Vol. 12. № 1. P. 59–80.

Hatch E. The influence of Greek Ideas on Christianity. New York, 1957.

Itter A. C. Esoteric teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria. Leiden, Boston, 2009. XIX, 233 p.

Krause W. Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur [Stand of Early Christian Authors towards Pagan Literature]. Wien: Herder, 1958. 320 p.

Méhat A. Étude sur les 'Stromates' de Clément d'Alexandrie [Research on the Stromates by Clement of Alexandria]. Paris: Editions du Seuil, 1966. 580 p.

Mondésert, C. Clément d'Alexandrie. Introduction à l'étude de sa pensée religieuse à partir de l'Écriture [Clement of Alexandria. Introduction to the Research on his Religious Thought Starting with Scripture]. Paris, Aubier, Éditions Montaigne, 1944. 278 p.

Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion [History of the Greek Religion]. 2. Aufl. München, 1967. Bd. 1. XXIV, 892 P. 27 Ill.

Pépin J. Christianisme et mythologie. Jugements chrétiens sur les analogies du paganisme et du christianisme [Christianity and Mythology. Christian Judgements Concerning Analogies of Paganism and Christianity]. De la philosophie ancienne à la théologie patristique [From Ancient Philosophy to Patristic Theology]. Variorum reprints. VIII. London, 1986. P. 17–44.

Pohlenz M. Klemens von Alexandria und sein hellenisches Christentum [Clement of Alexandria and his Hellenic Christianity]. Nachrichten von Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse. № 3. 1943. P. 103–180.

Scham J. *Der Optativgebrauch bei Klemens von Alexandrien in seiner sprach- und stilgeschichtlichen Bedeutung. Ein Beitrag zur Geschichte des Attizismus in der altchristlichen Literatur* [The Use of Optative by Clement of Alexandria in its Language- and Style-Historical Meaning]. Paderborn: Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh. 1913. XIV, 182 [1] p.

Tsermoulas J. M. Die Bildersprache des Klemens von Alexandrien [The Imaginative Language of Clement of Alexandria]. *Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Universität Würzburg*. Kairo: Buchdruckerei Safarowsky, 1934. 116 p.

CONCERNING INTERPRETATION OF PRECEDENT TEXTS IN WORKS BY CLEMENT OF ALEXANDRIA

Alexander Ju. Bratukhin

**Associate Professor in the Department of World Literature and Culture
Perm State University**

Interpreting and referring to well-known texts of Homer and other Greek authors, in some cases Clement of Alexandria notably transformed them. Taking into account the fact he knew ancient Greek literature very well and often cited precise quotes from the works he used, it is reasonable to assume those transformations were not accidental. Interpretations by Clement are presented both in the form of a radical correction of the original text or reevaluation of the characters and in the form of addition, a slight change and transposition of verses. Comparison of Clement's liberty when handling pagan writings with earlier Christian writers' more or less accurate rendering of words by classic poets allows us to see the development of Christian literature style: we can observe the transition from using verses from ancient poems as "evidence" against polytheism to turning them into exempla, literary background. Such treatment of sources likens Clement not to the apologists Tatian and Theophilus, not daring to remake well-known passages, but to Plato or Plutarch, who ventured to change text written by their precursors in order to create the desired impression of their own words. Thus, Clement appears to be the author who sought not factual accuracy in presentation of material (as it should be when writing of speech for the defense) but creation of a philosophical treatise, where deviation from quoted sources is allowable.

Key words: Clement of Alexandria; Homer, Plutarch, Plato, *licentia poetica* ("poetic license").

ДИАЛЕКТНЫЕ АФФИКСАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ ГЛАГОЛОВ-ЗООФОНОВ (на материале «Лексического атласа русских народных говоров»)¹

Светлана Алексеевна Ганичева

аспирант кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации

Вологодский государственный университет

160000, Вологда, ул. Ленина, 15. sganicheva@mail.ru

Статья посвящена морфемной структуре глаголов-зоофонов, употребляемых в русских говорах. Материал для исследования извлечён из картотеки «Лексического атласа русских народных говоров». В работе охарактеризованы диалектные аффиксальные парадигмы глаголов-зоофонов. Под диалектной аффиксальной парадигмой вслед за Е. Н. Шабровой (Ильиной) понимается группа лексем, характеризующихся общей аффиксальной морфемой (морфемами). Исследуемые слова могут быть сгруппированы в 10 основных парадигм: глаголы с суффиксом *-(к)а-*, глаголы с суффиксом *-а-*, глаголы с суффиксами *-от-а-* // *-ет-а-*, глаголы с суффиксом *-ова-*, глаголы с суффиксами *-ч-и-*, глаголы с суффиксом *-и-*, глаголы с суффиксами *-кт-а-* // *-хт-а-*, глаголы с суффиксом *-(ч)а-*, глаголы с суффиксом *-е-*, глаголы с суффиксом *-анда-* // *-ында-* // *-айда-* // *-анди-*. Во всех номинативных рядах глаголов встречаются слова с суффиксами *-(к)а-* и *-а-*. Слова остальных диалектных аффиксальных парадигм входят в меньшее число рядов. В некоторых случаях глаголы-зоофоны отражают фонематическое варьирование аффиксальных морфем. Ряд сегментов в аффиксальной части глаголов-зоофонов имеет спорный морфемный статус (*-к-*, *-ч-*, *-от-* и др.).

Ключевые слова: глаголы-зоофоны; морфемная структура; диалектные аффиксальные парадигмы; русские говоры; «Лексический атлас русских народных говоров».

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-13-19

В современной русской диалектологии активно ведутся разноаспектные исследования лексических групп, функционирующих в говорах. Во многом это определяется работой над «Лексическим атласом русских народных говоров» (ЛАРНГ), вопросник которого построен по тематическому принципу. Одной из лексико-семантических групп, изучение которой предусмотрено в атласе (разделы «Животный мир», «Животноводство», «Птицеводство»), являются глаголы-зоофоны. Под ними в данной статье понимаются глаголы, обозначающие вокализации животных и птиц: *куку́кать*, *зэнькать*, *свистáть* и др.

Слова этой лексико-семантической группы характеризуются как семантической, так и структурной близостью. Это объясняется тем, что практически все глаголы-зоофоны относятся к ономотопеической лексике, для которой характерны определённые словообразовательные и морфемные модели.

Существующие в русской лингвистике опыты описания структурной организации звукоподра-

жательных глаголов (В. С. Третьякова), в частности глаголов-зоофонов (Ю. С. Азарх), ориентированы на исследование словообразовательных особенностей этих слов. В. С. Третьякова выделила семь словообразовательных типов звукоподражательных глаголов: глаголы с суффиксами *-а-* // *-ка-* (*мяу-ка-ть*), глаголы с суффиксом *-а-* (*грохот-а-ть*), глаголы с суффиксом *-и-* (*голос-и-ть*), глаголы с суффиксом *-е-* (*шум-е-ть*), глаголы с суффиксом *-ну-* (*крик-ну-ть*), глаголы с суффиксом *-ану-* (*плеск-ану-ть*), глаголы с суффиксом *-ива-* // *-ыва-* (*гарк-ива-ть*). На основании данных, собранных для «Диалектологического атласа русского языка» и «Общеславянского лингвистического атласа», Ю. С. Азарх выделила пять словообразовательных моделей диалектных глаголов-зоофонов: глаголы на *-а-ть* (*блэ́ять*), глаголы на *-ка-ть* (*злúкать* – о журавле), глаголы на *-от-а-ть* // *-ет-а-ть* (*стрекотáть*), глаголы на *-к(х)т-а-ть* (*кудахтáть*), глаголы на *-айда-ть* / *-анда-ть* (*нявандáть*) [Азарх 1974: 126–129]. Отмечается,

что все глаголы, обозначающие крики животных и птиц, образованы на базе звукоподражаний или междометий [Азарх 1974]. В более ранней работе Ю. С. Азарх модели описаны схематично: «междометный звукоподражательный корень + суффикс» [Азарх 1971].

Можно заметить, что в исследованиях В. С. Третьяковой и Ю. С. Азарх, выполненных в 70–80-х гг., не было разграничения собственно словообразовательных моделей (типов) и морфемных моделей, а также синхронического и диахронического аспектов словообразования.

Целенаправленное изучение особенностей морфемной структуры глаголов-зоофонов в русской лингвистике не проводилось, хотя отдельные наблюдения сделаны Е. Н. Шабровой (Ильиной) [Шаброва 2006].

В данной статье предлагается опыт осмысления морфемной структуры глаголов-зоофонов, функционирующих в русских говорах, выполненный на материалах картотеки ЛАРНГ (вопросы «Издавать громкие, характерные для волка звуки», «Издавать громкие, характерные для медведя звуки», «Издавать громкие, характерные для лося звуки», «Издавать звуки, характерные для грача», «Петь (о жаворонке)», «Кричать (о журавле)», «Издавать звуки, характерные для синицы», «Куковать», «Издавать звуки, характерные для сороки», «Издавать звуки, характерные для тетерева», «Издавать звуки, характерные для гуся», «Издавать звуки, характерные для курицы», «Петь (о петухе)»).

Предметом рассмотрения являются диалектные аффиксальные парадигмы, в которые могут быть сгруппированы зафиксированные в картотеке слова. Под диалектной аффиксальной парадигмой вслед за Е. Н. Шабровой (Ильиной) понимается группа лексем, характеризующихся общей аффиксальной морфемой (или морфемами) [Шаброва 2005: 24]. В работе используется предложенная Е. Н. Шабровой (Ильиной) методика анализа морфемной структуры диалектного глагола, основанная на теории сильных и слабых морфем Л. Г. Яцкевич [Яцкевич 2002].

Анализируемые глаголы-зоофоны могут быть структурированы в десять основных аффиксальных парадигм, рассматриваемых далее в порядке убывания количества составляющих их слов.

1. Глаголы с суффиксом *-(к)а-*: *га́ркать, га́гакать, гого́кать, глукать, гра́кать, гурлы́кать, дзи́нкать, дзи́нкать, динь́кать, зень́кать, зинь́кать, ка́ркать, кага́кать, какаре́кать, ква́кать, кво́кать, квы́кать, кеге́кать, кеке́кать, киге́кать, кикире́кать, кикири́кать, кири́кать, кли́кать, кло́кать, клу́кать, клы́кать, ко́кать, коды́кать, кокаре́кать, кокода́кать, коку́кать,*

кокуре́кать, кра́кать, кря́кать, ку́кать, ку́ркать, куда́кать, кудкуда́кать, куды́кать, кукаре-ку́кать, кукари́кать, кукуре́кать, кукире́кать, кукура́кать, кукури́кать, куку́кать, кукуда́кать, кукуре́кать, кукуреку́кать, кукури́кать, курли́кать, курлы́кать, курны́кать, ку́такать, ку́ты́кать, кырлы́кать, меря́кать, му́кать, пинь́кать, ре́хкать, ря́кать, рях́кать, се́нькать, си́нькать, та́ракать, тель́кать, те́нкать, те́ньгать, те́нькать, те́нькать, тере́нькать, тете́нькать, тили́кать, тини́кать, тиль́кать, ти́нкать, тре́лькать, тре́нкать, тре́нькать, тринь́кать, у́ркать, цвень́кать, цвинь́кать, цви́кать, цвинь́кать, цви́ркать, цвири́кать, цвири́нкать, чака́кать, чача́кать, чив́кать, чиви́кать, чивир́кать, чивы́ркать, чика́кать, чили́кать, чили́нкать, чири́кать, чичи́кать, чува́йшкать, чуви́кать, чувы́кать, чувы́ркать, чувы́шкать, чуфы́кать, чуфы́ркать.

Глаголы, принадлежащие к этой аффиксальной парадигме, встретились во всех исследуемых номинативных рядах.

В литературном языке существует словообразовательный тип «звукоподражание + суффикс *-ка-* // *-а-*» (*кар-ка-ть* =< *кар*). Суффиксальные морфы находятся в отношениях дополнительного распределения: *-а-* употребляется после корня, оканчивающегося на заднеязычный согласный, *-ка-* используется во всех остальных случаях [РГ-80: 343]. В говорах такое строгое правило дистрибуции сформулировать нельзя, о чём свидетельствуют образования типа *куда́хкать, ре́хкать* (ср. *куда́хать, ре́хать*). Кроме того, Ю. С. Азарх отмечала, что в южнорусских и западных среднерусских говорах фиксируются однокоренные образования по разным моделям: *гу́мать* и *гу́мкать, мя́вать* и *мя́кать* и т. д. [Азарх 1974: 127]. Поэтому мы разграничиваем глаголы с суффиксом *-(к)а-* и глаголы с суффиксом *-а-*, следуя в этом за Ю. С. Азарх, рассматривавшей глаголы на *-ать* и глаголы на *-кать* в рамках разных словообразовательных типов [там же: 126–127].

Нельзя не отметить сложность определения морфемного статуса сегмента *-к-*, обусловленную изменением его роли в словах в ходе истории языка.

Исторически **-к-* является расширителем, входившим в состав звукоподражательных слов; в некоторых лексемах современного языка он вошёл в состав корня и может быть реконструирован только этимологически (*журча́ть* и т. д.) [Тишина 2010: 60–62]. С. А. Карпухин считает, что и в современном языке элемент *-к-* нередко встречается в звукоподражаниях, выражая значение резкости завершения (*карк, кряк* – *кар,*

кря) [Карпухин 1979: 16]. Исследователь предлагает в этих случаях трактовать *-к-* как звукоподражательный суффикс [там же].

При изучении звукоподражательных глаголов в современном языке вопрос о морфемном статусе *-к-* является дискуссионным.

В исследованиях, выполненных на материале литературного языка, сегмент *-к-* обычно не рассматривается как самостоятельная морфема и включается в состав суффиксального морфа *-ка-* или в корень (*мяу-ка-ть* – *кукарек-а-ть*). Этот подход представлен в диссертационном исследовании В. С. Третьяковой, словообразовательном и морфемно-орфографическом словарях А. Н. Тихонова и т. д. [Третьякова 1985; Тихонов 2008, 1996]. При изучении диалектного материала сходной точки зрения придерживалась Ю. С. Азарх (разграничивая при этом глаголы на *-ка-ть* и *-а-ть*; см. выше).

С другой стороны, обоснованное С. А. Карпухиным существование звукоподражательного суффикса *-к-* в образованиях типа *кряк*, наличие в говорах пар типа *гумать* – *гумкать*, история развития в языке элемента *-к-* позволяют высказать предположение о возможности интерпретации его как самостоятельного аффикса, выражающего аспектную семантику (кратности, резкости завершения). На это указывает Е. Н. Шаброва (Ильина) в работах, посвящённых морфемике диалектного глагола, рассматривая *-к-* как сегмент неопределённого морфемного статуса (прикорневой несловообразовательный суффиксальный сегмент) [Шаброва 2003: 163; Шаброва 2005: 64]. При этом исследователь отмечает, что окончательное решение о статусе исследуемого сегмента должно приниматься в каждом случае отдельно.

Вероятно, при анализе современного диалектного материала более обоснованным является включение рассматриваемого сегмента в суффиксальную или, реже, в корневую морфему. Это обусловлено тем, что, если рассматривать *-к-* в качестве самостоятельного аффикса, возникает противоречие между морфемным и словообразовательным членением производных звукоподражательных глаголов. В случаях типа *гавкать* (от *гав*), *мяукать* (от *мяу*) будет происходить присоединение двух суффиксов: *-к-* и *-а-*. Однако, как известно, на одной ступени словообразования к слову может присоединяться только один словообразовательный суффикс.

Высказывая это соображение, подчеркнем, что в задачи настоящей работы не входит решение теоретического вопроса о статусе рассматриваемого морфемного сегмента, требующее привлечения значительно более широкого материала разных лексико-семантических групп. Поэтому

мы отмечаем спорный морфемный статус этого элемента, выделяя *-к-* скобками.

Следует также принять во внимание, что в нескольких единично зафиксированных лексемах произошло озвончение *-к-*: *гáргать*, *ка́ргать*, *пиньга́ть*, *у́ргать*. Ю. С. Азарх отмечала, что это явление характерно для онежских и лачских говоров северного наречия. Перечисленные нами лексемы, однако, зафиксированы в северных говорах на других территориях: в Фировском р-не Тверской обл. (*га́ргать*), Вельском р-не Архангельской обл. (*ка́ргать*), Ильинском р-не Пермской обл. (*пиньга́ть*), Усть-Вымском р-не Респ. Коми (*у́ргать*).

К данной аффиксальной парадигме примыкают также глаголы *квохатъ* и *кудахатъ*, которые могут быть рассмотрены как результат диссимилиации [к] в глаголах *кво́катъ*, *куда́катъ* или как результат контаминации глаголов типа *кво́катъ*, *куда́катъ* и *квохтатъ*, *кудахтатъ*.

2. Глаголы с суффиксом *-а-*: *ворча́ть*, *га́гать*, *грать*, *гуда́ть*, *кова́ть*, *крича́ть*, *кува́ть*, *кукарека́ть* (глагол *кукарека́ть* является производным от широко известного звукоподражания *кукареку*, поэтому сегмент *-к-* в этом слове должен рассматриваться как часть корня), *ля́ять*, *ора́ть*, *пи́кать*, *пла́кать*, *пи́цать*, *рёха́ть*, *рю́хатъ*, *сви́стать*, *стона́ть*, *тре́цать*, *щебе́тать*, *щёлка́ть*, *щёлка́ть*.

Слова этой диалектной аффиксальной парадигмы встретились во всех исследуемых номинативных рядах. Часть глаголов на *-а-ть* относится к лексемам широкой семантики: *крича́ть*, *ора́ть*, *пи́цать*, *пла́кать*, *стона́ть*, *тре́цать*, *щебетать*, *щёлка́ть*.

Согласно Ю. С. Азарх глаголам на *-а-ть* соответствует наиболее древний словообразовательный тип звукоподражательных глаголов, непродуктивный в современных говорах. При наличии синонимов, относящихся к другим аффиксальным парадигмам, лексемы на *-а-ть* могут образовывать «небольшие разорванные ареалы» [Азарх 1974: 19]. Сосуществование вариантных форм на *-а-ть* и *-ка-ть* (*гумать* – *гумкать* ‘лаять (о собаке)’) характерно для южнорусских и западных среднерусских говоров [там же: 127].

3. Глаголы с суффиксами *-от-а-* // *-ет-а-*: *болбота́ть*, *болмота́ть*, *бормота́ть*, *гага́тать* (в этом глаголе представлен вокалический вариант суффикса *-от-*), *гогота́ть*, *гыгота́ть*, *кагетáть*, *каготáть*, *квокота́ть*, *клокота́ть*, *коготáть*, *кокота́ть*, *кукота́ть*, *скоргота́ть*, *скрыгота́ть*, *сокота́ть*, *стрекета́ть*, *стрекота́ть*, *строко́тать*, *чекота́ть*, *шкрыкота́ть*, *щекота́ть*.

Глаголы, входящие в состав этой диалектной аффиксальной парадигмы, встретились среди

обозначений вокализаций тетерева (*болботать*, *болмотать*), гуся (*гагата́ть*, *гоготать*, *гыготать*, *кагата́ть*, *каготать*, *коготать*), кукушки (*кукотать*), курицы (*квокотать*, *клокотать*, *кокотать*) и сороки (*скорготать*, *скрыготать*, *сокотать*, *стрекотать*, *стрекотать*, *чекотать*, *шкрыкотать*, *щекотать*).

Суффикс *-от-* // *-ет-* восходит к суффиксу **-ot-* // *-ьt-* // *-et-* // *-ьt-*, который исторически является субстантивным словообразовательным суффиксом, ср. современную цепочку *цокать* => *цокот* => *цокотать* [Азарх 1974: 127–129; Тишина 2010: 65]. Однако среди слов, зафиксированных в нашем материале, большинство является непроизводными. Суффикс *-от-* // *-ет-*, выполняющий основообразующую функцию и находящийся в функционально слабой позиции, выделяется на основании повторяемости этого сегмента и существования в ряде случаев однокоренных образований, относящихся к другим диалектным аффиксальным парадигмам (ср. *квокотать* – *кво́кать*, *клокотать* – *кло́кать*, *коготать* – *кага́кать* и др.).

4. Глаголы с суффиксом *-ова-*: *ворковать*, *гурковать*, *гуртовать*, *коковать*, *кокувать*, *кукавать* (в этом глаголе представлен вокалический вариант суффикса), *кукковать*, *куковать*, *кукувать*, *кукарековать*, *курковать*, *кукуковать*, *кукувать*, *кукурековать*, *токовать*, *токувать*, *туковать*.

Глаголы данной аффиксальной парадигмы встретились среди обозначений вокализаций кукушки (*коковать*, *кокувать*, *кукавать*, *кукковать*, *куковать*, *кукуковать*, *кукувать*), петуха (*кукарековать*, *кукурековать*) и тетерева (*гурковать*, *гуртовать*, *токовать*, *токувать*, *туковать*).

В ряде случаев, по-видимому, глаголы на *-овать* являются результатом вторичной грамматикализации глаголов несовершенного вида путём присоединения суффикса с имперфективным значением (о подобных случаях на материале вологодских говоров см.: [Яцкевич 2013: 153–155]): *гуркать* => *гурковать*, *кукукать* => *кукуковать* (этот глагол может быть также рассмотрен как слово с количественным вариантом того же корня, что и в глаголе *куковать*).

5. Глаголы с суффиксами *-ч-и-*: *гагачить*, *гагочить*, *гогочить*, *кагачить*, *кудачить*, *кудкудачить*, *кукаречить*, *кукречить*, *кукуречить*, *кукучить*, *курлычить*, *тарачить*, *торочить*, *цвири́нчить*, *чувы́чить* (о глаголах *гра́чить* и *кво́чить*, внешне сходных со словами данной аффиксальной парадигмы, см. п. 6.).

Глаголы, принадлежащие к данной аффиксальной парадигме, встретились среди обозначений звуков, издаваемых гусем (*гагачить*,

гагочить, *гогочить*, *кагачить*), кукушкой (*кукучить*), курицей (*кудачить*, *кудкудачить*, *тарачить*, *торочить*), петухом (*кукаречить*, *кукречить*, *кукуречить*), синицей (*цвири́нчить*) и тетеревом (*чувы́чить*).

В словах литературного языка эта модель практически не представлена (за исключением глагола *мяучить*, дающегося с пометой «просторечное» [МАС 2: 321]). По происхождению глаголы на *-чить* тесно связаны со словами предыдущей морфемной модели, о чём свидетельствует тот факт, что образования на *-чить* всегда имеют параллели на *-кать*: *гагачить* (107; здесь и далее в круглых скобках обозначено количество фиксаций) – *гага́кать* (145), *кагачить* (1) – *кага́кать* (23), *кудкудачить* (3) – *кудкуда́кать* (7), *кукаречить* (89) – *кукаре́кать* (552), *курлычить* (10) – *курлы́кать* (646), *тарачить* (4) – *тара́кать* (4), *цвири́нчить* (1) – *цвири́нкать* (2), *чувы́чить* (1) – *чувы́кать* (2) и др. Обратной зависимости не наблюдается. При этом, как видим, более распространёнными являются глаголы на *-кать*.

Возможно, бо́льшая часть образований на *-чить* по происхождению восходит к древним итеративным глаголам, основа инфинитива которых образовывалась от других глаголов с помощью суффикса **-i-* [Мейе 2001: 190–193].

6. Глаголы с суффиксом *-и-*: *гогонить*, *голосить*, *горланить*, *гудить*, *гра́чить*, *жаворо́нить*, *зубалить*, *кво́чить*, *ску́лить*, *сорочить*, *твилить*, *трели́ть*, *труби́ть*.

Глаголы этой группы встретились среди обозначений вокализаций волка (*зубалить*, *ску́лить*), грача (*гра́чить*), гуся (*гогонить*), жаворонка (*жаворо́нить*, *твилить*, *трели́ть*), кукушки (*кукучить*), курицы (*кво́чить*), лося (*труби́ть*), петуха (*голосить*, *горланить*), сороки (*сорочить*).

Часть данной группы слов составляют глаголы, имеющие широкую семантику: *голосить*, *горланить*, *ску́лить*, *трели́ть*, *труби́ть*.

Большую часть видоспецифичных глаголов, относящихся к данной группе, составляют слова, образованные от названий птиц: *гра́чить* <= *грач* или *грак* ‘грач’, *жаворо́нить* <= *жаворонок* или *жаворон*, *кво́чить* <= *кво́ка* ‘курица’, *сорочить* <= *сорока*.

7. Глаголы с суффиксами *-кт-а-* // *-хт-а-*: *гудахтать*, *кво́ктать*, *кво́хтать*, *кло́ктать*, *кло́хтать*, *клохотать*, *кльи́ктать*, *кльихтать*, *ко́ктать*, *ку́да́ктать*, *куда́хтать*, *кудкуда́хтать*, *щектать*.

Слова этой модели встречаются преимущественно среди обозначений вокализаций курицы.

По мнению Ю. С. Азарх, данная группа глаголов возникла в результате контаминации лек-

сем на *-отать* и *-кать* [Азарх 1974: 129]. Таким образом, исторически сегмент *-кт-(-хт)-* образовался в результате слияния двух суффиксальных элементов. В рамках современных говоров мы рассматриваем его как единый суффикс, выполняющий основообразующую функцию. Мена [к] и [х] объясняется диссимиляцией [к] перед последующим звуком [т] [там же].

В нескольких немногочисленных случаях отмечено варьирование *-т-* // *-ч-* в суффиксе *-кт-* // *-хт-*: *кво́хчатъ* (1), *кво́хчитъ* (2), *кво́кча́тъ* (1), *кло́кчатъ* (2), *кло́хчитъ* (3), *кута́кчитъ* (1), *кута́хчитъ* (1). Ни в одном из использованных нами словарей эти слова не зафиксированы.

8. Глаголы с суффиксом *-(ч)а-*: *гряча́тъ*, *гурлы́чатъ*, *гурча́тъ*, *кво́чатъ*, *куда́чатъ*, *курлы́чатъ*, *муча́тъ*, *мыча́тъ*, *рыча́тъ*, *тороча́тъ*, *урча́тъ*, *фырча́тъ*.

Слова данной парадигмы встретились среди глаголов, обозначающих вокализации волка (*рыча́тъ*, *урча́тъ*), журавля (*гурлы́чатъ*, *курлы́чатъ*), курицы (*кво́чатъ*, *куда́чатъ*, *тороча́тъ*), лося (*муча́тъ*, *мыча́тъ*, *рыча́тъ*, *фырча́тъ*), медведя (*рыча́тъ*, *урча́тъ*, *фырча́тъ*), тетерева (*гурча́тъ*).

Глаголам на *-чатъ* всегда соответствуют лексемы на *-катъ*: *гурлы́чатъ* (1) – *гурлы́каты́* (3), *гурча́тъ* (2) – *гуркаты́* (2), *кво́чатъ* (3) – *кво́каты́* (45), *куда́чатъ* (1) – *куда́каты́* (29), *курлы́чатъ* (12) – *курлы́каты́* (646), *муча́тъ* (1) – *мука́ты́* (1), *мыча́тъ* – *мы́каты́* (лексема не зафиксирована в наших материалах, однако приводится в диалектных словарях: *мы́каты́* ‘мычать (о корове)’ [СРНГ 19: 53]), *рыча́тъ* (142) – *ры́каты́* (7), *тороча́тъ* (1) – *тара́каты́* (4), *урча́тъ* (169) – *урка́ты́* (4), *фырча́тъ* (6) – *фырка́ты́* (2). Как правило, более распространены в говорах лексемы на *-катъ* (за исключением тех случаев, когда слова на *-чатъ* входят в состав лексики литературного языка: *рыча́тъ*, *урча́тъ*, *фырча́тъ*).

Происхождение данной аффиксальной парадигмы обусловлено наличием в праславянском языке глаголов, имеющих в инфинитиве формообразующий элемент **-ě-* (см.: [Мейе 2001: 195]). Расширитель **-k-* в позиции перед этим элементом подвергся первой палатализации. Гласный [ě] в позиции после [ч’], в свою очередь, изменился на [а] (см.: [Юсип-Якимович 2007: 140]).

Сегмент *-ч-* в современных глаголах на *-чатъ*, как и *-к-* в глаголах на *-катъ*, является посткорневым сегментом спорного морфемного статуса. Учитывая сходство происхождения этих элементов и их положение в слове, а также существование в некоторых случаях однокоренных образований других аффиксальных парадигм (*кво́чатъ* – *кво́хтаты́*, *куда́чатъ* – *куда́хтаты́*), мы рассматриваем его как часть функционально слабого ос-

новообразующего суффикса, однако отмечаем спорность этого статуса, выделяя *-ч-* скобками.

9. Глаголы с суффиксом *-е-*: *галде́тъ*, *гуде́тъ*, *звене́тъ*, *реве́тъ*, *свисте́тъ*, *шипе́тъ*.

Все глаголы этой диалектной аффиксальной парадигмы имеют широкую семантику. Они встретились среди обозначений вокализаций волка (*гуде́тъ*, *реве́тъ*), грача (*галде́тъ*), гуся (*реве́тъ*, *шипе́тъ*), жаворонка (*звене́тъ*, *свисте́тъ*), лося (*гуде́тъ*, *реве́тъ*), медведя (*гуде́тъ*, *реве́тъ*), синицы (*звене́тъ*, *свисте́тъ*), тетерева (*гуде́тъ*).

10. Глаголы с суффиксом *-анда-* // *-ында-* // *-айда-* // *-анди-*: *гура́ндаты́*, *гуры́ндаты́*, *ко́кайдаты́*, *ула́ндаты́*, *гура́ндиты́*.

Эти слова встретились среди глаголов-зоофонов, обозначающих вокализации волка (*ула́ндаты́*), курицы (*ко́кайдаты́*), тетерева (*гура́ндаты́*).

Как отмечает Е. Н. Шаброва (Ильина), данный суффикс, который может выступать также в вокалических вариантах *-унд-* // *-онд-* (в нашем материале не встретились), выполняет основообразующую функцию [Шаброва 2005: 24]. Этот суффикс имеет финно-угорское происхождение, о чём свидетельствует, в частности, его функционирование в говорах Карелии и сопредельных областей (онежских, лачских, белозерско-бежецких говорах северного наречия, поморских русских говорах Карелии и Архангельской области) [Азарх 1974: 129]. По нашим данным, на этих и близких к ним территориях зафиксированы глаголы *ко́кайдаты́* (Терский р-н Мурманской обл.), *ула́ндаты́* (Беломорский, Прионежский, Пудожский р-ны Респ. Карелии, Вашкинский р-н Вологодской обл.; единичная фиксация сделана на Урале в Чердынском р-не Пермской обл.). Глагол *гура́ндаты́* отмечен в данном ареале только один раз (Вытегорский р-н Вологодской обл.), остальные фиксации сделаны на Урале (Кигинский р-н Респ. Башкортостан) или в южных говорах (Шатковский р-н Нижегородской обл., Рыльский р-н Курской обл.). Слово *гура́ндиты́* зафиксировано в Чердынском р-не Пермской обл.

В анализируемом материале встретилось несколько лексем, относящихся к другим аффиксальным парадигмам, но представленных единично. Это глаголы *залива́тъ* (о жаворонке), *залива́ться* (о жаворонке), *ро́ститься* (о курице), использование которых для обозначения вокализаций птиц обусловлено метафорическим развитием значения. Кроме того, у слов *выть* и *петь* основа равна корневой морфеме, поэтому эти слова не могут быть включены ни в одну из аффиксальных парадигм.

В некоторых случаях глаголы-зоофоны отражают фонематическое варьирование аффиксальных морфем. Во-первых, это варьирование *-кт-*

// -хт- в глаголах типа *куда́ктать* – *куда́хтать*, *кло́ктать* – *кло́хтать* и т.д. Во-вторых, варьирование -анда- // -ында- // -айда- // -анди- в глаголах типа *ула́ндать* – *кока́йдать* (мы рассматриваем эти суффиксальные морфы в рамках одной морфемы вслед за Е. Н. Шабровой (Ильиной)). В-третьих, варьирование -от- // -ет-, восходящее к разным огласовкам праславянского суффикса (см. выше), в глаголах типа *стреко́тать* – *стреке́тать*. В-четвёртых, варьирование -кт- // -кч- и -хт- // -хч- в глаголах типа *куда́ктать*, *куда́хтать* – *куда́кчить*, *куда́хчить*. В-пятых, варьирование -к- // -г- в глаголах на -кать: *ка́ркать* – *ка́ргать*. Распространённым является только первое варьирование, все остальные представлены спорадически.

Таким образом, глаголы-зоофоны могут быть сгруппированы в десять основных диалектных аффиксальных парадигм, состоящих из разного количества лексем; наиболее велико число глаголов с суффиксом -(к)а-. В отдельных случаях наблюдается специализация глаголов определённой диалектной аффиксальной парадигмы на обозначении вокализаций того или иного живого существа. Ряд аффиксальных парадигм относится к собственно диалектными, не характерным для литературного языка: глаголы с суффиксами -ч-и-, -(ч)а-, -кт-а- // -хт-а-, -анда- // -ында- // -айда- // -анди-. Установление морфемного статуса ряда сегментов в зоне суффиксально-корневого морфемного шва является спорным (-к-, -ч-, -от- и др.).

Примечание

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (соглашение МК 5977.2015.6).

Список литературы

Азарх Ю. С. Модели глаголов, обозначающих крики животных (на материале русского и белорусского языков) // Собрание по общеславянскому лингвистическому атласу (Черновцы, 24–30 июня 1971 г.): тезисы докл. М.: Наука, 1971. С. 66–69.

Азарх Ю. С. О сводных картах слов одной лексико-семантической группы (на материале русских диалектных глаголов, обозначающих крики животных) // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1972. М.: Наука, 1974. С. 104–139.

Карпунин С. А. Звукоподражательные слова в русском языке: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Куйбышев, 1979. 19 с.

Мейе А. Общеславянский язык. М.: Прогресс, 2001. 500 с.

РГ-80 – Русская грамматика. М.: Наука, 1980. Т. 1. 789 с.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Л., СПб.: Наука, 1965–2013. Вып. 1–44.

МАС – Словарь современного русского литературного языка / под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1985–1988. Т. 1–4.

Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. Русская морфемика. М.: Школа-Пресс, 1996. 704 с.

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М.: АСТ; Астрель, 2008. Т. 1–2.

Тишина Е. В. Русская ономотопея: диахронный и синхронный аспекты изучения: дисс. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2010. 183 с.

Третьякова В. С. Звукоподражательные глаголы в русском языке: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1985. 25 с.

Шаброва Е. Н. Морфемика диалектного глагола. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 220 с.

Шаброва Е. Н. Морфемика современных вологодских говоров. Глагол. Вологда: Русь, 2005. 240 с.

Шаброва Е. Н. Морфемная структура диалектного глагола и проблемы лингвогеографии // Словообразовательные и грамматические категории в языке и речи. Вологда: Русь, 2006. С. 164–170.

Юсип-Якимович Ю. В. Ономотопея украинских говоров Карпат: семантична, фонетична, словотвірна, структура та похідність ономотопів. Ужгород: Гражда, 2007. 268 с.

Яцкевич Л. Г. Морфемика // Морфемика и словообразование русского языка. Вологда: Русь, 2002. 283 с.

Яцкевич Л. Г. Очерки морфологии Вологодских говоров. Вологда: ВГПУ, 2013. 244 с.

References

Azarkh Ju. S. Modeli glagolov, oboznachajushhikh krikhi zhivotnykh (na materiale russkogo i belorusskogo jazykov) [Models of verbs denoting animal and bird sounds (on the material of the Russian and Belarusian languages)]. *Soveshhanie po obshheslavjanskomu lingvisticheskomu atlasu (Chernovtsy, 24–30 ijunja 1971 g.)* [Meeting on the Slavic Linguistic Atlas (Chernovtsy, June 24–30, 1971)]. Moscow, Nauka Publ., 1971. P. 66–69.

Azarkh Ju. S. O svodnykh kartakh slov odnoj leksiko-semanticheskoi gruppy (na materiale russkikh dialektnykh glagolov, oboznachajushhikh krikhi zhivotnykh) [On the integral maps of words of the same lexical-semantic group (based on the material of Russian dialect verbs denoting animal sounds)]. *Obshheslavjanskij lingvisticheskij atlas: Materialy i issledovanija. 1972* [The Slavic Linguistic Atlas.

Materials and investigations. 1972]. Moscow, Nauka Publ., 1974. P. 104–139.

Karpukhin S. A. *Zvukopodrazhatel'nye slova v russkom jazyke*. Avtoreferat diss. kand. fil. nauk [Onomatopoeic words in the Russian language. Synopsis of Cand. philol. sci. diss.]. Kuibyshev, 1979. 19 p.

Meje A. *Obshheslavjanskij jazyk* [The All-Slavic language]. Moscow, Progress Publ., 2001. 500 p.

RG-80 – Russkaja grammatika [The Russian grammar]. Moscow, Nauka Publ., 1980. Vol. 1. 789 p.

SRNG – Slovar' russkikh narodnykh govorov [Dictionary of Russian folk dialects]. Leningrad, St. Petersburg, Nauka Publ., 1965–2010. Vol. 1–44.

MAS – Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka [Dictionary of the modern Russian literary language]. Moscow, Russkij jazyk Publ., 1985–1988. Vol. 1–4.

Tikhonov A. N. *Morfemno-orfograficheskij slovar' Russkaja morfemika* [Morphemic and spelling dictionary. Russian morphemics]. Moscow, Shkola-Press Publ., 1996. 704 p.

Tikhonov A. N. *Slovoobrazovatel'nyj slovar' russkogo jazyka* [Word-formation dictionary of the Russian language]. Moscow, AST, Astrel' Publ., 2008. Vol. 1–2.

Tishina E. V. *Russkaja onomatopeja: diakhronnyj i sinkhronnyj aspekty izuchenija*. Diss. kand. fil. nauk [Russian onomatopoeia: diachronic and synchronic aspects of study. Cand. philol. sci. diss.]. Volgograd, 2010. 183 p.

Tret'jakova V. S. *Zvukopodrazhatel'nye glagoly v russkom jazyke*. Avtoreferat diss. kand. fil. nauk [Onomatopoeic verbs in the Russian language. Synopsis of Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 1985. 25 p.

Shabrova E. N. *Morfemika dialektного glagola* [Morphemics of a dialect verb]. St. Petersburg, Saint Petersburg State University Publ., 2003. 220 p.

Shabrova E. N. *Morfemika sovremennykh vologodskikh govorov. Glagol* [Morphemics of modern Vologda dialects. Verb]. Vologda, Rus' Publ., 2005. 240 p.

Shabrova E. N. *Morfemnaja struktura dialektного glagola i problemy lingvogeografii* [Morphemic structure of a dialect verb and problems of linguistic geography]. *Slovoobrazovatel'nye i grammaticheskie kategorii v jazyke i rechi* [Word-formative and grammatical categories in the language and speech]. Vologda, Rus' Publ., 2006. P. 164–170.

Jusip-Jakimovich Ju. V. *Onomatopoejka ukraïns'kykh govoriv Karpat: semantychna, fonetychna, slovotvirna struktura ta pokhidnist' onomatopiv* [Onomatopoeia of Ukrainian dialects of the Carpathians: semantic, phonetic, word-formative structure and derivativeness of onomatopoeic words]. Uzhgorod, Grazhda Publ., 2007. 268 p.

Jatskevich L. G. *Morfemika* [Morphemics]. *Morfemika i slovoobrazovanie russkogo jazyka* [Morphemics and word-formation of the Russian language]. Vologda, Rus' Publ., 2003. 283 p.

Jatskevich L. G. *Ocherki morfologii Vologodskikh govorov* [Studies of the Vologda dialects morphology]. Vologda, Vologda State Pedagogical University Publ., 2013. 244 p.

DIALECT AFFIXAL PARADIGMS OF VERBS DENOTING ANIMAL AND BIRD SOUNDS

Svetlana A. Ganicheva

**Postgraduate Student in the Department of Russian Language,
Journalism and Communication Theory
Vologda State University**

The article considers the morphemic structure of Russian dialect verbs denoting animal and bird sounds. The research is based on the material of the “Lexical Atlas of Russian Folk Dialects”. The author analyzes dialect affixal paradigms (the term introduced by E. N. Shabrova (Il'ina)), which are groups of lexemes having the same affix or affixes. The verbs under study can be divided into 10 groups: verbs with the suffix *-(κ)a-* (*-(k)a-*), verbs with the suffix *-a-* (*-a-*), verbs with the suffixes *-om-a-* (*-ot-a-*) // *-em-a-* (*-et-a-*), verbs with the suffix *-ova-* (*-ova-*), verbs with the suffixes *-ч-u-* (*-ch-i-*), verbs with the suffix *-u-* (*-i-*), verbs with the suffixes *-км-a-* (*-kt-a-*) // *-xm-a-* (*-kht-a-*), verbs with the suffix *-(ч)a-* (*-(ch)a-*), verbs with the suffix *-анда-* // *-ында-* // *-айда-* // *-анди-* (*-anda-* // *-ynd-a-* // *-ayda-* // *-andi-*). In all synonymic rows there are verbs with the suffixes *-(κ)a-* (*-(ka)-*) and *-a-* (*-a-*). The verbs from other affixal paradigms belong to a smaller number of rows. In some cases affixal morphemes in verbs denoting animal and bird sounds have phonemic variants. The morphemic status of several segments in the verbs under study is controversial (*-κ-*, *-ч-*, *-om-* (*-k-*, *-ch-*, *-ot-*), etc.).

Key words: verbs denoting animal and bird sounds; morphemic structure; dialect affixal paradigm; Russian dialects; “Lexical Atlas of Russian Folk Dialects”.

УДК 811.161.1'34

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ РУССКИХ НАРОДНЫХ МИФОНИМОВ И ОБРЯДОВЫХ ТЕРМИНОВ КОМИ-ПЕРМЯЦКИМ ЯЗЫКОМ¹

Иван Алексеевич Подюков

д. филол. н., профессор кафедры общего языкознания

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

614990, Пермь, ул. Сибирская, 24. podjukov@yandex.ru

В статье рассматривается освоение коми-пермяцким языком русской (прежде всего, диалектной) лексики и фразеологии, связанной с номинацией обрядовых реалий и категорий. Выявляются зоны коми-пермяцкой обрядовой традиции, отмеченные наибольшей активностью процессов заимствования, на языковом материале раскрывается различие культурного опыта контактирующих культур. Прослеживаются этнические особенности обрядовой коммуникации, отраженные в семантике заимствованных терминов, интерференция культурных и социальных ценностей русского и коми-пермяцкого народов.

На фонетическом, грамматическом, лексико-семантическом уровнях проводится анализ способов усвоения коми-пермяцким языком русских народных культурных терминов, описываются особенности калькирования культурного термина, языковой интерференции и русского терминотворчества коми-пермяков – билингов. Исследуются семантические классы заимствованных терминов магической, хозяйственной, семейной обрядности (номинации обрядовых атрибутов, персонажей, действий), характеризуются функции заимствований в вербальном обрядовом коде (эвфемизация, ритуальное иноговорение). Посредством анализа мотивировки того или иного обрядового термина выявляется его этнокультурная коннотация. Прослеживается отражение в заимствованных терминологических номинациях процессов трансформации, творческого обновления, пересемантизации и, вместе с тем, деформации, искажения заимствованных культурных форм. Отмечается сходство процессов освоения русской обрядовой лексики коми-пермяцким языком и характера культурных заимствований в других финно-угорских (коми-зырянский, удмуртский) языках.

Использованные ракурсы рассмотрения заимствованной лексики, связанной с традиционной духовной культурой, дают возможность описать способы адаптации заимствованных обрядовых терминов в коми-пермяцкой культурно-языковой среде, сделать вывод о стихийном, естественном усвоении коми-пермяцким языком русской обрядовой терминологии. Подчеркивается актуальность и значимость изучения коми-пермяцкой лексики и фразеологии, относящейся к духовной культуре, в лингвокультурологическом и этнолингвистическом аспектах.

Ключевые слова: русская диалектная обрядовая терминология; коми-пермяцкие термины народной культуры; языковые заимствования; способы освоения заимствованного слова.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-20-31

Народные обрядовые термины (обозначения предметов, персонажей и действий, принадлежащих сфере обряда) и названия демонологических существ относятся к безэквивалентной лексике, т. к. маркируют специфичные для конкретной этнической культуры реалии. Являясь важным источником этнокультурной информации, эти номинации характеризуются наличием сложных ассоциативных связей и входят в семиотиче-

ски мотивированные оппозиции как архаический элемент языка; обрядовые термины отличаются использованием древних символических смыслов и метафорических аналогий. Важная черта народного культурного термина – условность, немотивированность связанных с ним смыслов, что позволяет ему сохранять идентификационную точность.

Заимствование культурной лексики происходит вместе с принятием чужих обычаев и традиций, имеет свои особенности, поскольку связано с переносом ментальных ценностей одной культуры в другую. Любая культура проявляет в этом случае избирательность: заимствует лишь нужные ей элементы и стремится защититься от проникновения нежелательных инородных черт. Поскольку каждый этнокультурный факт имеет свои особенности знаковых проявлений, свою комбинаторику и функции, заимствованное обозначение инокультурной реалии должно так или иначе вписаться в ценностные ориентиры воспринимающей лингвокультуры. По сути, при такого рода заимствовании усваивается не слово как таковое, а элемент чужой модели мира, чужой концептосферы, отражающей национально-психологические особенности лингвокультурной общности.

Естественно, что в ряде случаев народные обрядовые термины в разных языках могут совпадать в силу отражения в них культурных универсалий. Не является, например, исключительно славянской или только финно-угорской архаичная метафора поимки зайца, известная по номинациям элементов свадебной и хозяйственной обрядности. Коми-пермяцкое выражение *кӧч кутны* (букв. «зайца поймать») используется в значении 'закончить косить участок луга последним' и совпадает с русской обрядовой игрой «ловить зайчика» (арх.) – остатком древнего обряда дожинок (*Когда остается последний нескошенный участок, говорили: «Девки, имайте зайчика»; кто последний раз «коснет», тот поймал* – Азаполье, Мезенский р-н). В европейской народной традиции заяц – один из духов, олицетворяющих плодородие (см. подробно [Гура 1997: 177–199]). Чаще под образом зайца скрывался хлебный дух (ср. арх. *зайка* 'последний несжатый колосок', нем. *Hase* 'последний сноп'); духом плодородия (прежде всего, хлебным духом) в Германии, Швеции, Голландии, Франции и Италии считались, кроме зайца, козел, волк, лисица, собака, а также кошка и гусь [Фрэзер 1980].

Процесс заимствования нередко сопровождается переосмыслением образной и ценностной составляющей той или иной культурной номинации, игнорированием закрепленных в языке-источнике культурных коннотаций и приданием им иных смыслов. Примером может служить усвоение коми-пермяцким языком термина *кутья*, который обозначает обрядовое поминальное блюдо (слово греческого происхождения, означает смесь зерен, символизирующих воскресение, с орехами и изюмом или другими яго-

дами). Заимствованное в этом же значении слово *куття* в ряде мест Коми-Пермяцкого округа стало обозначать кашеобразный корм для кур (во многом в связи с ложным сближением *курица* – *кутю* 'курочка'). Слово *нокоть* освоено в значении 'лень, апатия' (в северных говорах Коми-Пермяцкого округа: *нокоть сійӧ кутис* – «его лень одолела»). В русских говорах от наименований ногтя обычно образуются названия болезней: *ноготь*, *коготь* 'резкая боль в животе у лошади от обильного и сочного зеленого корма'. Переосмысление основано на сближении двух негативных – психического и физиологического – состояний и связывается с представлением о ногтях/когтях как о части тела человека или животного, в которой поселяется нечистая сила (в отличие от волос, связываемых больше с позитивной энергией). Отсюда использование ногтей в колдовских практиках как средства причинения вреда, появление образа *Ногтя*-болезни в заговорных текстах (в заговорах от болезней животных нередко упоминаются *двенадцать ногтей*, подобные сестрам-лихорадкам). Ноготь как демоним используется и в народной брани: *Ноготь ты возьми!* (ср. вятск. бранное общенегативное *ноготь*). В народной традиции отмечены и другие формы осмысления ногтей как опасной части тела (запрет стричь ногти в воскресенье (перм.) связан с идеей их ритуальной нечистоты и так же, как в коми-пермяцком обозначении апатии, с их пониманием как воплощения злой силы).

В ряде случаев заимствованный термин, сохраняя значение, присущее ему в языке-источнике, развивает и новую семантику. Так, в северных говорах коми-пермяцкого языка (Кочевье) название свадебного сговора *рукобиттё* используется и как обозначение обряда договора охотника с лешим. Такое переосмысление становится возможным, т. к. во-первых, для обозначения сговора в коми-пермяцком языке сохраняется исконный термин *кикутӧм* («держание руки»), а во-вторых потому что положенный в основание русского термина признак (указание на символическое энергичное рукопожатие как знак взаимного признания договоренности) позволяет употреблять эту лексему в разных ситуациях, где нужен договор.

При освоении слова происходит фонетическое и грамматическое оформление заимствованного элемента (например, утрата [j] из сочетания «мягкий согласный + j + гласный» в случаях типа *рукобиттё*, замена [x] на [k] – *кудоба*, *кудобиишио* 'падучая болезнь', замена формы среднего рода на форму мужского – *понакодёук* из *паникадило* 'корзинка из соломы для пасхальных яиц'). Слова нередко получают грамматиче-

ское оформление принимающего языка: *бабитны* ‘принимать роды’ (диалектное *бабиться*), *величайтны* ‘величать, чествовать песнями жениха с невестой’, *миритчыны* ‘отмечать мировую у родителей невесты после свадьбы убегом’, *усвоитчыны* ‘условиться, сговориться’ (о свадьбе), *вечеруйтны* ‘сидеть без огня в сумерках’ (диалектное *вечеровать*). Последний глагол обозначает в русских говорах Прикамья, как и в коми-пермяцком языке, сидение без огня в сумерках с пришедшим специально для этого соседом (родственником). Обрядовая семантика слова в этом случае связана с самим способом проведения времени, воспринимаемого в разных культурах как опасного, как периода активности злых духов. В этот момент нельзя работать, чесать волосы, спать (из опасности «не проснуться»), но обязательно нужно разговаривать, негромко беседовать (в этом же значении используется в русских говорах Прикамья и глагол *сумерничать*). Предписание разговаривать в «опасное» сумеречное время (ср. близость слов *сумерки* и *обморок*), скорее всего, обусловлено архаичным осмыслением смерти как немоты и глухоты, а речи как защиты от нее.

В ряде случаев обрядовые номинации создаются на русской основе за счет совместного использования близких по семантике терминов. Так, в некоторых местах Коми-Пермяцкого округа праздник в честь новорожденного получает название *каша-пир*, *каша-брага* (Ракшино, Кудымкарский р-н) – при более известном названии *бабья каша*, или просто *каша*, – ‘праздник повивальных бабок и рожениц’ (*Пирогъез, шаньгаез пожаласо, юанто татиом туиснас вясо каша вылас – Пирог, шаньги испекут, титье в таком туеске принесут на кашу* (Мыс, Гайнский р-н)). Контаминация названий праздника *каша* и *брага* оказывается возможной из-за близости их символических смыслов. Как и в русской традиции, у коми-пермяков номинации и каши, и браги использовались для обозначения обрядов, знаменующих окончание работ или направленных на чествование кого-либо. В русской традиции широко распространен обряд почитания роженицы и повитухи *бабья каша* (*бабьи каши*).

Почитание каши как символа блага и плодородия, а одновременно и восприятие ее как знака переходности, проявляется в коми-пермяцком обряде *пастушей* (или *пастушиной*) *каши* (*В Покров опять была пастушья каша. Идём к пастуху, стряпню всякую несём, пирог, шаньги, целу корзину несёшь, бражку обязательно с пенкой. Все идут, у кого коровы, там гуляем* (Пальник, Гайнский р-н); *А вот лето попасёт да большие, всё так говаривали, пастушнюю брагу делали,*

попируют вместе все. Всё, большие пастук уже на зиму. Пастук-от нас, ему брагу сделали, вечер как будто сделали, вместе все погуляли и всё. В какой день кончит пасту (Мыс, Косинский р-н)). Обряд отмечен и в русских деревнях Коми-Пермяцкого округа: *На Покров к пастуху с угощением ходили, на пастушью кашу. Если хорошо угостят и погода стоит, ещё маленько после Покрова попасёт* (Тиуново, Гайнский р-н). Необходимость проведения обряда связана с восприятием пастуха как хранителя стада, имеющего связь с лучшим и обладающего магическими способностями.

Каша – известный свадебный символ. *Кашей* (арх.) называется обед после свадьбы в доме молодоженов [СРНГ 13: 148], обряд *невестина каша* исполняется в Прикамье при выкупе невесты (жених должен найти горшок с кашей, который прячут от него в самых неожиданных местах – например, под подолом сидящей на лавке пожилой женщины (Лобаново, Пермский р-н)). Распространена у русских также специфическая форма связанного с этой кашей ритуала, когда невеста разбрасывает ее вокруг себя на последнем девичнике: *Кашу невестину поставят на стол, невеста потом ложку каши подденет, повертит ложку в чашке, и вот на которую попадёт, каша летит, кому больше достанется, то вперёд замуж и выйдет* (Калинино, Кунгурский р-н). Представленное здесь разбрасывание каши, вероятно, отголосок жертвоприношения духам – покровителям дома или символ плодородия (оно известно также в традиции коми-пермяков и коми-зырян). Разнообразие манипуляций с кашей отмечается и в русской, и в финно-угорской обрядовой традиции. У коми-зырян жених, когда он ехал за невестой, привозил в качестве угощения обильно сдобренную маслом *кашу-чомёр*; у коми молодожены должны были на свадьбе есть сильно пересоленную кашу; обряд «моленой каши» исполнялся на удмуртской свадьбе «похищением» во время заключения мировой [Плесовский 1968]. Каша (*каша-разгона*) использовалась как последнее угощение на свадьбе (Лёк, Кишертский р-н; ср. полесск. *каша вишбайло*; в полесской традиции известна, впрочем, и *разгонная каша*, приуроченная не к свадьбе, а к окончанию вечеров и женских зимних работ перед Великим постом).

Использование каши в семейных, календарных, хозяйственных обрядах, таким образом, в разных культурах достаточно универсально (ср. название последнего свадебного угощения *ступай-ботка*, букв. «каша-уходи» у татар Прикамья). Отличия применения этого символа в разных культурах проявляются в деталях: например,

по нашим наблюдениям, ни русские, ни коми-пермяки в Прикамье не варили обрядовую кашу из зерен нового урожая (такая каша *чарла рок*, букв. «каша серпа»), известна в традиции коми-зырян [Плесовский 1968]), как и кашу на берегу реки в Петров день (обычай каши-«петровщины») известен у коми на Усть-Цыльме [Дукарт 1975]). Во всех случаях обрядового применения блюда кашей чествуют особо выделенных персонажей ритуала, которым приписывается исключительная сила, просят у них и у высших сил блага.

Название хмельного напитка *брага* также использовалось для обрядовой номинации, хотя и менее активно: если праздник окончания жатвы у русских называли *отжинной кашей* (арх.) [СРНГ 13: 148], то у коми-пермяков *выжанной брагой*: *А вот осенью-ту зерно-то выжнут всё и дельвали выжанные браги, говорили. Вот где-ко одно место соберутся, один дом, и вот тут пировали* (Мыс, Косинский р-н). Слово *брага* (считается заимствованием из тюркских языков) используется как основа для образования номинаций праздников и у других финно-угорских народов. Так, удмуртский осенний молодежный праздник после завершения сельскохозяйственных работ носит название *ныл-брага* (букв. «девичья брага») [Владыкина, Глухова 2011: 96–97], окончания осенних полевых работ также у удмуртов *колхоз-брага* (сочетание *колхозная брага* в этом же значении распространено также и в русских говорах Прикамья). Логично в связи с этим появление гибридного термина *каша-брага* для обозначения оказания почестей роженице и повитухе, в котором указаны основные угощения праздника.

Распространенный способ усвоения обрядового термина – калькирование. Чистое калькирование как способ перевода безэквивалентной единицы используется при освоении русских обрядовых терминов крайне редко. С помощью полной кальки созданы лишь отдельные терминологические сочетания типа *нянь новйотны / нёбётны* (букв. «нести каравай») – в похоронном обряде: «идти перед похоронной процессией с хлебом для первого встретившегося». Впрочем, и в этом случае может использоваться частичная калька, или полукалька: *чёлпан новйотны* (название каравая *челпан*, как считается, является славянским и этимологически связано с *чел(о)*, которое расширено с помощью *-н*). Активное использование полукалек в коми-пермяцком языке объясняется ситуацией двуязычия и процессом длительного и постепенного русского воздействия на коми-пермяцкую культуру.

К полукалкам относятся терминологические глагольные сочетания типа *обедайтён вет-*

лётны (букв. «обедаю, ходит»; аналог пермского диалектного обрядового термина *ходить по обедам* – «о прощальном обходе невестой с подружками перед свадьбой своей родни»), выражение *знамьё сетны* (букв. «дать задаток» – в виде подарка в знак согласия выйти замуж; *знаменем* мог быть вышитый носовой платок, платочек, который невеста повязывала на руку жениху и пр.), также глагольный оборот *дари удны* «причастить, напоить перед смертью святой водой» (ср. коми-зырянское *дари босьтны* «принять причастие, причаститься»). В этих оборотах без перевода оставлено слово, называющее обрядовый атрибут, а действие, совершаемое с ним, обозначено коми-пермяцким глаголом. Слово *дари* является формой русского *дары*, которым называется причастие, или *Божьи дары*. Обычно дары представляют вино, напиток с кусочками просфоры (символ плоти и крови Иисуса Христа). Термин *дары*, под которым подразумеваются частицы Святого Хлеба и капли вина и воды, особенно распространен в старообрядческой среде, где обозначает так называемые *Преждеосвященные* (освященные еще дониконовскими священниками) *дары*. Впрочем, их функцию в народно-древлеправославной практике нередко выполнял хлеб, взятый из трех печей и простая вода, набранная там, где сливаются три ручья.

Полукальки именно типа также разнообразны по отнесенности к обрядам: обозначение свадебного эпизода *невеста юан* «пропивание невесты», обрядовой воды *собор ва* (букв. «соборная вода»). Последний термин обозначает воду, которую используют при соборовании, причащении перед смертью (получают эту воду, обмывая *собор* – меднолитой складень, обычно с изображением Деисуса или распятия с предстоящими, или двенадцатых праздников; в Прикамье отмечено также использование этой воды для отпущения грехов умирающему после произнесения над ней специального наговора; для этой же цели может использоваться святая *крещенская*, или *богоявленская*, *великая* вода). Исходный смысл этой реалии – вода из собора, храма, или вода, над которой несколькими священниками (*собором*) читались специальные молитвы.

Специфический способ освоения термина – коми-пермяцкое народное терминотворчество, осуществляемое на русском морфемном материале с помощью русских словообразовательных моделей (обычно по наиболее активным словообразовательным типам). Так создано псевдорусское название домашнего *домоводник* с суффиксом действующего лица (*Я спала, и ко мне заходит вот такой! Ух, только одеяло подняла,*

руку протянула, мне голова попала, а это домо-водник. А после этого мне операцию сделали (Доег, Юсьвинский р-н) – производное от домо-вод ‘тот, кто занимается домашним хозяйством’; мытник ‘тот, кто обмывает умерших’ (соответствие русскому диалектному *обмывальщик*: *Кто крестики на человеке ставил, специальный это, мытник называется у нас. Держит, не брезговал, мыл* (Кубенево, Юсьвинский р-н)). Название *помочь* (*помечь*) ‘совместная работа на поле или дома с угощением вместо оплаты труда’ может заменяться словом *собранка*: *Собранку сделают, люди придут. Печь бьют когда, собранку сделаешь, помочь* (Мочга, Юсьвинский р-н). Интересна трансформация русского термина *обручение* (также – *заручение*), которым называется предварительный договор о заключении брака: *Сначала вручение у невесты бывает, так называется – вручение, а потом свадьба. Сначала вот мы у невесты гуляем, а потом уже у жениха гуляем* (Пожва, Юсьвинский р-н). Термин мотивирован обрядом соединения рук жениха и невесты. Вариант *вручение* восстанавливает иную мотивацию: на обручение жених дарит (*вручает*) невесте кольцо. Название поминального стола *обедок* представляет собой суффиксальную модификацию слова *обед* ‘дневной прием пищи (обычно с горячим)’: *Через три дня обедок маленько делают, через шесть дней, через девять, тожно сорок дней собирают. Тогда многих собирают родственников да чё да* (Пятигоры, Косинский р-н).

Термин *хлебины* (*хлибины*, *нахлебины*), называющий визит молодых после свадьбы к родителям невесты, отражает символическое представление о хлебе как об исключительном, обильном угощении, которое готовила теща для зятя (*хлебиной* – от *хлеб* с суффиксом единичности – называли в прошлом отдельный каравай). В коми-пермяцком языке используется и термин *хлебины*, *нахлебины* (ср. *наклэбина* у летских коми), и деформированная форма термина *хлебенянь*: *Сначала к родителям невесты едут, потом к родителям жениха. Я с сестрой жила, дак меня сестра первый-от раз звала. Как на хлебенянь. А потом, после сестры, крестная звала, крестный* (Они, Юсьвинский р-н). Сходным способом двойного кодирования созданы демони́мы *вёрлешак* (буквально «лесной леший») ‘о лешем’, *вабес* (дословно *ва* «вода», *бес* «бес») ‘о водяном’. Эти термины представляют собой соединение в одно целое русского и коми-пермяцкого слов, т. е. парное название, где коми-пермяцкий компонент дублирует русский.

Среди культурно-маркированной лексики, пришедшей в коми-пермяцкий язык из русского языка, выделяется несколько семантических

групп, указывающих на зоны наиболее активного влияния одной культуры на другую. Заимствование языковых элементов народами коми происходило одновременно с активным усвоением форм, а нередко и целых культурных комплексов русской народной духовной традиции (известно, что свадебный обряд коми-зырян и коми-пермяков во многих деталях повторяет севернорусский вариант свадебного обряда).

Заимствовались из русского языка или создавались с помощью русских языковых средств **названия демонологических персонажей**. Освоено коми-пермяками русское название домашнего духа *соседко* (*соседко*). Этот дух называется также *нуждой*; слово, обозначающее ощущение нехватки чего-л., нищету и бедность в хозяйстве, персонифицируется в связи с устойчивым поверьем, что домовый показывается обычно «перед худым». Названия-полукальки *банячуд* ‘банник’, *овинчуд* ‘овинник’ содержат компонент *-чуд*, которым коми-пермяки обозначают маленького шалящего духа. Демоним *кабанушко* связан с представлением домового в облике свиньи (слово известно в описаниях русских календарных обрядов, в частности в приглашении перед зимой «запекать тепло»: «*Дедушко-кабанушко, тепло загоняй*»; домовый также может принимать облик теленка, коровы, собаки (см. подр. [Магия 2012])). Русскоязычное происхождение имеет полевой дух *оборони́ка* (от слова *оборона*, т. е. как указание на функцию персонажа). Оборони́ка сходна с полудницей, живет во ржи и защищает (оберегает) поле, особенно в мистическое время цветения ржи. Позднее слово стало использоваться как название огородного пугала – персонажа сказок, которым пугали детей, внешне сходного с русской Бабой-Ягой. Вариантная форма *поборони́ка* указывает на утрату персонажем функции покровительства над определенным локусом и постепенное обретение им функции духа, внушающего человеку страх и способного осилить его.

Мифологические черты крайне популярного, далеко не всегда злого духа лешего в коми-пермяцкой демонологии содержат и русские элементы. Как и в русских говорах, он называется *лешак*, *лешман* / *лесман*. Вариант *лешман* / *лесман* отмечен в русских говорах как тульский и пермский [СРНГ 17: 34], а также как вятский. Вероятно, он связан со словом *ман* неясного происхождения, используемым как номинация мифологических существ типа новг. *баенный ман* ‘банник’ [СРНГ 17: 354] или как суффикс с усилительным значением (отмечен в словах типа *душман* ‘сильный запах’). Название *лешмак* (*Пуповину чем перерезала – лешмак, не знаю я* (Ис-

тердор, Юсьвинский р-н), очевидно, является деформацией слова *лешман* под воздействием более частотной в употреблении формы *лешак*. Описательно, эвфемически леший также представляется как *страм*, *вукавõй*, *неприятной*. Особенно активно используется для его номинации русская антропонимическая формула имя-отчество: *Митрофан Митрофанович*, *Виктор Викторович*, *Вихор Вихоревич*, *Теретей Теретевич*. Формула имя-отчество воспринимается как инородная, т. к. типичное оформление полного антропонима в коми-пермяцком ономастиконе предполагает использование имени отца в препозиции (типа *Ондрий Олём* – «Алексей Андреевич»). Такого рода сдвоенные имена, как уважительные, они часто употребляются в письменных и устных прошениях коми-пермяков к лесному духу при пропаже скотины) возникают в связи с восприятием совпадения имен и отчеств как показателя включенности духа в своего рода «династию»; одновременно такие совпадения имени и отчества, в целом нетипичные для народной традиции из-за запрета давать ребенку имя живого родителя, указывают на самозамкнутость, на «бездеятельный и бесплодный способ существования» [Галкин 1997: 289].

Название *Вихор Вихоревич* является антропоморфизацией лесного духа и опирается на сближение *вихорь*, *вихрь* – ветер (сильный ветер в лесу – один из признаков близости лешего. В русских говорах словом *вихорный* нередко обозначают веселого, игривого, разбитного, непостоянного человека. В русских сказках *Вихорь-вихоревич* – богатырь, имя которого стало нарицательным для того, кто все делает внезапным порывом. Имя лешего *Виктор Викторович*, вероятно, является результатом фонетической трансформации (замена [х] на [к], вставной взрывной [т]) отмеченного *Вихор Вихоревич*. Имя *Теретей* соотносится с именем сказочного *Терешечки* – мальчика, который появился на свет из деревянной колоды и в своих приключениях оказывался сильнее ведьмы. Другие имена этого типа являются результатом речевого творчества и трансформации русских форм. Так, имя *Чурма* (Зинково, Косинский р-н), как предполагает Т. Г. Голева [Голева 2011: 152], возможно, связано с выражением *чур меня*, с которым оно созвучно. Неясное происхождение имеет имя лешего *Чугунтан Чугунтанович* (ср. имя насланной порчи *Чугунтан Емельянович*: *У нас у одной бабушки икота была, Кирилл Иванович стал, а до этого был Чугунтан Емельянович. Мы раньше в бани ходили все вместе с ей. И в бане-то он у всех титьки перешишупает. Мужик в ей был дак* (М. Серва, Кудымкарский р-н)). Имя *Чугунтан*

фиксируется и как топоним (поселок в Тюменской области) с неясным значением; как и слово *чугун*, оно предположительно имеет тюркское происхождение. Возможно, выбор этого имени для лешего объясняется тем, что слово *чугун* в восприятии коми-пермяков устойчиво ассоциируется с типичными для демонических персонажей чертами – чернотой и грязью. Еще одно имя лешего темного происхождения – *Иван Горнозович*, близкое к коми-зырянскому названию лесного духа *Гарнуз Иванович*. Слово *Гарнуз* известно как латышская фамилия (встречается также в Польше), возможно, восходящая к *garnus* ‘цапля’ (латыши и поляки в годы репрессий в большом количестве выслались в Коми-Пермяцкий округ). Инородность этой единицы, как и ассоциация *Иван* – русский, подчеркивала принадлежность духа к чужому пространству.

Таким образом, заимствование русских демонимов мотивировано осознанием этих номинаций как элементов чужой культуры и приводит в ряде случаев к переосмыслению свойств отдельных коми-пермяцких мифологических персонажей.

Для **терминов магии и колдовства** заимствования оказываются востребованными в силу известного наделения мистическими, исключительными качествами элементов чужой культуры. Иноязычные единицы в этом случае повышают сакральность названных ими объектов. Лексика, связанная с магией и колдовством, представлена, во-первых, названиями лиц, занимающихся магическими действиями, – *знакарь*, *ерекник* / *еретик* (переосмысление греческого слова, обозначающего вероотступника; в русских говорах Прикамья оформляется также в вариантах *веретник*, *ерестун*), *вошебник*, *колдун*: *Вот говоришь, и он колдовать не может, а тут ещё безымянный палец правой руки к ладони делают и говорят: «Колдун, колдуй сам себя, режь своё тело, пей свою кровь, ступай, вошебник, к ножницам»* (Антипино, Юсьвинский р-н). Во-вторых, заимствуются обозначения самого способа магического воздействия (*шопкыны* ‘нашептывать, наговаривать’: *Tõdisses шопкыны кужõны ассиньыс молитваэсõ* – *Колдуны умеют нашептывать свои молитвы*, ср. пермск. *шепотки* ‘наговоры, заговоры’), а также результата такого действия (*ымрачитны* ‘сбить с толку, запутать’ – о нечистой силе: *Õtik инькаõс ымрачитõма вõрас Кузьыс* – *Одну женщину запутал леший, оказывается, в лесу-то*). Разнообразны названия причиненной колдовством порчи – в виде болезненного уплотнения на теле *комутец* (*комутеч*) (от *комить* ‘стягивать’), черных уплотнений под кожей младенца – *кочерга*, *ще-*

тинка, эпилепсии – *кудобище*: *Кудобишишö эшö мучайтö кагасö, глазкаэзöн ковö. Эмось турун-нэз – глазки. Сийöн юктавны. – Худобище еще мучает ребенка, глазками надо. Есть травы – глазки. Ею напоить* (Доег, Юсьвинский р-н); *Кочергасо тода, ме ачым лечитли аслам челядьлис. Кагас родиччас, эся сразу баня лэччотан миссьотны, сразу кылö этадзи, кызди жельнöг. Кызди шиповникыс этадзи бытшикасьо кагаслөн яйыс. Эся сийо ме мый матегон мылитан да мылитан. Эся каттян сийо шоныта да. – Кочергу знаю, я сама своих детей лечила. Ребенок родится, сразу в баню несут мыть, сразу чувствуется как шиповник. Как шиповник колется кожа у ребенка. Потом я мылом мылю да мылю. Потом тепло его укутаешь* (Конопля, Гайнский р-н). Заимствуются общие названия порчи типа *поветрище* (от способа передачи «по ветру»): *Болеешь, сил нет. Болит то, куда тебе положит. Раньше поветрище пускали. Чтобы порчу не наложили, церковную ленточку можно в карман положить, крестик* (Дмитриево, Юсьвинский р-н) и номинации видовые типа *жабча*: *Всякие есть порчи. Например, жабча – это такая жабча. Тут надо жабу заловить, положить, где у тебя жабча. Потом жабу-то надо повесить и сказать: «Как эти ветки сохнут и мокнут, так и у меня раба Божия всё исчезло, чтобы все боли исчезли». Жабу-то повесят, например, где-то, при ягодах, она там сохнет* (Гавино, Юсьвинский р-н). Это название порчи, как видим, одновременно содержит указание на способ ее лечения. Само слово *жабча* известно в славянских языках (украинский, болгарский) как обозначение лягушонка (ср. также использование его как технического термина: в речи камнерезов *жабча* ‘изображение жабы’).

Заимствованием через русское посредство является название обращения (обычно написанного на берёсте) к лесному духу *кабала*, *кабальное письмо*: *Кто кабальное письмо пишет, его леший избивает. Вот он написанное вешает и быстро бежит из лесу, иначе леший его догонит и до полусмерти избьёт. А как ино, корову, которую он себе взял, теперь возвращать придётся* (Калинино, Юсьвинский р-н). Писание *кабалы* бытует и на Русском Севере (см. об этом [Степанов 2007]). Название тайного мистического учения Торы *Каббала* в термине оказывается совмещенным с архаическим обозначением письменного долгового обязательства в средневековой Руси (сейчас слово *кабала* более известно в переносном обозначении полной зависимости, рабства, что согласуется с распространенным представлением, что колдун находится в услужении у нечистой силы).

Элементарные магические приемы (например, связанные с защитительными обрядами) были известны не только «специалистам». Термин *подсепок* (*подцепок*) обозначает защитную ленту, надеваемую на шею домашнему животному: *Скоту делают маленький подсепок. У нас называется подсепок – на шее у коровы. И туда подсепочку делают. На булабочку надо красную тряпочку. Люди вот крови не боялись, русский народ-от крови не боялись, везде могли воевать. И вот надо тряпочку, она чтоб была прямоугольная. Колдун эдь чувствует. Когда у тебя есть булабочка с тряпочкой, дак у тебя защита есть. У колдуна после этого сила есть, но меньше* (Кубенево, Юсьвинский р-н). Термин получает ритуальную приуроченность уже в коми-пермяцкой среде; в русских говорах и в языке фольклора (в хороводных, свадебных песнях) этим словом обозначается обычная маленькая цепочка: *Что во-в садике девонька гуляла, Потеряла трои золоты ключи Да со всем со шелковым пояском, Со серебряной поцепочкой* (Юсьва); ср. также в частушке: *Ой ты миленькой ты мой, нам с тобой не вековать. На серебряну поцепочку тебя не приковать*.

Таким образом, заимствованные слова активно используются для обозначения деталей и видов колдовских и знахарских занятий, атрибутов «знающего» – в основном в связи с потребностью дистанцирования в обряде от повседневной речи.

Обширны заимствования **терминов календарной обрядности**, что связано с восприятием коми-пермяками системы праздничных, православных в своей основе традиций русского календаря. Заимствуются хрононимы (названия отрезков времени), номинации атрибутики календарных обрядов, связанных с праздниками, посвященными различным персонажам. Так, слово *цветтё* (*цветтё*) используется в северных говорах коми-пермяцкого языка в значении ‘святочное время, а также время цветения хлебов летом’: *Что зимней январь месяц цветтё, что летом юль месяц цветтё, когда рожь цветёт, когда вся трава цветёт, это тоже цветтё называется. Гадали в Цветтё – сядем на перекрестке в круг, круг головешкой обведем по снегу, палку поставим, за её держимся. Слушаем. Кто-то крикнет – и все испугаются, убегут* (Сойга, Гайнский р-н). Название периода от Рождества до Крещения *Цветтё*, по наблюдениям Т. Н. Бунчук [Бунчук 2000], отмечено в ряде севернорусских говоров. Это слово встречается не только в коми-пермяцком и коми-зырянском языке (где отмечены формы *Цветтё*, *Светтё*), но также известно в большинстве северных ло-

кальных традиций Удмуртии [Стародубцева 2002: 229–249]. Ритуальный веник, который вязали на Троицу и считали особенно целебным, называют *троицкий* (в Пермском крае ему аналогичен *ивановский веник*, парясь которым, также загадывали здоровье (Юрла)). Воспринимаемый как магический, он известен в Белоруссии (см. [Титовец 2013: 205]), в Сибири [Фурсова 2003]. В форме *троишный веник* он перешел в коми-пермяцкую традицию, где развил дополнительные, новые формы использования (*У меня дома троишный веник есть, я чай завариваю, листья завариваю и пью* (Мочга, Юсьвинский р-н)).

Атрибут пасхального праздника *понакодёук* – ‘корзинка-фонарик из соломы для пасхальных яиц’ (Тетерино, Юсьвинский р-н) получил свое название от *паникадило* ‘центральная люстра в храме’ (из греч. *poly* ‘много’ и *kandela* ‘свеча’). Один из главных символов Пасхи, такая корзинка усиливает сакральность пространства дома, сближая его с храмом. Само изготовление фонарика в русской традиции было ритуализовано: *На Пасху ночью не спят, вяжут всю ночь паникадило, Богу молятся. Вот, утром вешают паникадило...* (Грудная, Карагайский р-н). На русской территории Прикамья отмечается широкая вариативность как в самом оформлении этого обрядового символа, так и в его номинациях – *метляк, соломенник, мизгирь: К Пасхе соломенники делали. Такой фонарик сделают и над столом повесят. Нитку в соломинке пропустишь, потом другую и так между собой цепляешь, а меж ими, чтобы соломинки-то не соединялись, вязали цветные тряпочки* (Березовка, Усольский р-н); *Мы с братом мизгиря делали. Возьмём картошку большую, и в тряпочку серую, ну как мизгирь. Солому ржаную берёшь, прямую, длинную, на неё мелкие тряпочки одеваешь, чтобы лохматый был, и солому в картошку, как ножки, потом к потолку за ниточку* (Ольховка, Чайковский р-н). Обозначение соломенного фонарика как *метляк* (пермское ‘мотылек, бабочка’) устойчиво в христианской символике, где олицетворяет бессмертие и возрождение (ср. выпекание пасхи в виде бабочки, изображение младенца Христа с бабочкой – напр., в картине А. Дюрера «Поклонение волхвов»). Коми-пермяцкая традиция в этом случае ориентировалась на церковную реалию *паникадило* как наиболее распространенный символ с более общими смыслами.

Освоение русских **терминов хозяйственной обрядности** коми-пермяками можно объяснить активным заимствованием ими от русских опыта строительства, ведения сельскохозяйственных работ. Слово *копотика* (от диалектного *копотиха*) обозначает вид помочи – коллективную по-

мощь женщин одной из их круга в обработке льна. Термин *петух* обозначает угощение мастерам, сбивавшим печь: *Петуха в печку садили. Петух – это угощение, закуска да выпивка. Это ненастоящий петух, так называется только «петух»* (Асаново, Юсьвинский р-н). Обычай «петух», получивший название птицы, символизирующей огонь, связан с культом домашнего очага. Отмечено и расширенное использование символа – укладывание в печь угощения для работников, перевозящих дом: *Вот мы дом перевезли на петухе, говорят так, вместе с печкой. А можно и по брёвнам было. Делали сани большие, размером с дом, домкратом подняли, сунули в сани-то, и вот четырьмя тракторами перевезли* (Тимино, Юсьвинский р-н).

Среди **терминов семейной обрядности** отмечены названия, связанные с родильным, рекрутским и особенно со свадебным и похоронно-поминальным обрядами. Заимствования этого круга могут отличаться оттенками смысловых значений (словом *найдан* в северных говорах коми-пермяцкого языка называют незаконнорожденного ребенка, а в русских говорах оно использовалось, чтобы уберечь ребенка от нечистой силы; изначально в славянских культурах мотивировано ритуальным разыгрыванием ситуации находки ребенка случайным прохожим (см. подробно [Голстая 2010: 286])). Название только что призванного на военную службу *новобран* заимствуется для обозначения особого статуса молодого новобранца (фиксируется также в формах *нообран, нообранеч*) и отличается упрощением морфемной структуры: *Которого провожают – новобран, он на лошадь, на ногу кланяется. На колени встанет и кланяется, как будто Богу молится* (Дмитриево, Юсьвинский р-н).

В свадебной терминологии заимствованная лексика используется при номинации чинов, этапов свадьбы, обрядовых процедур. Слово *кудеяр* ‘ряженный на свадьбе’ (в северных говорах; характеризуется как устаревшее) образовано из имени известного по песням разбойничьего атамана, промышленявшего на Волге в XVI в.; позднее так стали называть кудесника, волшебника. Термином *вежливец* (известен и в сибирских говорах – от *вежа* из *ведать* ‘знать’) называли колдуна, знахаря, который на всех свадьбах оберегает молодых от порчи (возможно, освоение термина происходило не без сближения с коми-пермяцким *вежа* ‘святой’). Название *баяр* (в русских говорах также *баяр* (арх.)) обычно распространяется в пермских говорах на участника свадьбы, имеющего особый чин (например, один из *дружек*). Исходно это обозначение знатного

человека, принадлежащего к высшему слою феодального общества в Древней Руси. В коми-пермяцком языке слово закрепилось как общее обозначение приглашенных на свадьбу. Отметим, что заимствовано было даже собирательное название гостей на свадьбе *свадьбовишана* (в пермских говорах также *свадебжана*, *свадьба-шана*, *свалебжана* и пр.).

Русские названия используются для номинации отдельных свадебных эпизодов. Так, название вечера перед обручением носит название *усвоичина*: *Жених придет вечером, условится, на каких лошадях приедут да что да. Усвоиться – так вечер и назывался усвоичина* (Калинино, Юсьвинский р-н). Невестина баня – ритуальное посещение бани перед днем свадьбы – носит название *нывка-баня*: *Перед свадьбой невесте обязательно надо было мыться вместе с девками. Это называлось ныука-баня* (Завижай, Юсьвинский р-н). Эпизод особой свадьбы *убегом мирова(я)* освоен в форме *мирение*: *Потом они поехали на мирение, помирились. С собой надо взять хлеб с солью, с хлебом, солью. И сюда вот над стол вешают полотенце, что они помирились* (Юсьва). Заимствованы также номинации действий, связанных с темой первой брачной ночи, названия деталей свадебной одежды. Обычай «греть постель» и затем уступать ее молодым за определенный выкуп (Конопля, Гайнский р-н) фиксируется также в Воронежской области [Христова 2006]. Распространенное на Русском Севере ношение замужней женщиной особого головного убора *моршень* (от *морщить* из-за обилия складок) выступает как символический знак изменения ее социального статуса.

Среди терминов похоронно-поминальной обрядности отмечено большое количество именованных участников ритуалов (*вытница* ‘плачя’, *покойник*, *покойница*, *поконница* ‘умерший / умершая’), названий ритуальных предметов типа *полать* ‘настил над гробом в могиле’ (от *полати* ‘широкая лежанка в доме’ – родственное слову *полка*: *Доски сверху гроба, чтобы не давило землей. Полать называется* (Рудаково, Юсьвинский р-н)), *чупоршни / чупошни* ‘вязаные тапочки для умершего’ (от названия древнеславянской обуви *поршни*, которое образовано либо от *моршни* из-за складок, либо в связи с *пърть / порт* ‘лоскут’), *каным (канун)* ‘обрядовое угощение на поминках’ (от *канун* ‘молебен перед вечерней службой’). Слово *лестница* (в вариантной форме *лестовица*) означает особое поминальное печенье: *На окно ставили лестовицу, пекли специально из ржаной муки в день похорон. Она стояла сорок дён* (Иринево, Юсьвинский р-н). Термин связан с изображением лестницы на небо на

иконах, в религиозных книгах (*лествица* ст.-слав. ‘лестница’; символизм духовного восхождения на небо описан в свое время Иоанном *Лествичником* в книге «*Лествица*» – в конце VI в.). Печенье *лесенки* (*Вознесенские лесенки*) в русской традиции чаще изготавливались на Вознесение – они должны были «помочь» Иисусу Христу подняться на небеса на сороковой день после его воскресения. Привлечение символа в поминальную традицию связано с желанием облегчить душе умершего восхождение в рай (печенье *лесенки* являлось одним из блюд на поминках сорокового дня преимущественно в центральной и Южной России, реже отмечается как костромской и сибирский обычай; в русской традиции это печенье также могли использовать, напр., в исцелении больных). Примечательно, что термин *лестница* в ряде территорий Коми-пермяцкого округа может наполняться и другим смыслом в рамках одного и того же обряда: *Вязжут, петельки сделают, может два метра, может больше. В могилку опустят. Это лестница будет, для души. Ей ведь выходить надо* (Казённое, Юсьвинский р-н); *Ниточку крючком вязжут, такую длинную сделают ленту. Взять должен кто-то из родственников. Свяжут и в могилку опускают. И оставляют. «Лестница, – говорят, – лестница, чтобы душа выходила». Один конец-то в могилке оставляют, другой к памятнику привязывают* (Дмитриево, Юсьвинский р-н). Аналогична похоронно-поминальной *лестнице дорожка* – особая вязаная (или плетеная) лента: *Дорогу ешо, плетут дорожку, чтобы выходить он мог, иголкой вязальной. Два метра. Туда ложишь, к гробу, и наверх делаешь. Чтобы он мог выходить. Это как лестница. Там ложат под ногами* (Доег, Юсьвинский р-н). Подобное использование обрядового предмета, по нашим наблюдениям, не представленное в русской традиции, является любопытным примером развертывания в коми-пермяцкой культуре универсального символического сближения дороги и смерти. Еще один пример символического «делания дороги» для умершего – поминание его на дороге: *В Бажино провожают, читают молитвы, да что да. Потом останавливают Купроский автобус, заходят в него с кушаньем, заносят питье и поят всех. Знакомых, незнакомых, всех. По дороге душа должна уехать, уйти из дому-то* (Крохалево, Юсьвинский р-н).

Термином *три яства* называют ритуальное угощение на поминках: *Пельмени, яички, конфеты – три яства. Душу провожают тремя яствами* (Крохалево, Юсьвинский р-н; отмечено в русской традиции – Юм, Юрлинский р-н). Поминальная еда одновременно принадлежит двум

мирам [Седакова 2004: 107]; ее вкушение в разных культурах воспринимается не просто как дань уважения умершему, а как своего рода способ созидания ему условий для загробной жизни. Приведенное требование отведать на поминках обозначенные «три ествы» связано с восприятием сладкого как символизирующего сладкую загробную жизнь, яйца как жизни и возможности ее возрождения, горячей дымящейся пищи (пельменей) – вероятно, как доступного умершему способа питания паром (используется в этом качестве при поминании также дымящийся суп, горячий хлеб).

Анализ проникновения в коми-пермяцкий язык элементов русского языка, связанных с обрядовыми реалиями духовной культуры, раскрывает детали активного воздействия русской культурно-обрядовой традиции на коми-пермяцкую. Как показывает тематическая отнесенность заимствованных обрядовых терминов, русская лексика привлекается для выражения самых разных обрядовых реалий, и особенно часто используется в сфере народной магии и семейной обрядности. Процессы усвоения инокультурных элементов отличает стихийность протекания и естественность, поскольку обрядовые практики представляют собой сферу частной, интимной жизни человека. Выявленные формальные и семантические трансформации заимствованного материала в целом ряде случаев свидетельствуют об отличиях языкового сознания русских и коми-пермяков, о том, что заимствование культурного термина связано с явлениями не только языковой, но и социокультурной интерференции. Обрядовая терминология коми-пермяцкого языка предстает и как источник разнообразной этнолингвистической информации, и как сфера взаимодействия двух неродственных лингвокультур.

Примечание

¹ Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 16-14-59602 «Лексика и фразеология коми-пермяцкого языка в этнолингвистическом аспекте».

Список литературы

Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми: XIX – начало XX вв. М.: АН СССР, 1958. 391 с.

Бунчук Т. Н. «Житие хлеба»: севернорусская быличка в ряду текстов *vita herbae et vita rei* // Традиционная культура. 2000. №2. С. 98–106.

Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Ар-год-берган: обряды и праздники удмуртского календаря. Ижевск: УИИИЯЛ УрО РАН, 2011. 318 с.

Галкин А. Б. Обломов // Энциклопедия литературных героев. М., 1997. С. 289.

Голева Т. Г. Мифологические персонажи в системе мировоззрения коми-пермяков. СПб.: Изд-во «Маматов», 2011. 269 с.

Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. 912 с.

Дукарт Н. И. Праздники и обряды весенне-летнего периода в северной деревне // Вопросы истории коми XVII – начала XX вв.: тр. ИЯЛИ Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1975. Вып.18. С. 141–152.

Магия. 2012. URL: <http://3-1.org/modules.php?name=News&file=article&sid=526> (дата обращения: 1.06.2016).

Плесовский Ф. В. Свадьба народа коми. Сыктывкар, 1968. URL: <http://foto11.com/komi/ethnography/wedding/mistery3.php> (дата обращения: 14.07.2016).

Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004. С. 107.

СРНГ – Словарь русских народных говоров / под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. Л.: Наука, 1977. Вып. 13. 359 с. Вып. 17. 1981. 383 с.

Стародубцева С. В. Цикличность в русской хороводной традиции Камско-Вятского междуречья // Этномузыковедение Поволжья и Урала в ареальных исследованиях. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 2002. С. 229–249.

Степанов А. В. «Кабала» или письмо лешему // Русский фольклор в современных записях: материалы исследовательского семинара «Фольклористика и этнография». СПб.: Российский институт истории искусств, 2007. URL: <http://folk.ru/DB/folk.php?folkID=6&rubr=db1> (дата обращения: 1.06.2016).

Толстая С. М. Семантические категории языка культуры. Очерки по славянской этнолингвистике. М.: Либроком, 2010. 386 с.

Титовец А. В. и др. Традиционная культура белорусов во времени и пространстве / А. В. Титовец, Е. Ф. Фурсова, Т. К. Тяпкина Минск: Беларусь. наука, 2013. 579 с.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Глава XLVII. 1980. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/freser_sol/12.aspx (дата обращения: 10.06.2016).

Фурсова Е. Ф. Календарные обычаи и обряды восточно-славянских народов Новосибирской области. Ч. 2: Обычаи и обряды летне-осеннего периода. Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 2003. URL: <http://www.sati.archaeology.nsc.ru/library/fursova/calendar.html> (дата обращения: 01.06.2016).

Христова Г. П. Традиции свадебного обряда в селах Лискинского района Воронежской области // Афанасьевский сборник: материалы и исследования. Воронеж: ВГУ, 2006. Вып. 4. URL: www.wantit.ru (дата обращения: 17.06.2016).

References

Belicer V. N. *Oчерки по этнографии народов Коми: 19 – начало 20 вв.* [Essays on ethnography of the Komi peoples: the 19th – the early 20th century]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1958. 391 p.

Bunchuk T. N. 'Zhitie khleba': severnorusskaja bylichka v rjadu tekstov vita herbae et vita rei ['Life of bread': North-Russian bylichka (tale) in some texts vita herbae et vita rei]. *Tradicionnaja kul'tura* [Traditional Culture]. 2000. Iss. 2. P. 98–106.

Dukart N. I. Prazdniki i obryady vesenne-letnego perioda v severnoy derevne [Holidays and rites of the spring-summer period in a northern village]. *Voprosy istorii komi XVII - nachala XX vv.* [Issues of the history of the Komi people 17th – early 20th centuries]. Syktyvkar, 1975. P. 141–152.

Galkin A. B. *Oblomov: Enciklopedija literaturnykh geroev* [Oblomov: encyclopedia of literary characters]. Moscow, 1997. 289 p.

Goleva T. G. *Mifologicheskije personazhy v sisteme mirovozzrenija komi-permjakov* [Mythological characters in the system of the Komi-Permyaks worldview]. St. Petersburg, Mamatov Publ., 2011. 269 p.

Gura A. V. *Simvolika zhivotnykh v slavjanskoj narodnoj tradicii* [Animal symbols in Slavic folk tradition]. Moscow, 1997. 912 p.

Magija [Magic]. Available at: <http://www.3-1.org/modules.php?name=News&file=article&sid=526> (accessed 01.06.2016).

Plesovskij F. V. *Svad'ba naroda Komi* [Wedding of the Komi people]. Available at: <http://foto11.com/komi/ethnography/wedding/mistry3.php> (accessed 14.07.2016).

Sedakova O. A. *Poetika obrjada. Pogrebal'naja obrjadnost' vostochnykh i juzhnykh slavjan* [Poetics of rites. Funeral rites of the Eastern and Southern Slavs]. Moscow, 2004. 107 p.

SRNG – Slovar' russkikh narodnykh govorov [Dictionary of Russian folk dialects]. Leningrad, Nauka Publ., 1977. Vol. 13. 1981. Vol. 17.

Starodubceva S. V. *Ciklichnost' v russkoj khrovodnoj tradicii Kamsko-Vjatskogo mezhdurechja*

[Cyclicality in Russian round dancing tradition of the Kama-Vyatka interfluve]. *Etnomuzykovedenije Povolzhja i Urala v areal'nykh issledovanijakh* [Ethnomusicology of the Volga region and the Urals in areal research]. Izhevsk, Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences Publ., 2002. P. 229–249.

Stepanov A. V. 'Kabala' ili pis'mo leshemu ['Kabala' or a letter to a goblin of the woods]. *Russkij fol'klor v sovremennykh zapisjakh. Materialy issledovatel'skogo seminaru "Fol'kloristika i etnografija"* [Russian folklore in contemporary records. Proc. research workshop "Study of Folklore and Ethnography"]. 2007. Available at: <http://folk.ru/DB/folk.php?folkID=6&rubr=db1> (accessed 1.06.2016).

Vladykina T. G., Glukhova G. A. *Ar-god-bergan: obryady i prazdniki udmurtskogo kalendarya* [Ar-god-bergan: ceremonies and festivals of the Udmurt calendar]. Izhevsk, Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences Publ., 2011. 318 p.

Tolstaja S. M. *Semanticheskie kategorii jazyka kul'tury. Oчерки po slavjanskoj etnolingvistike* [Semantic categories of the language of the culture. Essays on Slavic ethnolinguistics]. Moscow, Librokom Publ., 2010. 386 p.

Titovec A. V. et al. *Tradicionnaja kul'tura belorusov vo vremeni i prostranstve* [Traditional culture of the Byelorussians in space and time]. Minsk, Belarus. navuka Publ., 2013. 579 p.

Frazer J. *Zolotaja vetv'* [The Golden bough]. Chapter 47. Available at: http://sbiblio.com/biblio/archive/freser_sol/12.aspx (accessed 10.06.2016).

Fursova E. F. *Kalendarnye obrjady* [Calendar rites] *Obychai i obrjady letne-osennego perioda* [Customs and rites of the summer-autumn period]. Institute of archaeology and ethnography of the Russian Academy of Sciences. 2003. Part 2. Available at: <http://www.sati.archaeology.nsc.ru/library/fursova/calendar.html> (accessed 01.06.2016).

Khristova G. P. *Tradicii svadebnogo obrjada v sjolakh Liskinskogo rajona Voronezhskoj oblasti* [Traditions of wedding rites in villages of the Liskinskiy district of the Voronezh region]. *Afanasiev collected articles: materials and research*. Voronezh, Voronezh State University Publ., 2006. Iss. 4. Available at: www.wantit.ru (accessed 17.06.2016).

PECULIARITIES OF MASTERING RUSSIAN FOLK MYTHOLOGICAL NAMES
AND RITUAL TERMS IN THE KOMI-PERMYAK LANGUAGE

Ivan A. Podjukov

Professor in the Department of General Linguistics

Perm State Pedagogical-Humanitarian University

The article considers how the Komi-Permyak language masters Russian (mostly dialect) vocabulary and phraseology connected with nomination of ritual realia and categories. Areas of Komi-Permyak ritual tradition characterized by the most active linguistic borrowing processes are revealed; differences in the experience of the contacting cultures is shown based on linguistic material. Ethnic peculiarities of ritual communication reflected in semantics of borrowed terms, the interference of cultural and social values of the Russian and Komi-Permyak ethnoeses are examined.

The analysis of mastering Russian folk cultural terms in the Komi-Permyak language is carried out at the phonetic, grammatical, lexical and semantic levels. The peculiarities of loan translation of cultural terms, linguistic interference and Russian term-production of bilingual Komi-Permyaks are described. Semantic groups of borrowed terms referring to magic, everyday, family rites (nominations of ritual attributes, characters, cultural events) are examined, functions of loanwords in the verbal ritual code (euphemization, ritual foreign-speaking) are characterized. Ethno-cultural connotation of ritual terms is revealed by means of analyzing motivation of a particular term. Borrowed terminological nominations are found to reflect transformation, creative renewal, and resemantization, on the one hand, and deformation of borrowed cultural forms, on the other hand. Similarities in the processes of mastering Russian ritual vocabulary in the Komi-Permyak language and the nature of cultural borrowing in other Finno-Ugric (Komi-Zyryan, Udmurt) languages are noted. The approaches used to study loanwords concerning spiritual culture allow us to describe the ways how borrowed ritual terms are adapted in the Komi-Permyak cultural and linguistic environment and make a conclusion about spontaneous, natural mastering of Russian folk ritual culture terminology in the Komi-Permyak language. The relevance and importance of studying the Komi-Permyak vocabulary and phraseology related to spiritual culture is emphasized in terms of linguoculturological and ethnolinguistic aspects.

Key words: Russian dialect ritual terminology; Komi-Permyak terms of folk culture; linguistic borrowings; ways of mastering loanwords.

УДК 811.11:81.511

ФИНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИНЛЯНДСКОГО ВАРИАНТА ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА

Александра Максимовна Дементьева

аспирант кафедры германской и кельтской филологии

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

119991, Москва, Ленинские горы, д. 1. aleksandra.dementieva@gmail.com

Рассматривается проблема финского влияния на лексический состав финляндского варианта шведского языка. Материалом для исследования послужили 748 лексем из последнего по времени выхода в свет словаря финляндизмов *Finlandssvensk ordbok* (2010), общий объем которого составляет около 2550 заголовочных слов. Всего выделяется семь моделей влияния: это калькирование финских композитов, доля которых составила в нашем исследовании около 64%, семантическое заимствование (16%), заимствование лексем как с морфофонетической адаптацией (2,3%), так и без нее (6,9%), сохранение устаревшей в литературном шведском языке лексики (2,8%), а также заимствование словообразовательных моделей (4,8%). Кроме того, в поле зрения автора находятся особые случаи полукалек (2,6%) – двухкомпонентных композитов, образованных с помощью финских и шведских основ.

С точки зрения семантики рассмотренный лексический материал показывает, что в шведский язык заимствуется большое количество слов, обозначающих финляндские реалии, а также разговорная лексика. В целом степень влияния финского языка на шведский высока, однако финское влияние осуществляется согласно моделям, которые не являются новыми или чуждыми для шведского языка.

Ключевые слова: языковые контакты; финляндский вариант шведского языка; финский язык; заимствование; словообразование; адаптация; обозначение реалий.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-32-40

Исторически сложилось так, что Финляндия – это страна с двумя государственными языками, финским и шведским; при этом финский язык является родным для большинства населения страны, в то время как носители шведского языка составляют всего 5% общего числа населения. В условиях тесного взаимодействия этих двух языков, принадлежащих разным языковым семьям, неизбежно происходит лексическое влияние в обоих направлениях.

Влияние финского на финляндский вариант шведского языка начали изучать в начале XX в. Так, одним из первых описал особенности шведского языка в Финляндии профессор Хельсинкского университета Х. Бергрот в книге «Шведский язык в Финляндии. Как избежать провинциализмов в речи и письме» [Bergroth 1992 (1917)]. Из названия книги видно, что Бергрот выступал противником употребления в финляндском шведском фенницизм – лексем, возникших под влиянием финского языка, поскольку полагал, что это может привести к возникно-

ванию существенных различий между литературным шведским языком и его финляндским вариантом и, в конечном итоге, к угрозе исчезновения последнего. Образцом правильной речи для Бергрота был высокий стиль шведского языка (шв. *högsvenska*). Такая позиция в течение долгого времени была доминирующей среди специалистов, занимавшихся шведским языком в Финляндии, – языковедов, редакторов, а также преподавателей шведского языка. Однако во второй половине XX в. отношение к фенницизмам изменилось. Так, известный в Финляндии исследователь шведского языка, первый редактор многотомного словаря восточношведских диалектов У. Альбэк, выделял в финляндском варианте шведского языка два типа лексем, возникших под влиянием финского: 1) фонетические заимствования и 2) семантические заимствования [Ahlbäck 1971 (1956)].

Современные финляндские лингвисты выделяют, наряду с этими двумя типами слов, лексические единицы, образованные по финским сло-

вообразовательным моделям, а также «чисто финские слова», заимствованные в финляндский шведский без каких-либо фонетических изменений [af Hällström-Reijonen, Reuter 2010: 6].

В результате анализа удалось выделить, наряду с типами лексем, отмеченными выше, также другие модели проявления финского влияния на шведский язык в Финляндии, которые имеют, однако, различную степень продуктивности. Материалом для исследования послужили 747 лексем из последнего по времени выхода в свет словаря финляндизмов *Finlandssvensk ordbok*, общий объем которого составляет около 2550 заголовочных слов [af Hällström-Reijonen, Reuter 2010]. В исследование не включаются фразеологизмы и устойчивые выражения.

1. Калькирование финских слов

Лексические единицы, образованные по этой модели, представляют собой сложные слова, являющиеся переводными эквивалентами финских слов и сохраняющие финскую структуру и семантику (шв. *översättningslån* – букв. «переводное заимствование»). В рамках этой модели можно выделить два типа слов – безэквивалентные и эквивалентные лексические единицы.

1.1. Под безэквивалентной лексикой мы понимаем лексические единицы финляндского варианта шведского языка, которые отсутствуют в литературном шведском. Сюда можно отнести слова, обозначающие реалии¹ Финляндии, эквиваленты которых отсутствуют в Швеции, а также случайные лакуны – лексические единицы, которые имеются и в финском, и в финляндском варианте шведского языка, но не входят в лексический состав шведского литературного языка. Примерами слов, обозначающих реалии Финляндии, являются следующие группы композитов:

1) Обозначения продуктов питания, специфических для Финляндии:

финл. шв. *blodbröd* «ржаной хлеб с добавлением крови» от фин. *verileipä*: *veri* «кровь» + *leipä* «хлеб»;

финл. шв. *brödost* «финский рассольный сыр» от фин. *leipäjuusto*: *leipä* «хлеб» + *juusto* «сыр»;

финл. шв. *kålrotslåda* «запеканка из брюквы» от фин. *lanttulaatikko*: *lanttu* «брюква» + *laatikko* «ящик».

2) Исторические реалии Финляндии:

финл. шв. *frontmannahus* «вид типовых домов, которые строились в Финляндии в 1940-е гг. для семей, переселенных с утраченных в результате войны территорий» от фин. *rintamamiestalo*: *rintamamies* «фронтвик» + *talo* «дом».

3) Виды спорта:

финл. шв. *boboll* «финский бейсбол» от фин. *pesäpallo*: *pesä* «гнездо» + *pallo* «мяч».

4) Профессии:

финл. шв. *parktant* «женщина, которая присматривает за детьми и играет с ними в парке» от фин. *puistotäti*: *puisto* «парк» + *täti* «тетя».

Выделяются также случайные лакуны:

финл. шв. *vikbotten* «наиболее отдаленная часть залива» от фин. *lahdenpohja*: *lahti* «залив» + *pohja* «дно». В финском языке слово *pohja* означает также «задняя, дальняя часть».

1.2. Эквивалентная лексика, под которой мы понимаем слова, возникшие в шведском языке Финляндии под влиянием финского и вытеснившие из него аналогичные по значению лексемы литературного шведского. Такая лексика охватывает различные сферы деятельности:

1) Спортивная лексика:

финл. шв. *korgboll* «баскетбол» – лит. шв. *basket* – фин. *koripallo*. Оба композита – лексемы финского и финляндского варианта шведского языка – образованы путем основосложения от существительных «корзина» (*kori/korg*) и «мяч» (*pallo/boll*);

финл. шв. *bänkidrottare* «болельщик» – лит. шв. *sportfäne* – фин. *penkkiurheilija*: *penkki/bänk* «скамья» + *urheilija/idrottare* «спортсмен».

2) Продукты питания, время приема пищи:

финл. шв. *köttpirog* «пирог с мясом» – лит. шв. *köttpastej* – фин. *lihapiirakka*: *liha/kött* «мясо» + *piirakka/pirog* «пирог»;

финл. шв. *degrot* «закваска» – лит. шв. *surdeg* – фин. *taikinajuuri*: *taikina/deg* «тесто» + *juuri/rot* «корень»;

финл. шв. *kvällsbit* «легкий ужин» – лит. шв. *kvällsmat* – фин. *iltapala*: *ilta/kväll* «вечер» + *pala/bit* «кусоч».

3) Медицина:

финл. шв. *panikstörning* «паническая атака» – лит. шв. *panikångest* – фин. *paniikkihäiriö*: *paniikki/panik* «паника» + *häiriö/störning* «нарушение».

4) Студенческая жизнь:

финл. шв. *cellbostad* «отдельная комната в студенческом общежитии с общей кухней» – лит. шв. *studentrum* – фин. *soluasunto*: *solu/cell* «клетка» + *asunto/bostad* «жилье».

Кроме того, в эту группу входят так называемые «необходимые финляндизмы» (*obligatoriska finlandismer*) – слова, которые обозначают различные официальные ведомства и службы Финляндии. Чаще всего аналогичные учреждения существуют также в Швеции, однако они имеют там другие названия. Шведские названия этих ведомств в Финляндии в большинстве случаев представляют собой полные кальки финских названий, например, фин. *Suomen puolustusministeriö* «Министерство обороны».

Финляндии» – шв. *Finlands försvarsministerium* (при обозначении министерств в Швеции используется заимствованное существительное *departement: Sveriges försvarsdepartement*).

Результаты проведенного анализа показывают, что в современном языке эта модель является наиболее продуктивной: всего было зафиксировано 478 лексем, или 64,2% относительно общего числа рассмотренных лексических единиц; из них 127 безэквивалентных и 353 эквивалентные лексемы. Большое количество лексических единиц этого типа обусловлено тем, что и в финском, и в шведском языках основосложение является очень продуктивным способом пополнения словарного состава; так, композиты составляют 65% всех заголовочных слов в словаре современного финского языка *Nykysuomen sanakirja* [Eronen, Maamies, Räikkälä 1996]. В шведском языке основосложение также является одним из важнейших способов пополнения словарного фонда [Маслова-Лашанская 2011: 170].

2. Семантические заимствования из финского языка

Лексические единицы, возникшие по этой модели, наряду с основным значением, которое имеется у них в литературном шведском языке, получают в финляндском варианте новую семантику под влиянием финского языка. Семантические заимствования (шв. *betydelselån*) наблюдаются как среди знаменательных частей речи (существительных, прилагательных, глаголов), так и служебных, в основном представленных союзами.

2.1. Существительные

Существительное *dyna* в финляндском варианте шведского языка имеет значение «подушка», в то время как в литературном шведском это слово означает «плоская подстилка (на сиденье)» [af Hällström-Reijonen, Reuter 2010: 43]. Это слово изначально было заимствовано в финский язык в значении «подушка» (фин. *tuunu*), а затем под влиянием финского языка лексема *dyna* в финляндском варианте шведского языка изменила значение.

Заимствованное из французского языка слово *kumpan* в литературном шведском получило значение «подельник, пособник». В финский язык эта лексема была заимствована в том же значении, однако впоследствии она расширила семантику и теперь используется не только с отрицательной, но и с положительной коннотацией в составе композитов: фин. *rikoskumppani* «подельник, сообщник (участник преступления)», *yhteistyökumppani* «партнер по сотрудничеству». Расширение значения этого слова в финском языке оказало влияние на финляндский вариант

шведского языка, в котором лексема *kumpan* приобрела положительную коннотацию: финл. шв. *affärskumpan* «бизнес-партнер» (лит. шв. *affärspartner*) [ibid.: 100].

Еще одним примером может служить композит *flyttningsrörelse* в значении «миграция населения» в финляндском шведском, который означает «миграция перелетных птиц» в литературном шведском. Можно предположить, что эта лексема изменила значение под влиянием финского композита *muuttoliike* «миграция населения» [ibid.: 50].

2.2. Прилагательные

Как в литературном шведском, так и в финляндском варианте основным значением прилагательного *slö* является «тупой», например, *en slö sax* «тупые ножницы». В финском языке его эквивалентом является прилагательное *tylsä*: *tylsät sakset* «тупые ножницы», которое имеет также переносное значение «скучный», например: *tylsä elokuva* «скучный фильм». Под влиянием лексемы *tylsä* в финляндском шведском прилагательное *slö* также получило то же новое значение: *en slö film* «скучный фильм», в то время как в литературном шведском в таком случае употребляется прилагательное *tråkig* [ibid.: 154].

2.3. Глаголы

Глагол *simma* «плавать» приобрел в финляндском шведском дополнительное значение «купаться» под влиянием финского глагола *uida*, который означает как «купаться», так и «плыть». В литературном шведском в значении «купаться» используется глагол *bada* [ibid.: 145].

Отдельного рассмотрения заслуживают слова, которые вышли из употребления в литературном шведском языке, но сохраняются в финляндском шведском, получив другое значение. Так, депонентный глагол *täckas* «угождать, оказывать любезность» полностью вышел из употребления в литературном шведском языке еще в начале XIX в. [Svenska Akademiens ordbok]. В финляндском варианте шведского языка этот глагол по-прежнему употребителен, но имеет значение «осмелиться, не постыдиться сделать что-либо», например: *Att du täcks!* – «Как тебе не стыдно!» [af Hällström-Reijonen, Reuter 2010: 173]. В финском языке имеется около 20 глаголов с различными оттенками значения возможности – например, *jaksaa* «мочь, потому что достаточно физических сил», *iljetä* «мочь, быть в силах побороть свое отвращение», *tarjeta* «мочь, потому что достаточно тепло для какого-либо действия», *kyetä* «мочь, потому что нужно иметь достаточно навыков». Вероятно, глагол *täckas* изменил значение под влиянием одного из этих

глаголов – *juljeta* «мочь, потому что быть достаточно дерзким»¹.

2.4. Семантические заимствования наблюдаются также среди служебных частей речи. Интересным является, например, употребление уступительного союза *fast* «хотя» в финляндском варианте шведского языка под влиянием многозначного финского союза *vaikka*, одним из основных значений которого также является уступительное.

В литературном шведском языке союз *fast* употребляется с уступительным значением, только когда речь идет о свершившемся факте, в то время как в финляндском варианте шведского языка он может использоваться также в условно-уступительном предложении с гипотетическим условием:

финл. шв. *Jag cyklar till jobbet i morgon fast det skulle regna* – фин. *Puöräilen huomenna töihin vaikka sataisi*. – «Я поеду завтра на работу на велосипеде, даже если будет идти дождь». В литературном шведском в таком контексте требуется составной союз *även om* [Жильцова 2006].

Союз *fast* в финском языке и в финляндском варианте шведского языка, в отличие от литературного шведского, может употребляться в функции усилительной частицы «хоть», например: финл. шв. *Han kunde slåss fast hela dan*. (строка из поэмы национального поэта Финляндии Ю. Л. Рунеберга «Рассказы прапорщика Столя», первая часть которой была опубликована в 1848 г., а вторая – в 1860 г.) – фин. *Kestää vaikka päivän tais*. – ср. также в русском переводе «Он мог сражаться хоть целый день». Употребление *fast* в функции усилительной частицы «хоть» встречается в современном языке (следующие примеры приводятся по: [Reuter 1993]):

финл. шв. *Jag reser fast till Stockholm för att få träffa dig*. – фин. *Menen vaikka Tukholmaan asti tavatakseni sinut*. – «Я поеду хоть в Стокгольм, чтобы встретиться с тобой».

Наконец, в шведском языке Финляндии *fast* может употребляться в качестве вводного слова «например», «допустим»:

финл. шв. *Jag kan komma fast i morgon*. – фин. *Voin tulla vaikka huomenna*. – русс. «Могу прийти, например, завтра».

Проведенный анализ показал, что модель семантических заимствований реализуется в значительной части лексического состава финляндского варианта шведского языка. По полученным данным, лексемы этого типа представлены 122 словами, что составляет 16,4% общего числа рассмотренных лексических единиц. Таким образом, данная модель влияния является второй по степени продуктивности.

3. Прямое заимствование финских лексем без фонетической адаптации

Лексемы, относящиеся к данной модели, можно условно разделить на два типа. Первый тип – это очень употребительные в финском языке слова (в основном существительные), многие из которых используются в разговорной речи. Эти слова не только заимствуются из финского в финляндский вариант шведского языка с полным сохранением семантики и стилистического регистра, но и произносятся как в финском языке: *jatkot* ['jatkä] «продолжение вечеринки»; *en juttu* ['jotto] «рассказ, история»; *kaamos* ['ka:mås] «полярная ночь»; *en karkki* «сладости»; *en limsa* «лимонад»; *löyly* «пар в сауне»; *en maila* «клюшка, ракетка»; *en pipo* «шапка»; *en roskis* «корзина для мусора»; *ruska*² «золотая осень».

В то же время большинство таких слов легко «встраивается» в фонеморфологическую систему шведского языка, поскольку по своей фонетической структуре многие из них похожи на лексемы шведского языка, как, например, частотные в шведском языке существительные с исходом основы на *-a*. Существительные с исходом основы на другие гласные также склоняются согласно правилам шведского словоизменения: *en juttu* имеет определенную форму единственного числа *juttun* и формы множественного числа *juttur, jutturna*.

Ко второму типу относятся существительные, обозначающие финские реалии, которые также заимствуются без каких-либо фонетических изменений: *kalakukko* «закрытый ржаной пирог с рыбой, который выпекается в провинции Саво (восточная Финляндия)»; *en kalja* «домашнее пиво или квас»; *en rieska* «лепешка»; *en kokko* «костер на день Ивана Купалы»; *sisu* «упорство, выносливость, дух борьбы» (лексема употребляется применительно к финскому национальному характеру).

Можно было бы предположить, что под финским влиянием в финляндском варианте шведского языка должно существовать большое количество подобных заимствований. Однако статистический анализ показывает, что в количественном соотношении с лексемами, возникшими по другим моделям, прямые заимствования составляют небольшую долю – всего 6,9%. Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство заимствований без фонетической адаптации – это двусложные слова: в нашем материале их 49 из 53 обнаруженных лексем.

4. Заимствования с морфологической и фонетической адаптацией

В отличие от существительных и прилагательных, заимствованных по модели, представ-

ленной выше, слова, которые по своей фономорфологической структуре отличаются от лексем шведского языка, подвергаются морфофонетической адаптации. К этой группе относятся, главным образом, глаголы, например, *raja* «ласкать, гладить» – от фин. *paijata*; *håsa* «суесться» – от фин. *hosua*; *haska* «тратить впустую» – от фин. *haaskata*; *jutta* «беседовать, разговаривать» – от фин. *jutella*.

В шведском языке допускается существование несклоняемых существительных и прилагательных, поэтому не все именные части речи подвергаются фонетической адаптации при заимствовании из финского. Глагол, который составляет предикативное ядро предложения, не может быть неизменяемой частью речи, поэтому заимствованные глаголы обязательно подвергаются морфологической и фонетической адаптации. Все заимствованные глаголы спрягаются по первому типу спряжения, поскольку это единственный продуктивный тип спряжения в современном шведском языке. Кроме того, видоизменяется структура слога в соответствии с принципами шведской просодики: в ударном слоге обязательно присутствует долгий звук [Маслова-Лашанская 1953: 25]. Так, глагол *jutta* «беседовать» имеет краткий гласный *u* в первом, ударном слоге, а согласный *t*, следующий за ним, является долгим – в отличие от финского глагола *jutella*, где звуки *u* и *t* краткие.

Заимствованные существительные могут также подвергаться в финляндском варианте шведского языка фонетической адаптации в том случае, если в финских лексемах есть не свойственные для шведского языка гласные или дифтонги:

финл. шв. *ett talko* «субботник, совместная бесплатная работа в помощь кому-либо» – фин. *talkoot*.

Особый процесс адаптации наблюдается в заимствованном прилагательном *kiva* «хороший, классный». В шведском языке прилагательные на *-a* (такие как *föga* «незначительный», *noga* «тщательный, аккуратный», *ringa* «ничтожный», *udda* «непарный») являются неизменяемыми. Тем не менее *kiva* имеет особые формы сравнительной и превосходной степени: *kivogare*, *kivogast*³, а также форму множественного числа *kivoga* (например, финл. шв. *kivoga byxor* «хорошие брюки»).

Таким образом, лексема *kiva* расширила основу до *kivog-* с помощью вышедшего из употребления в литературном шведском языке суффикса качественных прилагательных *-og*, который был вытеснен из шведского языка нижненемецким суффиксом *-ig*; он сохранился в литературном шведском языке в составе только двух прилагательных

– *idog* «усердный» и *avog* «враждебный» [Thorell 1981: 123].

Следует отметить, что других прилагательных, образованных с помощью суффикса *-og*, в финляндском варианте шведского языка не удалось обнаружить.

При заимствовании из финского языка лексемы в большинстве случаев не меняют значения. Однако в материале встретился один случай изменения исходной семантики финского слова: глагол *perkla* «ругаться, сквернословить» образован от финского существительного *perkele* «черт, дьявол», которое относится к бранной лексике.

В исследованном материале встретилось 18 лексем, что составляет 2,3% рассмотренной лексики. Полученные результаты, свидетельствующие о незначительной продуктивности этой модели, подтверждаются исследованием, выполненным на материале шведских диалектов Финляндии финскими лингвистами Н. Мартола, Л. Маттфольк и К. Сандстрём, которые проанализировали материал словаря восточношведских диалектов *Ordbok över Finlands svenska folk mål*, изданного на настоящий момент до буквы *K* (около 51 тысячи заголовочных слов). Они установили, что количество прямых заимствований из финского языка в различные шведские диалекты Финляндии составляет менее одного процента [Martola, Mattfolk, Sandström 2014]. Авторы высказали предположение, что, если финские заимствования будут распределены в полностью изданном словаре относительно равномерно, их количество составит в итоге всего 1,3%.

5. Заимствование словообразовательной модели

К этому типу относятся лексемы, образованные под влиянием финских слов, в состав которых входят те или иные словообразовательные аффиксы. Такие слова можно разделить на несколько групп.

5.1. Слова, образованные под влиянием финских лексем с префиксоподобными элементами⁴ пространственной семантики: *yli-* «над-, сверх-», *ali-* «под-», *ala-* «нижний». Структурно-семантическими аналогами этих компонентов со значением пространства в шведском языке являются предлоги, которые могут входить в состав слов в виде полупрефиксов⁵, – *över* «над, через, свыше», *under* «под». При этом как в финском, так и в шведском данные полупрефиксы в составе приведенных ниже лексем утрачивают исходную пространственную семантику:

фин. *ylisuuri* «слишком большой» – финл. шв. *överstor* – лит. шв. *för stor*;

фин. *ylipitkä* «слишком длинный» – финл. шв. *överlång* – лит. шв. *för lång*;

фин. *ylikallis* «слишком дорогой» – финл. шв. *överdyr* – лит. шв. *för dyr*;

фин. *alivuokralainen* «субарендатор» – финл. шв. *underhyresgäst* – лит. шв. *andrahandshyresgäst*;

фин. *alanumero* «добавочный номер» – финл. шв. *undernummer* – лит. шв. *Anknytningsnummer*.

Как видно из приведенных примеров, лексемы финляндского варианта в данном случае оказываются семантически более емкими, по сравнению с их аналогами в шведском литературном языке. Важно, однако, что словообразовательная модель с полупрефиксами *över-* и *under-* распространена также в литературном шведском языке: *överskott* «излишек», *överflöd* «избыток, изобилие», *underskott* «дефицит», *underårig* «несовершеннолетний».

5.2. Прилагательные, возникшие под влиянием финских лексем с каритивным (отрицательным) суффиксом *-ton/-tön* «без», «не»; в шведском языке ему семантически соответствуют суффикс *-lös* «без», а также приставка *o-* «не»:

финл. шв. *opar* «нечетный, непарный» – фин. *pariton* – лит. шв. *omaka*;

финл. шв. *oäten* «на пустой желудок, натощак» – фин. *syömätön* – лит. шв. *på fastande mage*;

финл. шв. *mödolös* «необременительный» – фин. *vaivaton* – лит. шв. *lätt, utan möda*.

5.3. Существительные с суффиксом деятеля *-are*, на появление которых в финляндском шведском оказали влияние лексемы финского языка аналогичной морфологической структуры с суффиксом деятеля *-ja/-jä*:

финл. шв. *sakkännare* «специалист» (букв. «знаток дела») – фин. *asiantuntija*;

финл. шв. *skidare* «лыжник» – фин. *hihtäjä*.

Отметим, что в литературном шведском языке суффикс *-are* является исключительно продуктивным для обозначения лиц и конкретных предметов [Савицкая 2004].

5.4. Отдельные слова с различными компонентами

Характерным примером является существительное финл. шв. *storolycka* «катастрофа» (букв. «большое несчастье», лит. шв. *katastrof*) с прилагательным *stor* «большой», выступающим в данной лексеме как полупрефикс. Это слово образовано под влиянием финской лексемы *suuronnettomuus* «катастрофа» с префиксоподобным элементом *suur-* от прилагательного *suuri* «большой».

Отметим также существительное *körbarhet* «ездовые качества, удобство вождения (автомобиля)», которое образовано под влиянием фин-

ского существительного *ajettavuus* с той же семантикой. Суффикс *-het* в шведском используется для образования существительных от качественных прилагательных; в финском ему соответствует суффикс *-uus*.

В исследованном материале зафиксировано 36 лексем, образованных по данной модели, что составляет 4,8% относительно всех проанализированных лексических единиц, возникших по рассмотренным моделям финского влияния.

6. Устаревшая шведская лексика, заимствованная в финский язык и сохраняющаяся в финляндском шведском

Слова, относящиеся к данному типу, были заимствованы из шведского в финский язык, однако позднее в шведском литературном языке они вышли из употребления и перешли в разряд устаревших [Häkkinen 2004]. Напротив, в финском языке они продолжают активно употребляться, что является основным фактором для их сохранения и употребления в финляндском варианте шведского языка:

финл. шв. *en byk* «белье для стирки» – фин. *pyykki* – лит. шв. *tvättkläder*;

финл. шв. *byka* «стирать» – фин. *pyykätä* – лит. шв. *tvätta*.

Лексемы *byk*, *byka* устарели в литературном шведском языке еще в начале XX в. [Svenska Akademiens ordbok];

финл. шв. *en kravatt* «галстук» – фин. *kravatti* – лит. шв. *slips*. Существительное *kravatt* устарело в литературном шведском языке еще в XVIII в. [Svenska Akademiens ordbok].

К этой группе относятся также сложные слова, заимствованные в финский язык из шведского и позднее устаревшие в последнем, но сохранившиеся в финляндском варианте шведского языка. Например, существительное *barmficka* «нагрудный карман» (лит. шв. *bröstkicka*), в состав которого входит устаревшее в шведском литературном языке слово *en barm* «грудь», сохранилось, поскольку в финском языке существует калька со шведского *povitasku* с тем же значением. Входящее в финский композит слово *povi* «грудь» является, как и шведское *barm*, устаревшим и употребляется в основном в поэтической речи.

Необходимо также отметить интересную судьбу шведского депонентного глагола *idas* «не лениться делать что-либо», который лишь частично можно отнести к рассматриваемому типу. В шведском литературном языке этот глагол вышел из употребления; в то же время в Финляндии он встречается, например, в побудительных высказываниях типа *ids du räcka mig sockret?* – «не мог бы ты передать мне сахар?»,

ids inte gå hem ännu – «пожалуйста, не уходи пока домой» (букв. «ленись уходить сейчас домой») [af Hällström-Reijonen, Reuter 2010: 81]; выражение *jag ids inte* значит «мне лень». Этот глагол сохраняется в финляндском варианте шведского языка под влиянием очень употребительного финского глагола *viitsiä*, который имеет близкое *idas* значение и употребляется сходным образом: *viitsikö ojentaa minulle sokerin?* – «не мог бы ты передать мне сахар?» (букв. «тебе не лень передать мне сахар?»), *en viitsi* «мне неохота», *älä viitsi mennä nyt kotiin* – «пожалуйста, не уходи пока домой».

В нашем материале встретилась 21 лексическая единица, относящаяся к данной модели, что составляет 2,8% всех выделенных лексем.

7. Финские заимствования в составе шведских композитов

В эту группу входят слова, которые трудно полностью отнести к модели прямого заимствования или калькирования сложных слов. Это двухкомпонентные композиты, одним из компонентов которых является шведская основа, а другим – финская. Для этой группы слов также трудно выделить общую тематику – по семантике они являются очень разноплановыми и возникают в различных сферах коммуникации: *kaffeporo* «кофейная гуща» (здесь и далее выделен финский компонент); *städtalko* «общая уборка»; *målartalko* «работы по окраске чего-либо»; *byggtalko* «работы по строительству чего-либо»; *midsommarkokko* «костер на праздник Ивана Купалы»; *potatisrieska* «картофельная лепешка»; *puukkokniv* «финский нож»; *ruskaresa* «поездка в Лапландию в период золотой осени».

Заслуживает отдельного рассмотрения интересный пример прилагательного *pikkuliten* «очень маленький, крохотный». В качестве первого компонента здесь выступает финское несклоняемое прилагательное *pikku* «маленький», к которому присоединено шведское прилагательное *liten* «маленький», т. е. фактически оба компонента слова означают одно и то же.

Описанные выше композиты характерны также для литературного шведского языка. Так, С. С. Маслова-Лашанская выделяет в нем полукальки – слова, одним элементом которых является перевод иноязычного слова, а второй элемент заимствован полностью [Маслова-Лашанская 2011: 103]. Например, в шведском слове *masugn* «доменная печь» первый компонент заимствован из нем. *Massofen*, а второй является шведской лексемой *en ugn* «печь».

Часть композитов в исследованном материале подходит под определение полукалек, данное С. С. Масловой-Лашанской, например, финл. шв.

ruskaresa «поездка в Лапландию в период золотой осени» – фин. *ruskamatka* (словосложение *ruska* и *resa/matka* «поездка»).

В то же время некоторые композиты не имеют аналогов в финском языке, как, например, *puukkokniv*. Существительное *puukko* означает по-фински «финский нож», и для финнов нет необходимости пояснять, что это такое. В шведском языке, напротив, заимствованное слово *puukko* в первом компоненте композита толкуется с помощью второго компонента – шведского слова *en kniv* «нож». Так же образовано существительное *kokkobrasa* – композит, состоящий из финского существительного *kokko* «костер на праздник Ивана Купалы» и шведского *en brasa* «костер».

Всего в нашем материале обнаружено 20 лексем такого типа, что составляет 2,6% относительно общего количества проанализированных слов, однако, вероятно, в устной речи финляндских шведов такие композиты являются более распространенными.

Выявленные в результате проведенного анализа модели можно представить по степени их продуктивности следующим образом:

1. Переводные кальки с финского языка (безэквивалентная и эквивалентная лексика) – 64,2%.
2. Семантические заимствования из финского языка – 16,4%.
3. Прямое заимствование финских лексем в финляндский вариант шведского языка без фонетической адаптации – 6,9%.
4. Заимствование словообразовательных моделей – 4,8%.
5. Устаревшая шведская лексика, заимствованная в финский язык и сохраняющаяся в финляндском шведском, – 2,8%.
6. Двухкомпонентные композиты, образованные с помощью финских и шведских основ, – 2,6%.
7. Заимствования из финского языка с морфофонетической адаптацией – 2,3%.

Приведенные данные свидетельствуют об активном взаимодействии финского и шведского языков в Финляндии и о существенном финском влиянии на финляндский шведский даже в тех случаях, когда само финское слово было ранее заимствовано из литературного шведского языка. Рассмотренный материал показывает, что в шведский язык заимствуется большое количество слов, обозначающих финляндские реалии, а также разговорная лексика. В то же время количество прямых заимствований несущественно, а новые слова образуются по словообразовательным моделям, свойственным литературному шведскому языку.

Примечания

¹ Финские глаголы с семантикой возможности повлияли также на употребление других шведских глаголов, например, на употребление *orka* «быть в силах» [Ahlbäck 1971].

² Вероятно, на заимствование лексемы *ruska* «золотая осень» повлияло то, что в шведском языке существуют омонимы этому слову: глагол *ruska* «трясти» и существительное *en ruska* «метелка», выступающее в составе композита *lövruska* «веник, метелка из веток с листьями». Таким образом, финское слово *ruska* фономорфологически хорошо адаптируется в систему шведского языка.

³ Следует отметить, что и в финском языке это слово имеет нестандартные формы сравнительной и превосходной степени, по крайней мере, в современном разговорном языке: *kiva* – *kivampi* – *kivoiin*. В финском языке такие «необычные» формы развились, вероятно, во избежание омонимии: образованные в соответствии с грамматическими правилами формы *kiva* напоминают существительное *kivi* «камень» [Räsänen 1990].

⁴ Финские языковеды используют понятие *prefiksimäinen aines* «префиксоподобный элемент» для обозначения морфемы, которая не утратила полностью исходного лексического значения, однако более не употребляется как самостоятельное слово и может лишь присоединяться к началу другой лексемы [Hakulinen и др. 2004].

⁵ Под полупрефиксами в морфологической структуре шведского языка понимаются морфемы, в ходе развития языка частично утратившие самостоятельное лексическое значение и приближающиеся по функции к префиксам [Мокин 2011: 11].

Список литературы

Жильцова Е. Л. Сложноподчиненное предложение в современном шведском языке: учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2006. 104 с.

Маслова-Лашанская С. С. Лексикология шведского языка. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. 231 с.

Маслова-Лашанская С. С. Шведский язык: в 2 ч. Л.: Изд-во ЛГУ, 1953. Ч. 1. 319 с.

Мокин И. В. Суффиксальное словообразование как продуктивный способ пополнения лексического состава современного шведского языка: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2011. 23 с.

Савицкая А. В. Словообразовательная активность суффикса *-are* в современном шведском языке // Скандинавская филология. Scandinavica.

Вып. 7. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. С. 120–128.

af Hällström-Reijonen C., Reuter M. Finlandssvensk ordbok. Helsinki: Schildts förlags Ab, 2010. 190 s.

Ahlbäck O. Svenskan i Finland. Nämnden för svensk språkvård 25. Stockholm, 1956. 73 s.

Bergroth H. Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift. Helsinki: Schildts förlags Ab, 1992. 366 s.

Eronen R., Maamies S., Rääkkälä A. Yhdyssanat // Kielikello. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 1996. №4. URL: <http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=397> (дата обращения: 19.01.2016).

Hakulinen A., Vilkkuna M., Koivisto V., Heinonen T. R., Alho I. Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS, 2004. 1698 s.

Häkkinen K. Nykysuomen etymologinen sanakirja. Helsinki: WSOY, 2004. 1633 s.

Martola N., Mattfolk L., Sandström C. Lån i svenska dialekter i Finland // Språkbruk. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken, 2014. № 4. S. 15–19.

Reuter M. Reuters ruta. // Hufvudstadsbladet. Helsingfors, 1993. № 9/9. URL: http://www.kotus.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor/1993/fast (дата обращения: 11.02.2016).

Räsänen A. Kiva-sanan vertailuasteet // Kielikello. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 1990. № 2. S. 29.

Svenska Akademiens ordbok. URL: <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/> (дата обращения: 08.04.2016).

Thorell O. Svensk ordbildningslära. Stockholm: Esselte Studium, 1981. 180 s.

References

Zhil'tsova E. L. *Slozhnopodchinennoe predlozhenie v sovremennom shvedskom yazyke: uchebnoe posobie* [A complex sentence in the modern Swedish language: textbook]. Moscow, Moscow State University Publ., 2006. 104 p.

Maslova-Lashanskaya S. S. *Leksikologiya shvedskogo yazyka* [Lexicology of the Swedish language]. St. Petersburg, Saint Petersburg State University Publ., 2011. 231 p.

Maslova-Lashanskaya S. S. *Shvedskiy yazyk: v 2 ch.* [The Swedish language: in 2 parts]. Leningrad, Leningrad State University Publ. P. 1. 1953. 319 p.

Mokin I. V. *Suffiksalnoye slovoпроизvodstvo kak produktivnyi sposob popolneniya leksicheskogo sostava sovremennogo shvedskogo yazyka.* Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [Suffix derivation as a productive way to replenish vocabulary of the modern Swedish language. Synopsis of Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 2011. 23 p.

Savitskaya A. V. Slovoobrazovatel'naya aktivnost' suffiksa "-are" v sovremennom shvedskom yazyke [The word-formation activity of the suffix «-are» in the modern Swedish language]. *Skandinavskaya filologiya* [Scandinavica]. Iss. 7. Saint Petersburg State University Publ., 2004. P. 120–128.

Hällström-Reijonen C. af, Reuter M. *Finlandssvensk ordbok* [The Finnish-Swedish Dictionary]. Helsinki: Schildts förlags Ab, 2010. 190 p.

Ahlbäck O. *Svenskan i Finland* [Swedish in Finland]. Nämnden för svensk språkvård 25. Stockholm, 1956. 73 p.

Bergroth H. *Finlandssvenska.Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift* [Finland Swedish. Guide to avoiding provincialisms in speech and writing]. Helsinki: Schildts förlags Ab, 1992. 366 p.

Eronen R., Maamies S., Räikkälä A. Yhdyssanat [Compound words]. *Kielikello. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus*. 1996. №4. Available at: <http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=397> (accessed: 19.01.2016).

Hakulinen A., Vilkkuna M., Koivisto V., Heikonen T.R., Alho I. *Iso suomen kielioppi* [The big Finnish grammar]. Helsinki: SKS, 2004. 1698 p.

Häkkinen K. *Nykysuomen etymologinen sanakirja* [The etymology dictionary of modern Finnish]. Helsinki: WSOY, 2004. 1633 p.

Martola N., Mattfolk L., Sandström C. Lån i svenska dialekter i Finland [Loan-words in Swedish dialects of Finland]. *Språkbruk. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken*. 2014. № 4. P. 15–19.

Reuter M. Reuters ruta [Reuter's box]. *Hufvudstadsbladet. Helsingfors*. 1993. № 9/9. Available at: http://www.kotus.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor/1993/fast (accessed 11.02.2016).

Räsänen A. Kiva-sanan vertailuasteet [Degrees of comparison of the word "kiva"]. *Kielikello. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus*. 1990. № 2. P. 29.

Svenska Akademiens ordbok [The Swedish Academy's Dictionary]. Available at: <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/> (accessed 08.04.2016).

Thorell O. *Svensk ordbildningslära* [Word-formation in the Swedish language]. Stockholm: Esselte Studium, 1981. 180 p.

FINNISH INFLUENCE ON THE VOCABULARY OF FENNO-SWEDISH

Alexandra M. Dementyeva

Postgraduate Student in the Department of German and Celtic Philology

Lomonosov Moscow State University

The article considers the impact of Finnish on the vocabulary of Finland Swedish. In the course of research we studied 748 words from the dictionary of modern Fenno-Swedish *Finlandssvensk ordbok* (2010), which includes about 2550 entry words in total. It is possible to distinguish seven patterns of Finnish lexical influence: calquing of Finnish composites (they amount to 64%), semantic borrowing (16%), introduction of loan-words with morphophonemic adaptation (2,3%), introduction of those without any adaptation (6,9%), conservation of archaic words (2,8%), and borrowing of word-formation patterns (4,8%). Furthermore, the article describes the case of hybrid words, which are two-component composites formed with the help of Finnish and Swedish stems. Semantically, the lexical material under study shows that the Swedish language is borrowing many words denoting Finnish realia and also colloquial vocabulary. In general, the degree of Finnish influence on Fenno-Swedish is high; however, Finnish influence occurs according to the patterns which are not new or foreign to the Swedish language.

Key words: language contacts; Fenno-Swedish; Finland Swedish; Finnish language; borrowing; word-formation; adaptation; designation of realia.

УДК 81'232; 81'373.222

ОБ ОБРАЗЕ ЗАЙЦА В НАИВНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Полина Михайловна Эйсмонт

к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков

Санкт-Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67, ауд. 53-06. polina272@hotmail.com

В статье на примере анализа ментальных образов «заяц» и «кролик» рассматриваются особенности формирования и функционирования близких понятий в русской и английской языковых картинах мира (далее – ЯКМ). Анализ основывается на данных словарей и результатах серии экспериментов с взрослыми носителями русского и английского языков. Кроме того, на материале эксперимента с русскоязычными детьми в возрасте 4–7 лет прослеживается процесс формирования ментального образа в онтогенезе. Проведенный анализ показал зависимость функционирования ментального образа в ЯКМ в первую очередь от культурно-лингвистической информации и особенно от личного опыта и узуса, а не от энциклопедических и бытовых знаний, составляющих ядро ментального образа. При упоминании того или иного объекта у носителей обоих языков в первую очередь активизируются связанные с ним ассоциации, полученные при помощи разных органов чувств – осязания, зрения, вкуса и т.д. Разграничение двух близких ментальных образов происходит в возрасте 5 лет, когда формируется ядро ментального образа на основе чувственного опыта, а культурно-лингвистические знания конкретизируют сформировавшиеся образы уже после 6-летнего возраста. Сравнение ментальных образов «зайца» и «кролика» в русской и английской ЯКМ показал, что ментальному образу «заяц» в наивной ЯКМ носителя русского языка в английской наивной ЯКМ соответствует ментальный образ «rabbit».

Ключевые слова: языковая картина мира; ментальный образ; развитие речи; энциклопедические знания; культурно-лингвистические знания; личностные знания.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-41-51

1. Введение

Поводом для настоящего исследования стало наблюдение, сделанное мной при проведении экспериментов по изучению спонтанного нарратива у детей и взрослых [Эйсмонт 2008; 2011]. В ходе эксперимента перед испытуемыми, среди которых были русскоязычные взрослые, англоязычные и русскоязычные дети 7–8 лет, стояла задача комментировать предъявляемый им мультфильм, персонажами которого были котенок, зайцы, медвежонок и бобры. В результате оказалось, что 95% русскоязычных испытуемых (и детей, и взрослых) опознали одних персонажей как *зайцев* (далее в тексте – *З.*), в то время как 100% англоязычных испытуемых использовали для их обозначения наименование *rabbit* или *bunny*, т. е. *кролик* (далее в тексте – *К.*).

В связи с этим и возник вопрос, лежащий в основе данной статьи: каков же образ *З.* и *К.* у носителей русской и английской языковой картины мира (далее в тексте – ЯКМ)? Насколько мы можем доверять данным переводных словарей, если оказывается, что визуальное восприятие одного и того же животного актуализирует у говорящих на разных языках разные наименования? Как формируются эти образы в онтогенезе и в каком возрасте эти ментальные представления окончательно дифференцируются?

В следующем разделе статьи раскрываются общие положения, касающиеся структур ментальных образов (далее в тексте – *МО*) и особенностей их формирования в онтогенезе; в третьем разделе представлены данные толковых и энциклопедических словарей. В первой части четвертого раздела обсуждаются результаты проведен-

ных экспериментов с носителями русского и английского языков; результаты эксперимента с русскоязычными детьми в возрасте 5–7 лет анализируются во второй части раздела. Наконец, в пятом разделе подводятся итоги проведенного исследования.

2. Структура МО

Основным понятием в данной статье является МО, т. е. то содержание, которое ассоциируется носителем языка с конкретной номинацией. Содержание, активизирующееся в сознании говорящих на разных языках, при наименовании на первый взгляд одного и того же объекта может быть совершенно разным. Подобные слова иногда называют в литературе «непереводимыми», но помимо слов, обозначающих специфические национально-культурные реалии [Вежица 1999], такими не вполне переводимыми могут подчас оказаться и достаточно частотные, «обычные» слова. Одной из главных причин этого является сложная структура соответствующих МО, состоящих из знаний и ассоциаций разного типа и разного происхождения. Эти МО являются неотъемлемой частью ментального лексикона, под которым понимается «совокупность знаний, группирующихся «вокруг» слова, и всех сведений, вытекающих из осознания его связей с другими словами и другими оперативными единицами сознания (концептами¹)» [Кубрякова 2004: 382].

Содержание МО сформировано из 4 основных видов знаний – энциклопедического, культурно-лингвистического, бытового и личностного [Levelt 1993; Langacker 1988; Залевская 2005]. Дать исчерпывающее единое для всех носителей данного языка описание содержания МО не представляется возможным, поскольку словарные описания хотя и «отражают языковую ментальность носителей конкретного естественного языка», но лишь «отчасти показывают степень представленности концепта в сознании носителей языка» [Бердникова 2000: 35]. Полнота ассоциируемого с той или иной номинацией содержания всегда зависит от личного опыта говорящего, наличия или отсутствия практического взаимодействия с называемым объектом, от знания им иностранных языков, от знания культурной специфики родного и иностранных языков, от актуализации этих знаний в тот или иной период времени.

Структура знаний представляет собой иерархическую систему, которая меняется в течение жизни индивида [Леонтьев 2001]. Ядро МО составляет эмпирический образ объекта, который формируется в результате чувственного восприятия конкретного объекта. Оболочка этого ядра

состоит из рефлексивной (рациональной) информации, которая накапливается в течение жизни в результате общения, познания, обучения и культурного развития [Стернин, Розенфельд 2008]. В онтогенезе сначала формируется образное представление объекта, на которое в дальнейшем «нарастает» рациональная составляющая. Процесс формирования МО всегда подвижен и, по-видимому, бесконечен, поскольку обусловлен «взаимодействием различных видов знания, при этом сама база знаний рассматривается как саморегулирующаяся и самоорганизующаяся система, которая характеризуется подвижностью и изменяется на основе новых знаний» [Лебедева 2002].

Основными источниками формирования МО являются непосредственный сенсорный опыт, накапливаемый в ходе операций ребенка с конкретными предметами, мыслительные операции с близкими или схожими понятиями, языковое общение во всех его формах (общение с окружающими взрослыми и сверстниками, знакомство с литературой, фольклором, произведениями искусства, народными ремеслами, видео- и аудиопродукцией, компьютерными играми и т. д.). В результате формируется достаточно устойчивое представление о предмете, в котором собраны наиболее яркие внешние, т. е. чувственно воспринимаемые признаки предмета. Языковое общение способствует облечению таких представлений в знания, которые отражают специфическую языковую культуру взаимодействия с предметами и соответствующими представлениями, правила и стереотипные нормы их обработки. Именно эти знания и влияют на выбор носителями разных языков подходов к структурированию мира и выделению в нем ключевых понятий, особенностей национально-языковых представлений о мире.

Таким образом, в данной работе под МО понимается весь комплекс знаний – энциклопедических, бытовых, культурно-лингвистических, ассоциативных, а также чувственно воспринимаемые характеристики объекта, активизирующиеся у слушающего или говорящего при употреблении соответствующего вербального элемента языка.

3. Заяц и кролик в словарях

Согласно данным энциклопедических словарей, *З.* и *К.* относятся к семье зайцевых. Всего насчитывается 11 родов, 23 вида *З.* и более 30 видов *К.* и *З.*, и *К.* распространены по всем континентам, кроме Антарктиды, однако для последних исходный ареал ограничивается южной Европой, а на остальные территории *К.* был завезен человеком. Естественная среда обитания *З.* и

К. – негустые леса, перелески, луга, низкие кустарники, степь.

Основные различия между *З.* и *К.* заключаются в следующем:

– *З.* не поддается одомашниванию; в отличие от него, *К.* могут быть и дикими, и домашними, причем число домашних пород значительно превышает количество существующих диких видов;

– *З.* заметно крупнее *К.* (разница может достигать 20–25 см и 4–5 кг); у них более длинные уши и более сильные задние ноги, в результате чего *З.* лучше прыгают и быстрее бегают;

– *З.* меняют окрас шерсти в зависимости от сезона с более серого на беловатый или на бурый; в отличие от них, *К.* окрас в течение года не меняют, а шерсть домашних *К.* может быть самых разнообразных оттенков, в частности пятнистой;

– *З.* не строят для себя специальных жилищ, ночуют под корнями деревьев, под камнями и в прочих естественных убежищах; *К.* роют норы;

– *З.* размножаются только в теплое время года (с весны до поздней осени), давая до 3 пометов в год; *К.* размножаются круглый год;

– новорожденные зайчата приспособлены к жизни – имеют шерсть, хорошее зрение и слух; зайчиха оставляет их и может позаботиться о чужих, случайно встреченных детенышах; крольчата рождаются слепыми и слабыми, нуждаются в заботе матери.

Русскоязычные толковые словари дают следующие практически идентичные определения *З.* и *К.* [Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981–1984]:

– ЗАЯЦ – небольшой, пугливый зверек отряда грызунов, с длинными задними ногами и длинными ушами. *Заяц-русак.* || мех этого животного;

– КРОЛИК – небольшой родственник зайцу зверек из отряда грызунов. *Дикий кролик. Домашний кролик.* || мех этого животного.

Помимо этого у «*З.*» есть еще два разговорных значения, которых нет у «*К.*», и указаны два фразеологизма со словом «*З.*»:

2. разг. То же, что зайчик (во 2-м знач.);

3. разг. Пассажир, не имеющий билета, или зритель, проникший без билета куда-л.;

◇ убить двух зайцев; гоняться {(или гнаться, погнаться)} за двумя зайцами, стремиться выполнить одновременно два разных дела, достичь двух различных целей.

Отсутствие у слова «*К.*» переносных и разговорных значений, а также устойчивых сочетаний позволяет сделать вывод о недостаточной освоенности языком этого наименования. Слово «*К.*» является заимствованием из польского языка XVIII в. [Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов / под ред.

Н. М. Шанского. М.: Дрофа. 2004] и до сих пор включается в словари иностранных слов [Толковый словарь иностранных слов / под ред. Л. П. Крысина. М.: Русский язык, 1998].

Англоязычные толковые словари определяют *З.* (hare) и *К.* (rabbit) так: [Collins English Dictionary. Complete and Unabridged. Sixth Edition/ ed. J. Butterfield. Glasgow: HarperCollins Publishers, 2004]:

– **hare** 1. (Animals) any solitary leporid mammal of the genus *Lepus*, such as *L. europaeus* (European hare). Hares are larger than rabbits, having longer ears and legs, and live in shallow nests (forms).

2. *make a hare of someone* (Irish) to defeat someone completely.

3. *run with the hare and hunt with the hounds* to be on good terms with both sides.

Vb 4. (*intr*; often foll by *off, after, etc*) *Brit* to go or run fast or wildly.

– **rabbit** 1. (Animals) any of various common gregarious burrowing leporid mammals, esp *Oryctolagus cuniculus* of Europe and North Africa and the cottontail of America. They are closely related and similar to hares but are smaller and have shorter ears.

2. (Textiles) the fur of such an animal.

3. (General Sporting Terms) *Brit* a novice or poor performer at a game or sport.

Vb 4. (Hunting) (*intr*) to hunt or shoot rabbits.

5. (*intr*; often foll by *on or away*) *Brit* to talk inconsequentially; chatter².

В качестве основных различительных черт указывается размер (*Hares are larger than rabbits, having longer ears and legs; They are closely related and similar to hares but are smaller and have shorter ears*) и особенности проживания (*З.* – это ЛЮБОЙ представитель зайцевых, проживающий вне группы). Кроме того, в английском языке переносные значения появились у слова «*rabbit*», которое соответствует русскому «*К.*», однако фразеологизмы указаны только в статье для слова «*hare*». Таким образом, можно сказать, что для английского языка оба эти слова являются достаточно освоенными, своими.

Культурно-лингвистические особенности *МО З.* и *К.* обнаруживаются в лингвострановедческих словарях, словарях синонимов, фразеологических словарях, словарях пословиц и поговорок и мн. др.

В русском языке богатый культурно-ассоциативный фон сформировался в связи с понятием *З.*, которое фигурирует в большом числе поговорок (*за двумя зайцами погонись – ни одного не поймаешь; сказывать зайца в верше, щуку в капкане*), пословиц (*Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет; Не ищи зайца в бору: на опушке сидит*), фразеологизмов

(хоть зайца гоняй; за копейку зайца догонит), детских стихов (раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять; трусишка-зайка серенький под елочкой скакал...), народных сказок (Заячья избушка; Лиса и заяц), литературных и кинопроизведений (Заяц во хмелю; Ну, погоди!), в традиционных свадебных обрядах и т.д. Те многочисленные устойчивые выражения, которые связаны с понятием *К.*, имеют иностранное происхождение и русской культуре не свойственны (кролик в шляпе, стонет кролик).

Иная картина предстает при анализе лингвострановедческих материалов о Великобритании и США. В англоязычной культуре значительно большую роль играют *К.* (*rabbit*), хотя и *З.* (*hare*) также представлены³. *З.* является элементом культурных традиций, связанных с охотой и Пасхой, а также в английских легендах существует персонаж *Белый З.*, который ассоциируется с ведьмой (в Корнуолле – с душой обманутой девушки), выходящей на улицы городов по ночам и приносящей неудачу. Однако сейчас и в этих традициях *З.* сменяется *К.* Например, в «Алисе в стране чудес» Л. Кэрролла фигурируют оба животных – March Hare (Мартовский Заяц) и White Rabbit (Белый Кролик), а типичным пасхальным героем в наше время становится Easter Bunny. Самыми известными литературными героями для носителя англоязычной культуры являются Мартовский Заяц и Белый Кролик из произведений Л. Кэрролла, кролик Питер (Peter Rabbit), придуманный Беатрис Поттер, герой «Сказок дядюшки Римуса» Джозеля Харриса Братец Кролик, мультипликационный герой удачливый кролик Освальд (Oswald the Lucky Rabbit) и др.

4. Эксперимент

Для исследования структуры образа *З.* и *К.* в ЯКМ носителей русского и английского языков, а также особенностей формирования этих понятий была проведена серия экспериментов. Материалом для эксперимента послужил опросник, включавший в себя 7 вопросов и 6 изображений.

Опросник был составлен из вопросов разных типов, что позволило выявить все основные типы знаний, формирующих структуру МО, – вопросы прямого толкования, ассоциативные и др. Вопросы прямого толкования (№ 3 и 4), а также вопрос «Чем различаются заяц и кролик?» направлены на выявление энциклопедических и бытовых знаний, составляющих каждый из исследуемых образов. Вопрос № 2 «Какое из этих названий для вас более частотное?» показывает сложившийся в языковой культуре узус употребления обоих наименований. Вопросы № 5 и 6 «Назовите по 3 эпитета к *З.* и к *К.*» актуализируют ассоциативные связи исследуемых понятий,

формирующие личностные знания. Вопрос № 7, отсылающий к бытующим в языке устойчивым словосочетаниям и выражениям с обоими наименованиями, выявляет культурно-лингвистические знания испытуемых.

Опросник был представлен на русском и английском языках.

В качестве испытуемых русскоязычного эксперимента выступили 22 взрослых носителя русского языка в возрасте 18–22 лет и 9 детей в возрасте от 4 до 7 лет. Англоязычный эксперимент проводился через Интернет. Англоязычную версию опросника заполнили 17 взрослых носителей английского языка в возрасте от 24 до 55 лет (из них для 7 человек русский язык являлся родным, хотя они постоянно проживали в англоязычной стране в течение длительного периода времени).

4.1. Образ зайца в ЯКМ взрослых носителей русского и английского языков

Анализ ответов взрослых носителей русского и английского языков позволил выявить как общие, так и различные черты в восприятии *З.* и *К.* представителями различных языковых культур.

Как оказалось, в целом взрослые носители русского языка достаточно хорошо разбираются в том, чем *З.* отличается от *К.* К основным чертам, различающим этих животных, относятся *среда обитания (15)⁴; шерсть (12); уши (11); лапы (5); размер (5); пища (4); способ передвижения (4); 2 подвида одного и того же вида (2); наличие хвоста (1); их едят животные (1); форма глаз (1).*

В предлагаемых описаниях *З.* фигурировали следующие характеристики: *дикое мелкое животное, травоядное млекопитающее, грызун, обитает в лесах, меняет окрас шерсти дважды в год, имеет длинные уши, короткую шерсть и хвост, быстро бегают, кормит себя самостоятельно, питается корой деревьев, травами и более мелкими животными, имеет сильные задние лапы, проживает везде, кроме Антарктиды; более дикое животное, нежели кролик.*

В то же время *К.* характеризуется как *домашнее мелкое животное, травоядное млекопитающее, грызун, "одомашненный" вид зайца, с мягким мехом, питается травой, с длинными ушами и гладкой шерстью, его разводят для мяса, или меха, либо в качестве домашнего любимца.* Кроме того, к основным чертам *К.* также относятся *вислые уши, способность выводить потомство (правда, детеныши рождаются слепыми и голыми), качество мяса (оно съедобное), отсутствие хвоста.*

Если сравнить эти два описания, окажется, что внешних различий для наивного носителя

языка между двумя видами зайцевых практически нет – более длинные уши и задние ноги у *З.*, некоторое различие в качестве шерстки (короткая шерсть у *З.* и гладкий мягкий мех у *К.*), наличие и отсутствие хвоста. Основное различие заключается в прирученности животного – *З.* ассоциируется исключительно с *диким животным*, в то время как *К.* является исключительно домашним, более того, воспринимается как тот же *З.*, но его *одомашненный вид*.

Почти все представленные определения отражают основные энциклопедические и бытовые знания об особенностях поведения, питания и размножения *З.* и *К.*, не считая наличия несколько неожиданных представлений о *З.* как о *травоядных животных*, которые тем не менее могут питаться и *более мелкими животными*.

Такое представление о *З.* как о хищнике нашло отражение и в полученных в ходе эксперимента от носителей русского языка ассоциациях. К понятию «*З.*» было получено 72 эпитета: *трусливый (9); быстрый (8); белый; дикий; косой (5); серый; хитрый (4); ловкий; пугливый (3); большой; длинноухий; пушистый; шустрый (2); бегающий; бурый; красивый; лесной; малый; меховой; мягкий; плодящийся; прыгающий; прыгучий; прыткий; русский; с большими ногами; сильный; смешной; ушастый; хищный; юркий (1)*. Полученные ядерные реакции (с частотностью более 10% ответов) совпадают с ядерными реакциями, указанными в Русском ассоциативном словаре (далее – РАС) [Караулов 2002], и большинство периферийных реакций также обнаруживается в списке типичных ассоциативных реакций носителей русского языка на стимул «*З.*» [там же].

В то же время абсолютное большинство полученных от участников эксперимента эпитетов к понятию «*К.*» не совпадают с ассоциациями к стимулу «*К.*» в РАС [Караулов 2002]: *пушистый (15); домашний (8); милый (7); мягкий (3); вкусный; грустный; дикий; спокойный (2); агрессивный; беззащитный; братец; веселый; вислоухий; дающийся на руки; декоративный; дружелюбный; жадный; зубастый; когтистый; ласковый; ленивый; лишай; маленький; медлительный; меховой; миленький; неуловимый; няшный; прикольный; пугливый; съедобный; теплый; умный (1)*.

Возможно, основной причиной этого расхождения является то, что большинство указанных эпитетов к понятию «*К.*» представляют собой оценочную и эмоциональную лексику, отражая личное отношение испытуемых к данному животному (*пушистый; милый; мягкий; вкусный; грустный; спокойный; агрессивный; беззащитный; веселый; дающийся на руки; дружелюбный; жадный; зубастый; когтистый; ласковый; ле-*

нивый; лишай; маленький; медлительный; миленький; неуловимый; няшный; прикольный; теплый; умный), в то время как значительная часть эпитетов, данных к понятию «*З.*», представляют собой энциклопедические или бытовые знания – общие для представителей одной языковой культуры (*быстрый; белый; дикий;; серый; большой; длинноухий; шустрый; бегающий; бурый; лесной; меховой; плодящийся; прыгающий; прыгучий; прыткий; русский; с большими ногами; сильный; ушастый*). Подобное распределение реакций позволяет предположить, что понятие «*З.*» является более общим и культурно обусловленным для носителей русского языка, а понятие «*К.*» оказывается индивидуализированным и в первую очередь определяется личным жизненным опытом⁵.

Значительную роль в организации МО играет культурно-лингвистическая информация, которая была представлена в ответах на вопрос № 7. Взрослые носители русского языка вспомнили 61 устойчивое сочетание с *З.* и только 33 высказывания с *К.* Среди устойчивых сочетаний, связанных с *З.*, преобладали элементы русского фольклора (*за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь; заяка-попрыгайка; дрожать как заячий хвост*); герои русской классической литературы (*дед Мазай и зайцы; под елкой зайчик серенький*); элементы городского фольклора (*ехать зайцем*) и др. В предложенных устойчивых сочетаниях с *К.* фигурировали заимствованные из западной культуры элементы, не свойственные русским традициям и фольклору: *братец-кролик; подопытный кролик; кролик в шляпе; Баггз Банни; быстрее чем кролики; Кролик Роджер; лунный кролик; пасхальный кролик; смотреть как кролик на удава* и др.

Для носителей английского языка слова **rabbit** и **hare** оказались практически синонимичными, что показали такие ответы, как *these words are technically interchangeable; (what is the difference between?) none*. Тем не менее среди различающих черт англоязычные испытуемые (так же, как и русскоязычные) назвали размер (*hares are larger, bigger*), длину ушей и ног, место проживания (*one is wild, one is farmed*).

Принципиальным отличием от ответов носителей русского языка является тот факт, что англоязычные испытуемые определяли **hare** через **rabbit**, т. е. последнее понятие (соответствующее в переводных словарях русскому *К.*) является для носителей английской ЯКМ основным:

– **rabbit is a cute, small furry animal, a hole dwelling herbivore mammal, a rodent, with long floppy ears, strong hind legs and a short cotton tail which hops around, eats carrots and is associated with the Easter holiday; a farmed hare;**

– **hare** is a wild type of rabbit but bigger, with long ears which lives in the woods; the same as a rabbit; a male rabbit

Данные определения (особенно последнее замечание о том, что *З.* – это самец *К.*) указывают, что в английской ЯКМ наивного носителя языка энциклопедические знания о данных животных представлены достаточно скупо по сравнению с бытовыми и культурно-лингвистическими. Это подтверждается и предложенными испытуемыми эпитетами к понятиям **hare** и **rabbit**:

– **hare**: *furry* (5); *cute*; *fast*; *quick* (3); *big*; *bigger than rabbit*; *brave*; *daring*; *fluffy*; *hops*; *jumpy*; *large-eared*; *little*; *rabbitlike*; *rodent*; *small*; *strong*; *timid* (1);

– **rabbit**: *furry* (6); *cute* (4); *fast* (3); *fluffy* (2); *jumpy* (2); *quick* (2); *small* (2); *funny*; *furball*; *fuzzy*; *hops*; *little*; *nimble*; *rodent*; *shy*; *unintelligent* (1).

Анализ приведенных эпитетов также демонстрирует синонимичность этих двух понятий для носителей английского языка, так как более 70% эпитетов, предложенных для **hare**, совпадает с эпитетами, предложенными для **rabbit**. В сравнении с эпитетами, данными носителями русского языка, бросается в глаза характеристика **hare** (*З.*) как *brave* (храбрый), *daring* (смелый), *timid* (скромный), что никак не соотносится с одной из основных для носителей русской ЯКМ характеристик *З.* как трусливого и пугливого существа.

Отдельный интерес представляют ответы на англоязычную анкету носителей русского языка, длительное время проживающих в англоязычной стране. В предложенных толкованиях и эпитетах они показали совершенно те же результаты, что и носители русского языка, отвечавшие на русскоязычную анкету (*different species (domestic, lives at the farm / wild, lives in the forest); different behavior; hare is faster; rabbit's ears are shorter; a rabbit does not change its color; hare is a wild furry animal, a rodent, with long ears and paws changing its colour from grey in summer to white in winter; hunted for his fur; rabbit is an animal like hare, but smaller; a domestic rodent, kept for its meat and fur, a very fast small animal with long ears; a pet bunny with long ears and paws*).

Однако в ответах на вопрос об устойчивых сочетаниях с **hare** или **rabbit** заметно преобладали элементы англоязычной культуры: *be as mad as a March hare; Bugs Bunny, if you run after two hares you'll catch neither; Peter Rabbit; who framed Roger Rabbit*.

Сравнительный анализ ответов, полученных от русскоязычных и англоязычных испытуемых, показал, что в основном представления о *З.* и *К.* у наивных носителей исследуемых языков схожи, однако некоторые различия присутствуют. Для носителей английского языка первичным

оказывается образ **rabbit**, через который они опознают и характеризуют образ **hare**. Интересно, что это не связано с проживанием *З.* и *К.* на территории Великобритании, которая является для них общим ареалом, однако, по-видимому, определяется исключительно традиционными историческими причинами, в частности, тем, что само семейство зайцевых называется на английском языке the rabbit family.

В отличие от этого, носители русского языка определяют основные черты *К.* через *З.* Это говорит о первичности для нашей языковой культуры именно *З.*, что логично следует из специфики первичного ареала дикого *К.*, ограниченно-территорией Южной Европы. Вероятно, это является также причиной того, что для большинства носителей русского языка *К.* является в первую очередь домашним, приручаемым и употребляемым в пищу животным, что отразилось в полученных в ходе эксперимента эпитетах.

4.2. Развитие образов зайца и кролика в онтогенезе

В эксперименте приняли участие 9 детей в возрасте 4–7 лет. Опрос детей проводился их родителями, которые получили анкету по электронной почте.

Анализ полученных результатов показал, что не все опрошенные дети в возрасте 4–5 лет знают слово «*К.*» и понимают разницу между этими двумя животными, однако в числе различающих их черт были названы только окрас и пища. Дети в возрасте 6–7 лет отмечали, что *З.* и *К.* – это разные слова (но не обязательно разные животные); *зайцы живут в лесу, а кролики живут в клетках; у них разный окрас и размер, а также длина ушей*.

Дети младшего возраста определили *З.* как *лесного зверька, маленькое животное, рыжее, с длинными ушами и коротким белым хвостиком, с поджатými ножками, мягкими ушами, мягкими ногами, которое ест морковь*. В отличие от него, *К.* *ест капусту и у него пушистый хвостик, но в целом это животное такое же, как заяц*. Дети старшего возраста уже смогли дать более развернутые определения этим животным, используя в них основные усвоенные элементы энциклопедического знания:

– *З.* – это *дикое животное (дикий кролик); не хищник, пушистый зверек, который живет в лесу и питается корой деревьев, бывает серым и белым и очень миленький, с длинными ушами и более сильными задними ногами; заяц – это взрослый кролик;*

– *К.* – это *некрупное домашнее животное, которое питается овощами, с длинными ушами; это пушистый зверек, который живет в клетке*

и низко прыгает; ему делают уколы от бешенства; это зверь для радости, который любит детей; кролик – это маленький заяц.

В приведенных определениях обращает на себя внимание присутствие путаницы между двумя животными (*З.* – это *дикий кролик, заяц – это взрослый кролик; кролик – это маленький заяц*), а также включение в оба определения кроме объективной (энциклопедической) информации различных впечатлений от личного опыта общения с обоими животными (*З.* – *очень миленький; К.* – *ему делают уколы от бешенства; это зверь для радости, который любит детей*). Таким образом, можно сказать, что в возрасте 6–7 лет у детей на смену чувственному восприятию объекта, построенному на личном опыте, приходит более обобщенный образ, основным компонентом которого является энциклопедическая информация, однако в МО в этом возрасте энциклопедическая и чувственная информация достаточно равноправны.

Этот вывод подтверждается также анализом предложенных детьми эпитетов. Эпитеты, предложенные детьми младшего возраста для *З.* и *К.*, почти полностью совпадают и отражают личное чувственное восприятие животных: (*З.*) *очень пушистый, у него есть мех, водится в лесу, милый, добрый, красивый, белый, мягкий, гладенький; (К.) у кролика есть мех, очень мне нравится, тоже в лесу, красивый, добрый, любимый*. Дети старшего возраста предложили 19 эпитетов для *З.* и 11 эпитетов для *К.*:

– *З.*: *серый (когда лето) (3); трусливый (3); ушастый (3); белый (когда зима) (2); быстрый; дикий; домашний; зубы – лопаты; маленький; морковкоед; пушистый; травоядный (1);*

– *К.*: *бедненький; ворчливый; деревянный; длинноухий; добрый; домашний; ест морковку и кору; капустоед; кроленька; маленький; трусливый.*

Если сравнить данные эпитеты с ответами взрослых носителей русского языка, то окажется, что 73% указанных характеристик *З.* совпадают с данными эксперимента с взрослыми носителями русского языка, в то время как характеристики *К.* совпадают лишь в 19% случаев. Это подтверждает недостаточную сформированность образа *К.* в детской ЯКМ в сравнении с их довольно зрелыми представлениями об основных характеристиках *З.*

Вплоть до 7-летнего возраста культурно-лингвистическая информация осознается носителями русского языка достаточно плохо. Дети младшего возраста не смогли назвать ни одного устойчивого сочетания с упоминанием *З.* или *К.* Дети старшего возраста вспомнили 7 выражений, среди которых были детский стишок (*раз, два,*

три, четыре, пять – вышел зайчик погулять), идиомы (*трусливый, как заяц; бешеный заяц*) и устойчивые словосочетания (*кроличья нора; заячьё лицо*⁶).

Таким образом, анализ ответов, полученных от детей в возрасте от 4 до 7 лет, показал, что разделение двух МО – *З.* и *К.* – происходит около пятилетнего возраста, однако вплоть до 7-летнего возраста чувственное восприятие превалирует над прочими типами знаний. Последними же, по-видимому, встраиваются в структуру МО культурно-лингвистические знания, и происходит это уже в старшем дошкольном возрасте⁷.

4.3. Определение визуальных образов

Вторая часть опросника содержала 6 картинок (3 фотографии и 3 рисунка), и задача испытуемых состояла в определении животного, изображенного на картинке. Только две картинки были опознаны испытуемыми всех групп одинаково – белый *З.*, бегущий по снежному полю, был определен как *З.* практически всеми испытуемыми, кроме 3 носителей английского языка, а фотография рыжего зверька с опущенными ушами была всеми испытуемыми определена как *К.*

Однако все остальные картинки были опознаны носителями разных языков по-разному. Пять из шести картинок были опознаны носителями русского языка и русскоязычными испытуемыми, заполнявшими анкету на английском языке, одинаково. Только в одном случае – изображение Братца Кролика из книжки Джоэля Харриса «Сказки дядюшки Римуса» – последние совпали в решении с англоязычными испытуемыми, которые верно назвали героя (*К.*). Это подтверждает тот факт, что «лексикон индивида постоянно подвергается влиянию поступающей извне информации», в результате чего «синонимическая система индивида эволюционирует и саморазвивается» [Кривко 2010: 20], в частности, под влиянием культуры второго языка. Русскоязычные испытуемые опознали изображенное животное как *З.* в соотношении 17 (*З.*) к 7 (*К.*).

Анализ определения картинок оказывается достаточно интересным для вопроса о вербальности или образности нашего мышления [Стернин, Розенфильд 2008]. Испытуемые должны были опознать картинки уже после того, как сформулировали различия между *З.* и *К.*, после того, как дали определение этим понятиям и назвали типичные для них эпитеты. Однако, несмотря на близость вербальных характеристик *З.* и *К.*, данных испытуемыми в каждой из анализируемых групп, многие картинки были отождествлены ими различно (например, картинка № 3 (рисованное изображение зайца с длинными,

но повисшими ушами и морковкой), где русскоязычные испытуемые дали ответы З./К. в соотношении 14/10, русскоязычные испытуемые, заполнявшие англоязычную анкету, – 4/3; носители английского – как К. (в соотношении 1/9)). По-видимому, в мышлении вербальный компонент существует параллельно с образным, и в течение жизни визуальный образ дополняет «понятийно-логический аспект ментальной модели, формируя комплексное устойчивое восприятие, осмысление и запоминание объектов реальной действительности» [Гуревич 2009: 101], однако визуальный образ представляется первичным и более стабильным, вступая иногда в противоречие с вербально обусловленной ЯКМ.

Кроме того, сложность в отождествлении картинок подтверждает, что для большинства носителей русского языка З. и К. во многом являются синонимичными понятиями, представляющими животных одного вида (или в лучшем случае двух близких видов), единственным различием между которыми воспринимается только их место обитания – в дикой среде (З.) или в домашних условиях (К.). Такая путаница в разграничении «квазисинонимов», вероятно, является следствием того, что «близость значения вербальных единиц в сознании индивида детерминруется определенными параметрами порядка, которые отражают возраст, индивидуальное восприятие мира индивидом, его опыт, знания, психоэмоциональное состояние» [Кривко 2010: 5]; в результате испытуемые подвержены влиянию узуса, который диктует частотность употребления того или иного члена синонимического ряда.

Наиболее ярко влияние узуса проявилось в определении животных, изображенных на первой (сидящий в профиль серо-белый зверек со сравнительно небольшими ушами и маленьким хвостиком) и четвертой (иллюстрация к сказке Братьев Гримм «Заяц и Еж») картинках. Носители русского языка (все группы), указавшие в качестве наиболее частотного в их собственной речи наименования слово «З.», опознали изображенных животных как З., однако носители английского языка, которые указали в качестве наиболее частотного в их собственной речи наименования слово «rabbit», определили изображенных животных как К. То, что К. был назван зверек, изображенный на иллюстрации к сказке «Заяц и Еж» (оригинальное название – *Der Hase und der Igel*, название на английском языке – *The Hare and the Hedgehog*), показывает, что влияние узуса оказывается более существенным для восприятия визуального образа, чем энциклопедические и даже культурно-лингвистические знания.

5. Заключение

Анализ структуры МО двух близкородственных животных (З. и К.) в русской и английской ЯКМ позволил выявить специфику их восприятия носителями данных языков, а также особенности взаимодействия в структуре МО различных знаний.

Для наивного носителя русского языка основными различиями между З. и К. оказываются размер животного, размер ушей и лап, место обитания. Эти же различия являются актуальными уже для детей в возрасте 6–7 лет. Дети младшего возраста (до 5 лет) затрудняются разделить этих двух животных, указывая в качестве основного различия только особенности питания. Анализ результатов ассоциативной части опросника показал, что ядро ассоциативного поля для обоих животных составляют энциклопедические знания, в целом совпадающие с данными РАС [Караулов 2002]. Те же реакции составляют ядро ассоциативного поля у детей 6–7 лет для образа З., однако ассоциативное поле для образа К. в этом возрасте еще не сформировалось. У детей до 5 лет ассоциативные поля З. и К. совпадают и представлены исключительно чувственными эпитетами, полученными из личного опыта взаимодействия с объектом.

Таким образом, можно сказать, что МО З. и К. как двух различных животных формируются после 5-летнего возраста, однако образ З. устанавливается раньше, чем образ К., под влиянием устойчивой культурно-лингвистической традиции.

Обратная ситуация наблюдается в английской ЯКМ, где первичным оказывается образ **rabbit** (К.), который является основой понимания и толкования образа **hare** (З.), имеет более разнообразное и четкое ассоциативное поле и является более популярным героем народного фольклора, литературных и художественных произведений, устойчивых сочетаний и культурных традиций.

Проведенный анализ показал также, что первично усвоенный образ, соответствующий родному языку, является устойчивым и стабильным даже при сформировавшемся искусственном билингвизме, поскольку единственным влиянием, обнаружившимся при анализе ответов русскоязычных испытуемых, длительное время проживающих в англоязычных странах и заполнявших англоязычную анкету, оказалось увеличение числа устойчивых выражений, связанных с *rabbit*, а также уверенное узнавание изображения героя «Сказок дядюшки Римуса» Братца Кролика, что свидетельствует о приобретении дополнительной культурно-лингвистической информации к уже сформированным в рамках родной ЯКМ МО.

Однако для носителей обоих языков все эти знания оказываются нерелевантными для однозначного определения животного по внешнему виду, на которое также оказывает влияние культурно-лингвистическая информация – фольклор, литературные сказки, устойчивые сочетания и т. д. – и особенно личный опыт и узус. При упоминании того или иного объекта активизируются связанные с ним ассоциации, полученные при помощи разных органов чувств – осязания, зрения, вкуса и т. д. Наше восприятие объекта и возникающий МО зависят в первую очередь не от энциклопедических, бытовых или культурных знаний, а от чувственного восприятия, которое в течение жизни меняется и в разной степени представлено в МО объектов⁸.

Таким образом, основные различия между наивными ЯКМ носителей русского и английского языков в функционировании и формировании МО **З.** и **К.** являются следствием соотношения в его структуре различных видов знаний (энциклопедических, бытовых, культурно-лингвистических и личностных), а также традиционным предпочтением того или иного животного в качестве типичного представителя семьи зайцевых.

Примечания

¹ Термин «концепт» сейчас встречается в большинстве исследований особенностей организации знаний и понятий. Сложность его использования состоит в том, что практически каждый исследователь понимает его по-своему. Как отмечал С.Г. Воркачев (2003), концепт является неким «зонтиковым» термином, объединяющим разные типы ментальных явлений, различным образом структурирующих знания в сознании человека. В результате концепты включают в себя и представления, и образы, и репрезентации, и понятия, и фреймы, и схемы, и гештальты, и многое другое (см.: [Бабушкин 1996; Слышкин 2000] и др.). Взаимоотношения между всеми этими терминами и соответствующими им понятиями становятся объектом отдельных исследований [Касевич 2013; Стернин 2012; Ларина 2010].

² В английском языке существует еще одно наименование для этого животного – *bunny*, однако оно не рассматривалось отдельно в исследовании, поскольку не имеет прямого аналога в русском языке. Тем не менее это наименование встретилось в ответах англоязычных испытуемых (см. ниже).

³ Например, в англоязычной Википедии в перечне **З.** и **К.**, которые являются героями литературных, художественных фильмов, рекламы или мультфильмов, указано только 11 персонажей **З.**

и более 150 персонажей **К.** (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fictional_rabbits_and_hares).

⁴ В скобках указана частотность упоминания признака в ответах испытуемых.

⁵ Косвенным подтверждением вторичности понятия **К.** для носителей русского языка можно считать то, что одной из ядерных реакций на стимул **К.** в РАС является ответ «*заяц 15*», в то время как среди реакций на стимул **З.** **К.** встречается значительно реже [Караулов 2002].

⁶ По-видимому, подразумевалась *заячья губа*.

⁷ Вероятно, именно в этом возрасте на основе МО начинают формироваться концепты, которые, по словам Ю.С. Степанова, служат основным средством включения человека в культуру, свойственную его языку [Степанов 2004].

⁸ Ср. рассуждения об эгоцентричности языка Ю. Д. Апресяна [Апресян 1995] и размышления о существовании «я-культур» и «мы-культур» В. Б. Касевича [Касевич 2013]. Различное соотношение личностных индивидуальных характеристик среди предложенных носителями разных языков эпитетов наводит на предположение о различной степени «эгоцентричности» языков, отражающейся в наивной ЯКМ, однако оно требует дополнительных исследований.

Список литературы

- Апресян Ю. Д. Избранные труды. М.: Языки русс. культуры, 1995. Т. 2. 767 с.
- Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. 104 с.
- Бердникова А. Г. Концепт «Благодарность» в русской языковой картине мира // Проблемы интерпретационной лингвистики: межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 2000. С. 34–42.
- Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков: сб. науч. работ / пер. с англ. А. Д. Шмелева. М.: Языки слав. культуры, 1999. 791 с.
- Воркачев С. Г. Концепт как «зонтиковый термин» // Язык, сознание, коммуникация. М.: МАКС Пресс, 2003. Вып. 24. С. 5–12.
- Гуревич Л. С. Ментальная визуализация абстрактных образов: когнитивные склейки // Вестник ИГЛУ. 2009. № 1(5). С. 100–105.
- Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. М.: Гнозис, 2005. 543 с.
- Караулов Ю. Н. (ред.) Русский ассоциативный словарь: в 2 т. М.: АСТ-Астрель, 2002. Т. I. 784 с.; Т. II. 992 с.
- Касевич В. Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности. М.: Языки слав. культуры, 2013. 192 с.

Кривко И. П. Специфика синонимической аттракции в лексиконе индивида: синергетический подход: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Курск, 2010. 22 с.

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки слав. культуры, 2004. 560 с.

Ларина М. Б. К вопросу о способах структурирования знания в языке: концепт, значение, понятие, образ // Вестник Кузбасской государственной педагогической академии 2010. № 1(2). URL: <http://vestnik.kuzsra.ru/articles/3/> (дата обращения: 27.03.2016).

Лебедева С. В. Близость значения слов в индивидуальном сознании: дисс. ... д-ра филол. наук. Тверь, 2002. URL: <http://cheloveknauka.com/blizost-znacheniya-slov-v-individualnom-soznanii> (дата обращения: 27.03.2016).

Леонтьев А. А. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). М.: Смысл, 2001. 380 с.

Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Akademia, 2000. 128 с.

Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М.: Акад. проект, 2004. 982 с.

Стернин И. А. Проблема неединственности метаязыкового описания ментальных единиц в лингвистике // Лингвоконцептология и психолингвистика. Воронеж: Истоки, 2012. Вып. 5. С. 8–17.

Стернин И. А., Розенфидьд М. Я. Слово и образ. Воронеж: Истоки, 2008. 243 с.

Эйсмонт П. М. Особенности усвоения глагольной аргументной структуры детьми в возрасте 6–8 лет (на материале русского и английского языков) // Онтолингвистика – наука XXI века: материалы междунар. конф., посвящ. 20-летию кафедры детской речи РГПУ им. А. И. Герцена. СПб.: Златоуст, 2011. С. 173–174.

Эйсмонт П. М. Семантика и синтаксис спонтанного нарратива: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2008. 21 с.

Langacker R. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1990. 395 p.

Levelt W. J. M. Accessing words in speech production: Stages, processes and representations // W. J. M. Levelt (ed.) Lexical access in speech production Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1993. P. 1–22.

References

Apresyan Yu. D. *Izbrannye trudy: T. 2.* [Selected Works. Volume 2]. M., Jazyki russkoj kul'tury Publ., 1995.

Babushkin A. P. *Tipy kontseptov v leksiko-frazeologicheskoj semantike jazyka* [Types of con-

cepts in lexical-phraseological semantics of the language]. Voronezh, Voronezh St. Univ. Publ., 1996. 104 p.

Berdnikova A. G. Kontsept «Blagodarnost'» v russkoj jazykovoj kartine mira [The concept “Gratitude” in the Russian linguistic worldview]. *Problemy interpretatsionnoj lingvistiki: Mezhev. sb. nauch. tr.* [Problems of interpretation linguistics. Interacademic collection of works]. Novosibirsk, 2000.

Wierzbicka A. Semanticheskie universalii i opisanie jazykov: sb. nauch. rabot [Semantic universals and language description: coll. articles]. Transl. by A. D. Shmelev. M., Jazyki slavjanskoj kul'tury Publ., 1999. 791 p.

Vorkachev S. G. Kontsept kak «zontikovyj termin» [The concept as an “umbrella term”]. *Jazyk, soznanie, kommunikatsija* [Language, Cognition, Communication]. Iss. 24. M., MAKS Press Publ., 2003. P. 5–12.

Gurevich L. S. Mental'naja vizualizatsija abstraktnykh obrazov: kognitivnye sklejki [Mental visualization of abstract images: the cognitive pastings]. *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta* [The ISLU Philological Review]. 2009. Iss. 1 (5). P. 100–105.

Zalevskaya A. A. *Psicholingvisticheskie issledovaniya. Slovo. Tekst: Izbrannye trudy* [Psycholinguistic research. Word. Text: Selected works]. M., Gnozis Publ., 2005. 543 p.

Karaulov Yu. N. (ed.) *Russkij asociativnyj slovar': V 2 t.* [Russian Dictionary of Associations: in 2 vols.]. Vol. I. M., AST-Astel' Publ., 2002. 784 p. Vol. II. M., AST-Astel' Publ., 2002. 992 p.

Kasevich V. B. *Kognitivnaja lingvistika: v poiskakh identichnosti* [Cognitive Linguistics: in search for identity]. Moscow, Jazyki slavjanskoj kul'tury Publ., 2013. 192 p.

Krivko I. P. *Spetsifika sinonimicheskij attraksii v leksikone individa: sinergeticheskij podhod.* Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Specificity of synonymous attractions in an individual's lexicon: a synergistic approach. Synopsis of Cand. philol. sci. diss.]. Kursk, 2010. 22 p.

Kubryakova E. S. *Jazyk i znanie: Na puti poluchenija znanij o jazyke: Chasti rechi s kognitivnoj tochki zrenija. Rol' jazyka v poznanii mira.* [Language and Knowledge: On the way of language acquisition: Parts of speech in terms of cognition. The role of language in understanding the world]. M., Jazyki slavjanskoj kul'tury Publ., 2004. 560 p.

Larina M. B. K voprosu o sposobakh strukturirovaniya znanija v jazyke: kontsept, znachenie, ponjatie, obraz [On the ways structuring knowledge in language: the concept, meaning, notion, image]. *Vestnik Kuzbasskoj gosudarstvennoj pedagogicheskoy akademii* [Kuzbass State Pedagogical Academy Herald].

2010. Iss. 1 (2). Available at: <http://vestnik.kuzspa.ru/articles/3/> (accessed 27.03.2016).

Lebedeva S. V. *Blizost' znachenija slov v individual'nom soznanii*: dis. d-ra filol. nauk [The proximity of words meaning in the individual consciousness. Dr. philol. sci. diss.]. Tver, 2002. Available at: <http://cheloveknauka.com/blizost-znacheniya-slov-v-individualnom-soznanii> (accessed 27.03.2016).

Leont'ev A. A. *Deyatel'nyj um (Deyatel'nost', Znak, Lichnost')* [The active mind (Activity, Sign, Person)]. M., Smysl Publ., 2001. 380 p.

Slyshkin G. G. *Ot teksta k simvolu: lingvokul'turnye kontsepty pretsedentnykh tekstov v soznanii i diskurse* [From the text to the symbol: cultural concepts of precedent texts in consciousness and discourse]. M., Akademia Publ., 2000. 128 p.

Stepanov Yu. S. *Konstanty: slovar' russkoj kul'tury* [Constants: Dictionary of Russian culture]. M., Akademicheskij proekt Publ., 2004. 982 p.

Sternin I. A. Problema needinstvennosti metajazykovogo opisaniya mental'nykh edinit v lingvistike [The problem of non-uniqueness of metalinguistic descriptions of mental units in linguistics and psycholinguistics]. *Lingvokontseptologija i psiholingvistika* [Linguacology and

psycholinguistic]. Iss. 5. Voronezh, Istoki Publ., 2012. P. 8–17.

Sternin, I. A., Rosenfeld, M. Ya. *Slovo i obraz* [Word and Image]. Voronezh, Istoki Publ., 2008. 243 p.

Eismont P. M. Osobennosti usvoenija glagol'noj argumentnoj struktury det'mi v vozraste 6–8 let (na materiale russkogo i anglijskogo jazykov) [Features of verbal argument structure acquisition by children at the age of 6–8 (in Russian and English)]. *Ontolingvistika – nauka XXI veka* [Ontolinguistics – science of the 21st century]. St. Petersburg, Zlatoust Publ., 2011. P. 173–174.

Eismont P. M. *Semantika i sintaksis spontannogo narrativa*: avtoref. diss. kand. filol. nauk [Semantics and syntax of spontaneous narrative. Synopsis of Cand. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2008. 21 p.

Langacker R. *Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar*. Berlin and New York, Mouton de Gruyter. 1990.

Levelt W. J. M. Accessing words in speech production: Stages, processes and representations. *Lexical access in speech production*. Ed. by W. J. M. Levelt. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. 1993. P. 1–22.

THE MENTAL IMAGE OF “RABBIT” IN THE NAÏVE LINGUISTIC WORLD VIEW

Polina M. Eismont

**Associate Professor in the Department of Foreign Languages
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation**

The paper deals with the problem of a mental image formation and structure, which are specific for each naïve linguistic world view. The analysis is based on a series of experiments that study mental images of “zayats” and “krolik” in Russian and “hare” and “rabbit” in English linguistic world views. The experiments involved 22 Russian-speaking adults and 17 English-speaking adults as participants. The same experiment was performed with children at the age of 4–7, and analysis of these data has shown the way of a mental image formation. The analysis conducted has proved that the understanding and structure of mental images as well as their recognition depends on cultural and linguistic information, especially on personal cultural and linguistic experience of a speaker, while the core of any mental image includes encyclopedic knowledge, which is stable and basic. Acquisition of two close mental images follows several levels, and children start differentiating them according to their own sense experience at the age of 5. At the same time, cultural and linguistic information of a mental image is acquired after the age of 6. The comparative analysis of the mental images of “zayats” and “krolik” in Russian and “hare” and “rabbit” in English has shown that the mental image of “rabbit” corresponds to both “zayats” and “krolik” in Russian.

Key words: linguistic world view; mental image; language acquisition; encyclopedic knowledge; cultural and linguistic knowledge; personal knowledge.

УДК 659.131.2

СТИЛИСТИКО-ТЕКСТОВЫЙ СТАТУС ПЕРСУАЗИВНОСТИ МЕДИАТЕКСТА

Евгения Алексеевна Медведева

аспирант кафедры русского языка и стилистики

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Пермь, ул. Букирева, 15. Jany90@inbox.ru

В статье рассматриваются дискурсивно-стилистические особенности современного медиатекста, дается определение персуазивности и обоснование категориального статуса этого понятия, раскрывается структура категории персуазивности и прослеживается ее реализация в текстах современных электронных газет, а также взаимосвязь данной категории с субкатегориями авторизации, диалогичности и оценки. Делается вывод об особой роли категории оценки в реализации воздействующей функции газетно-публицистического текста.

Предлагается обоснование использования дискурсивно-стилистического метода анализа медиатекста в качестве базового, позволяющего объяснить воздействующий потенциал медиатекстов с учетом экстралингвистических факторов их порождения. Особое внимание уделяется выявлению стилистических приемов воздействия на читателя, реализуемых в текстах современных интернет-газет, подробно рассматриваются способы убеждения и внушения и их взаимодействие. Анализируется принцип текстообразования в медиакommunikации. Дается системная характеристика автора как стилиобразующая категория публицистического текста, исследуются способы проявления авторского начала и особенности общения автора с целевой аудиторией.

Ключевые слова: персуазивность; медиатекст; категория оценки; категория авторизации; категория диалогичности; дискурс; интернет-газета.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-52-58

Необходимость научного осмысления активных процессов, которые протекают в российском медиадискурсе, и в целом его незначительная изученность послужили для нас стимулом к комплексному исследованию феномена интернет-газеты в аспекте реализации ее персуазивной функции.

Персуазивность определяется как исторически сложившаяся, закреплённая в общественной и коммуникативной практике особая форма ментально-речевого взаимодействия индивидов, осуществляемая на базе определенных типов текста и реализующая попытку преимущественно вербального воздействия одного из коммуникантов (адресанта) на установку своего коммуникативного партнера / партнеров (реципиента / аудитории) с целью ненасильственным путем (посредством коммуникативных стратегий убеждения и «обольщения») добиться от него принятия решения о необходимости, желательности либо возможности совершения / отказа от

совершения определенного посткоммуникативного действия в интересах адресанта [Голоднов 2003: 43].

Персуазивность представляется целесообразным рассматривать в качестве коммуникативной категории, которая базируется на типах речевого взаимодействия и воздействия, к последнему относится в первую очередь внушение.

Как считают исследователи [Кормилицына, Сиротинина 2011: 8], свойство публицистики – воздействовать на адресата. Средствами этого воздействия являются **убеждение** адресата в правомерности чего-либо, необходимости каких-либо действий, правильности или неправильности чьих-то взглядов, поступков и т. д. Это открытое воздействие, направленное на разум человека: доказательства (аргументация) даваемых оценок, подведение адресата к осознанию их оправданности или недопустимости чего-либо. Наиболее убедительны в этом отношении хорошо подобранные факты, ссылки на бесспорные

авторитеты, яркие цифровые данные. Однако факты именно подбираются (одни обнародуются, другие не замечаются), поэтому одно и то же событие в проправительственных и оппозиционных СМИ может получить противоположную оценку, аргументированную разными фактами. Аналогично обстоит дело со ссылками на авторитет (у разных адресатов разные авторитеты) [Кормилицына, Сиротинина 2011: 8].

Кроме убеждения, в СМИ используется **внушение**. Именно на нем основана манипуляция, т. е. нейрофизиологическое подчинение человека, навязывание ему какой-то точки зрения без его участия. Для этого применяются и логические уловки, и целый ряд особых речевых приемов.

Незапрещенные приемы внушения в массовой коммуникации распространены очень широко. Прежде всего, к ним относится выбор ярко оценочных слов из синонимического ряда. Это и стилистические приемы: риторический вопрос (не требующий ответа, так как он однозначен) и использование вопросно-ответных форм, когда автор задает вопрос и сам же на него отвечает, не давая адресату возможности подумать над вопросом и, может быть, ответить на него иначе. Тем самым адресату помимо его воли внушается, что ответ автора единственно возможный. Способствуют внушению и так называемые риторические фигуры, и тропы (метафоры, сравнения), и использование различных прецедентных феноменов: ссылок на известное событие, пословицу или поговорку, цитирование известного стихотворения или песни, упоминание известного имени и т. д.

Чаще всего убеждение и внушение взаимодействуют друг с другом. При этом в разных СМИ и в разные периоды преобладает либо одно, либо другое средство воздействия [там же].

Следует отметить, что убеждение и внушение лежат в основе персуазивности и проявляются через оценку, предполагают наличие субъекта (автора) и объекта (адресата), т. е. основаны на их диалогическом взаимодействии. Ключевая роль в этом взаимодействии принадлежит автору: именно эта категория сообщает тексту воздействующий потенциал. На наш взгляд, персуазивность представляет собой интегративную категорию: она реализуется через ряд подчиненных ей категорий (субкатегорий), среди которых важнейшими являются категории авторизации, диалогичности и оценки.

Диалогичность речи представляет собой выражение в тексте средствами языка взаимодей-

ствия общающихся, понимаемого как соотношение смысловых позиций, как учет реакций адресата (в том числе второго Я), а также эксплицирование в тексте признаков собственно диалога [Стилистический энциклопедический словарь русского языка].

Категория оценки – это совокупность разноуровневых языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи [там же].

Под авторизацией понимается семантическая категория, служащая «для выражения источника знания, лежащего в основе сообщения», суть которой заключается в том, что «разнообразными, но вполне поддающимися описанию способами в предложение, содержащее ту или иную информацию об объективной действительности, вводится второй структурно-семантический план, указывающий на субъект, «автора» восприятия, констатации или оценки явлений действительности, а иногда и на характер восприятия» [Золотова 1973: 263]; «субъект в современной массовой коммуникации выступает как личность со всеми особенностями её менталитета, причем в структуре его целей все большую роль начинает играть стремление к самовыражению» [Культура русской речи 1998: 256].

Авторизация обусловлена тематической свободой, прагматической (отсутствие внешней обусловленности оценки), стилевой свободой (преобладание слога над стандартом) [Жеребило 2010: 84].

На рисунке представлено соотношение категории персуазивности и субкатегорий авторизации, диалогичности и оценки. Рассмотрим подробнее связь данных категорий.

Социальная оценочность – одна из основных стиливых черт газетно-публицистического стиля, обусловленная не только информативным, но и – преимущественно – воздействующим характером публицистической речи. Как важнейший принцип языка публицистики социальная оценочность была обоснована в работах Г. Я. Солганика (1980). В аналитических и художественно-публицистических жанрах наиболее полно проявляется социальная оценочность, поскольку именно в этих жанрово-стилевых стихиях разносторонне раскрывается языковая личность журналиста [Пушкарева 2012: 237]. Персуазивное воздействие осуществляется совокупностью разноуровневых языковых единиц, наделенных оценочной коннотацией.



Место категории персуазивности в пространстве субкатегорий

Субкатегория оценки является основой для субкатегории диалогичности, поскольку оценочность подразумевает взаимодействие с адресатом. Диалогичность текста нацелена на определенную реакцию аудитории, которой адресован текст, и учитывает особенности этой аудитории. Поскольку целью диалогичности является та или иная реакция адресата, эта категория тесно связана с категорией воздействия, т. е. персуазивностью. Проиллюстрируем связь субкатегории диалогичности с категорией персуазивности:

Что больше всего раздражает женщин в мужьях? Опросите подруг – и узнаете: их пассивность [газета.ru. URL: http://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2015/04/a_6652529.shtml].

Использование вопросно-ответного комплекса имитирует диалог с читателями, создает ощущение разговора в режиме реального времени, однако ответ, который дает автор, в действительности не является результатом опроса читателей, а служит средством внушения, воздействия на ментальную сферу воспринимающей текст аудитории. Этому способствуют морфологические средства – повелительное наклонение глагола (*опросите*) и будущее время глагола со значением результата действия (*узнаете*).

Анализ материала позволяет утверждать, что конструктивным принципом текстообразования в медиакommunikации является осуществление персуазивного воздействия посредством использования языковых средств, реализующих категорию оценки. И это не случайно. Социальная оценочность – одна из главных стилевых черт газетной публицистики, ориентированной не только на констатацию фактов, событий и явлений, но и на их интерпретацию и социальную оценку. Эффективное воздействие в электронных СМИ возможно лишь при наличии в речи эмоциональности, экспрессивности, личности изложения, ясности сообщения, присущих публицистическому стилю в целом. Именно оценочная лексика обеспечивает экспликацию авторской позиции и реализацию воздействующей функции газетно-публицистического текста.

К «классическим» модусным категориям О. Н. Копытов, наряду с персуазивностью и оценкой относит авторизацию [Копытов 2011: 225].

В представлении О. Н. Копытова авторизация – это «указание на источник знания/мнения или субъекта иллюкутивной силы, или принадлежность состояния определенному лицу» [Копытов 2004: 9]. Но во взаимодействии с другими модусными смыслами, как отмечает ученый, авто-

ризация может выражать коммуникативную волю автора и помогать распознаванию авторских интенций адресатом [Гурин 2012: 105]. Таким образом, авторизация служит средством передачи иллюкативной силы, авторского отношения к предмету речи, т. е. средством влияния на сознание реципиента.

Г. Я. Солганик предлагает системную характеристику автора как стилеобразующую категорию публицистического текста и выделяет две важнейшие грани категории автора в публицистике: «автор – человек социальный» и «автор – человек частный» [Солганик 2006: 204].

Как известно, массмедиа в погоне за популярностью предпринимают попытки разнообразить информацию, чтобы спровоцировать ее принятие или отклонение адресатом. Поэтому отбор информации и средств, выполняющих воздействующую функцию, совершаемый СМИ, всегда осуществляется с ориентацией на определенную аудиторию. «Все средства массовой информации путем отбора конкретных вопросов выделяют и помещают в рамку определенные образцы воспринимающих индивидов» [Луман 2005: 189].

Эти особенности отбора и обработки информации в массовой коммуникации получают выражение в смысловой структуре медиатекстов и их языке. В современной интернет-публицистике прежде всего обращает на себя внимание присутствие автора в тексте, его эксплицитная позиция и открытая оценка предмета речи, т. е. реализуются субкатегории авторизации и оценки, являющиеся элементами категории персуазивности.

Для иллюстрации вышесказанного приведем цитату из газеты.ru.

Остановить сегрегацию общества невозможно. Другое дело, как при этом избежать возникновения ее крайних форм, в частности появления в Москве откровенно маргинальных районов, по сравнению с которыми погром в Западном Бирюлеве покажется детским лепетом [газета.ru. URL: http://www.gazeta.ru/comments/2014/01/04_x_5829765.shtml].

Актуализируя в памяти читателя погром в Западном Бирюлеве, а также используя оценочную и сниженную лексику (*маргинальные районы, детский лепет*), автор подает свое субъективное восприятие социального расслоения общества как факт. Среди морфологических средств выражения авторской позиции в приведенном абзаце обращают на себя внимание отрицательно-оценочное наречие *невозможно*, стилистически окрашенное наречие *откровенно*, оценочное

словосочетание *другое дело*; на синтаксическом уровне – безличные конструкции.

Необходимо отметить, что авторское начало проявляется не только в индивидуальной речевой манере каждого журналиста, но и в стиле общения интернет-издания с целевой аудиторией. Так, если адресатом текста является молодежь, в публикации используются жаргонизмы; при обращении к широкой аудитории «из народа» журналист использует просторечие и лексику со сниженной стилистической окраской, например:

... 70% времени врача уходит на писанину, то есть 70% времени врач тратит не на свою работу, а на бумагомарание, делопроизводство [газета.ru. 25.12.2013. URL: http://www.gazeta.ru/health/2013/12/25_a_5817985.shtml].

Поскольку адресатом медиатекста является неоднородная по социальному, интеллектуальному, возрастному и гендерному составу аудитория, а при этом автор нацелен на установление контакта и максимально полное донесение информации, он стремится пояснить и конкретизировать все то, чего может не знать или не понять читатель. Приведем пример, в котором пояснительная информация представлена в виде вставных конструкций:

Именно поэтому и учатся в России врачи минимумально семь лет (шесть лет института и минимум год интернатуры). А нас загоняют в жесткие рамки стандартов, так называемых МЭСов (медико-экономические стандарты) [газета.ru. 25.12.2013. URL: http://www.gazeta.ru/health/2013/12/25_a_5817985.shtml].

Распространенная тактика журналиста интернет-газеты – выражение единения с народом, создание эффекта сопереживания и сопричастности. Главным образом этому способствует использование экспрессивных языковых единиц разного уровня, а также употребление сниженной лексики, например:

Меня просто оторопь берет: как только язык поворачивается у людей, получающих по 250 тыс. руб. в месяц за просиживание итанов, упрекать в коррупции врача, вытаскивающего людей с того света и получающего за это 12–14 тыс. руб. в месяц?! [там же].

Оценочность текстов массмедиа, их способность придавать символам, кодам, ценностям, значениям понятность делают информацию доступной для широкой читательской аудитории, однако не снимается главный вопрос: «Как возможно, что информация о мире и об обществе признается информацией о реальности, если известно, как она производится?» [Луман 2005:

155–157]. По мнению социолога Н. Лумана, из этого вопроса и произрастает традиционное утверждение о всеильности массмедиа.

Ответ на этот вопрос дает дискурсивно-стилистический анализ текстов массовой коммуникации, позволяющий выявить персуазивные средства воздействия на адресата с учетом дискурсивных признаков медиасферы, в первую очередь – персуазивных стратегий и тактик автора. Так, одним из эффективных стилистических приемов воздействия на читателя в современных интернет-газетах выступает вопросно-ответный комплекс, создающий эффект усиленного ожидания. Используя этот прием, автор публикации прогнозирует вопрос читателя, предвидит его реакцию на полученную информацию и дает не всегда очевидный ответ. Вот как это выглядит в тексте:

... При этом деньги от продажи куда-то исчезают. Кому передают? Структурам и физическим лицам, аффилированным с этими же чиновниками [газета.ru. 25.12.2013. URL: http://www.gazeta.ru/health/2013/12/25_a_5817985.shtml].

Другим распространенным средством привлечения читательского внимания является использование иронии, например:

Посыл реформы, которая происходит сейчас в Москве, в двух словах можно сформулировать так: много поликлиник, в каждой есть главврач, десять заместителей и прочая административная служба [там же].

Для установления диалога с адресатом, с целью достижения эффективности коммуникации, журналист вводит конструкции и обороты связи, выражающие побуждение или обращение, например: *Представьте.., Сравните.., Обратите внимание..*

В качестве наиболее распространенных и эффективных приемов, оказывающих воздействующий эффект на читателя электронных газет, анализ материала позволяет выделить стилистические повторы, градацию, метафоры (*планомерный развал целой отрасли под благовидной вывеской «Оптимизация»*), лексические противопоставления (*хорошее жилье в плохом районе*), инверсию (например: *кого мы называем учеными, рассказал создатель «Диссернета»*), а также различные синтаксические конструкции, подающие субъективное мнение как факт (*известно, что..., мы знаем, что..., как вы сами понимаете...*).

Таким образом, дискурсивно-стилистический подход к изучению медиатекста, опирающийся на комплементарные принципы дискурсивного анализа и функциональной стилистики, позволя-

ет объяснить воздействующий потенциал медиатекстов с учетом экстралингвистических факторов их порождения и, как было сказано ранее, помогает выявить персуазивные средства воздействия на адресата на основе дискурсивных признаков медиасферы.

Список литературы

Астафьева О. Н. Медиакultura и некоторые принципы формирования информационно-коммуникативного пространства // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. 2008. № 4. С. 18–25.

Голоднов А. В. Лингвопрагматические особенности персуазивной коммуникации: дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2003. 247 с.

Граудина Л. К., Ширяев Е. Н. Культура русской речи: учеб. для вузов. М.: НОРМА-ИНФРА М., 1998. 560 с.

Гурин И. В. Категория авторизации в предложении и тексте: основные подходы к определению // Весник Мазырскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. 2012. № 2(35). С. 103–107.

Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. 488 с.

Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973. 351 с.

Копытов О. Н. Взаимодействие квалификативных модусных смыслов в тексте (авторизация и персуазивность): автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Владивосток, 2004. 27 с.

Копытов О. Н. Модус публицистического текста // Научные журналы Урал. гос. пед. ун-та. Политическая лингвистика. 2011. № 1(35). URL: <http://journals.uspu.ru/ling35> (дата обращения: 02.04.2016).

Кормилицына М. А., Сиротинина О. Б. Язык СМИ: учеб. пособие. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2011. 91 с.

Кузьмина Н. А. Современный медиатекст: учеб. пособие / отв. ред. Н. А. Кузьмина. Омск, 2011. 414 с.

Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Практикс, 2005. С. 155–157.

Пушкарева И. А. Социальная оценочность в современной газетной публицистике // Вестник Том. гос. пед. ун-та. 2012. № 1. С. 237–243.

Солганик Г. Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // Синтаксическая стилистика. М., 2006. С. 202–211.

Стилистический энциклопедический словарь русского языка. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2006. 696 с.

Стилистический энциклопедический словарь русского языка. URL: <http://stylistics.academic.ru/> (дата обращения: 18.03.2016).

Larson Ch. *Persuasion: Reception and Responsibility*. Belmont: Wadsworth, 1979. 292 p.

Lerbinger O. *Designs for Persuasive Communication*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972. 283 p.

Petty R. E., Cacioppo J. T. *Communication and persuasion. Central and peripheral routes to attitude change*. New York: Springer, 1986. 262 p.

References

Astaf'eva O. N. *Mediakul'tura i nekotorye principy formirovaniya informacionno-kommunikativnogo prostranstva* [Media culture and some principles of shaping information and communication space]. *Vestnik Bibliotechnoj Assamblei Evrazii* [Herald of The Library Assembly of Eurasia]. 2008. Iss. 4. P. 18–25.

Golodnov A. V. *Lingvopragmaticheskie osobennosti persuazivnoj kommunikacii*. Diss. kand. fil. nauk [Linguopragmatic peculiarities of persuasive communication. Cand. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2003. 247 p.

Graudina L. K., Shirjaev E. N. *Kul'tura russkoj rechi* [Culture of Russian speech]. Moscow, NORMA-INFRA M Publ., 1998. 560 p.

Gurin I. V. *Kategorija avtorizacii v predlozheni i tekste: osnovnye podkhody k opredeleniju* [The category of authorisation in a sentence and text: basic approaches to defining]. *Vestnik Mozyrskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni I. P. Shamjakina* [Vestnik of Mozur State Pedagogical University named after I. P. Shamyakin]. 2012. Iss. 2(35). P. 103–107.

Zherebilo T. V. *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of linguistic terms]. Nazran, "Pilgrim" Publ., 2010. 488 p.

Zolotova G. A. *Oчерк функционального синтаксиса русского языка* [Essay on the functional syntax of the Russian language]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 351 p.

Kopytov O. N. *Vzaimodejstvie kvalifikativnykh modusnykh smyslov v tekste (avtorizacija i persuazi-*

vnost'). Diss. kand. fil. nauk [Interaction of qualitative modus meanings in text (authorization and persuasiveness)]. Vladivostok, 2004. 27 p.

Kopytov O. N. *Modus publicisticheskogo teksta* [Modus of media text]. *Nauchnye zhurnaly Ural gos. ped. un-ta. Politicheskaja lingvistika* [Scientific Journals of Ural State Pedagogical University. Political Linguistics]. 2011. Iss. 1(35). Available at: <http://journals.uspu.ru/ling35> (accessed 02.04.2016).

Kormilicyna M. A., Sirotinina O. B. *Jazyk SMI* [Language of the media]. Saratov, Saratov University Publ., 2011. 91 p.

Kuz'mina N. A. *Sovremennyy mediatekst* [Contemporary mediatext]. Omsk, 2011. 414 p.

Luman N. *Real'nost' massmedia* [The reality of the mass media]. Moscow, Praxis Publ., 2005. P. 155–157.

Pushkareva I. A. *Social'naja ocenochnost' v sovremennoj gazetnoj publicistike* [Social evaluativity in contemporary newspaper journalism]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Tomsk State Pedagogical University Bulletin]. 2012. Iss. 1. P. 237–243.

Solganik G. Ja. *Avtor kak stileobrazujushhaja kategorija publicisticheskogo teksta* [The author as a style-shaping category of publicistic text]. *Sintaksicheskaja stilistika* [Syntactical stylistics]. Moscow, 2006. P. 202–211.

Stilisticheskij ehnciklopedicheskij slovar' russkogo jazyka [Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language]. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 2006. 696 p.

Stilisticheskij enciklopedicheskij slovar' russkogo jazyka [Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language]. Available at: <http://stylistics.academic.ru/> (accessed 18.03.2016).

Larson Ch. *Persuasion: Reception and Responsibility*. Belmont: Wadsworth, 1979. 292 p.

Lerbinger O. *Designs for Persuasive Communication*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972. 283 p.

Petty R. E., Cacioppo J. T. *Communication and persuasion. Central and peripheral routes to attitude change*. New York: Springer, 1986. 262 p.

THE STYLISTIC AND TEXT STATUS OF MEDIA TEXT PERSUASIVENESS

Evgeniya A. Medvedeva

Postgraduate Student in the Department of Russian Language and Stylistics

Perm State University

The article examines the discursive and stylistic features of contemporary media texts, gives the definition of persuasiveness, validates the categorical status of this concept, and reveals the structure of the category of persuasiveness and its realization in texts of modern electronic newspapers, as well as the relation-

ship between this category and subcategories of authorization, dialogicality and evaluation. A conclusion is drawn about the special role the category of evaluation plays in the implementation of the influence function of newspaper publicistic text.

The article provides substantiation for the use of discursive and stylistic method of media text analysis as a basic method allowing one to explain the influence potential of media texts considering extralinguistic factors of their generation. Special attention is paid to identifying stylistic techniques of affecting a reader which are used in texts of modern online newspapers. The article discusses in detail methods of persuasion and suggestion and how they interact with each other. The principle of text formation in media communications is analyzed. The article considers system characteristics of the author as a style-shaping category of publicistic text, the ways of the author's individuality manifestation, and features of the author's communication with the target audience.

Key words: persuasiveness; media text; evaluation category; authorization category; dialogicality; discourse; Internet newspaper.

УДК 811.161

ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ В ПОЭЗИИ Н. С. ГУМИЛЕВА**Ольга Геннадьевна Твердохлеб****к. филол. н., доцент кафедры языкознания и методики преподавания русского языка****Оренбургский государственный педагогический университет**

460844, Оренбург, ул. Советская, 19. ogtwr@gmail.com

В статье предпринята попытка установить связь языковых особенностей поэтических текстов Н. С. Гумилева с основными идейными установками акмеистов, среди которых – требование внимания к вещным деталям и требование логичности. Приведены количественные данные об использовании компаративов с целью создания четкой логической синтаксической структуры в поэзии Гумилева. На большом иллюстративном материале показано, что в компаративных конструкциях, употребляемых поэтом, объект сравнения представлен формой родительного падежа имени разных лексикотематических групп, как то: названия неодушевленных реалий, предметов быта (одежды, мебели и посуды; веществ, материалов, пищи; частей тела человека; архитектурных сооружений); названия явлений природы (природных стихий и атмосферных явлений; времен года, частей суток; растений и животных) и названия отвлеченных реалий (действий, чувств, физических и физиологических ощущений). Особое внимание уделено названиям живых существ, которые в качестве объекта сравнения чаще представлены наиболее общими обозначениями (*человек, женщина, жена, дева*), что придает особую афористичность поэзии Н. Гумилева. Отмечено, что несвойственное его поэзии отображение интимного мира определило малую частотность употреблений и в позиции объекта, и в позиции субъекта сравнения личных местоимений. Показано, как при конвергенции сравнений с другими стилистическими приемами (синонимия и антонимия, гипербола, разные виды повторов, словообразовательные средства, нагнетание компаративов) создаются более яркие и выразительные образы. Автор статьи приходит к выводу, что реалистичность акмеизма выражается у поэта четкой передачей простой высокой мудрости, что в определенной степени конкретизирует описываемое событие.

Ключевые слова: акмеизм; компаратив; имя прилагательное; вещь; логичность.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-59-66

Трагическая эпоха потрясений от двух мировых войн накануне великой революции в начале XX в. стала Серебряным веком русской литературы. Из множества созданных в то время литературных направлений ярчайшим в истории остается акмеизм (от греч. *ἀκμή* – ‘высшая степень чего-либо, цветущая сила’), представителями которого были С. М. Городецкий, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, М. А. Кузмин, М. А. Зенкевич.

Изучение поэзии акмеистов имеет со времени своего возникновения (см. сборник статей критиков-современников: [Акмеизм...]) большую историю и в литературоведении ([Жирмунский 1916, 1928], [Эйхенбаум 1969] и мн. др.), и в лингвистике ([Виноградов 1976] и др.).

Важное место в литературе акмеизма занимает поэзия его главы – Николая Степановича Гумилева (1886–1921). Лингвистика его поэтиче-

ского языка была предметом изучения в работах, посвященных проблеме ассоциативности [Карпенко 2000], контраста [Станиславская 2001], прагматики идиостиля [Котова 2000], религиозной лексики [Иванова 2008] и концептосферы [Беспалова 2002]; [Мухина 2000]. В работе [Красина, Сыпченко 1995] дается анализ сравнений в языке Н. С. Гумилева как средства эстетического воздействия. Однако до сих пор остается много невыясненных вопросов.

Объектом нашего рассмотрения является поэтический язык Н.С. Гумилева. Нас будет интересовать использование поэтом грамматических средств выражения, способствующих выполнению задач, заявленных акмеистами в их программных работах.

I. Программные постулаты акмеистов находим в манифестах Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» [Гумилев 1913],

С. М. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» [Городецкий 1997] (опубликованы в № 1 журнала «Аполлон» за 1913) и О. Э. Мандельштама «Утро акмеизма» (1919) [Мандельштам 1993], которые включали ряд положений, среди которых подчеркивалась необходимость внимания к вещным деталям. Вещный, предметный мир как доминанта акмеизма требовал отточенности деталей, эстетизации мелочей, что, в свою очередь, предопределяло выверенную композицию, четкость стиха, логическую ясность.

Логическая ясность вызывала необходимость вовлечения в художественное пространство стихотворений определенных грамматических построений. Логико-лингвистическими построениями, свойственными русскому синтаксису, становятся у акмеистов разные сравнительные конструкции, особенно включающие грамматическую форму, способную самостоятельно выражать компаративную семантику, – степень сравнения имен прилагательных, наречий, слов категории состояния. Н.С. Гумилев не только обосновал эстетические принципы акмеизма, но и воплотил их в ткани своей поэзии.

Путем выборки из поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [Национальный...] нами было обнаружено более 2,5 тыс. конструкций с компаративами от прилагательных, наречий и слов категории состояния, с разной степенью частотности используемых поэтами-акмеистами (анализ статистических данных см. в нашей предыдущей работе: [Твердохлеб 2016]). Из них в подборке по Н.С. Гумилеву НКРЯ показал 494 вхождения – 0,72% относительно 67 705 слов (242 документа из найденных 524 общим объемом 5 218 предложений). Логичность и «вещность» обусловили не только активное употребление компаративов, но и некоторые особенности употребления конструкций, включающих в свой состав компаративы.

В своем манифесте Н. С. Гумилев заявлял: «...Символизм закончил свой круг развития и теперь падает <...> На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, – акмеизм ли (от слова *ἀκμή* – высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), – во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом» [Гумилев 1913].

В связи с этим возникает необходимость обозначения статического состояния «отношений между субъектом и объектом». Компаративные конструкции здесь оказываются весьма кстати, т. к. сравнение, обычно включающее в себя три элемента: *субъект сравнения* (то, что сравнива-

ется), *объект сравнения* (то, с чем сравнивается) и *основание (признак) сравнения* (общее у сравниваемых предметов), отражает реальность вне действия, т. е. статически.

Заявленный в эстетической программе «адамизм» предполагает равновеликость вещей. Гумилев провозглашает, что «как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению», и поэтому «перед лицом небытия – все явления братья» [там же]. Постулируемое о быте как бытие потребовало называния «явлений реального мира», «вещей», что в свою очередь определило «преобладание в акмеистических стихах имен существительных и незначительную роль глагола» [Совсун 1929–1939].

Так, среди обнаруженных нами сравнительных конструкций в поэтических текстах Н. С. Гумилева оказалось достаточно много случаев (более 200), где с компаративом сочетаются имена в родительном падеже. Далее мы подробнее опишем именно эту группу (около 50 единиц) сравнительных конструкций, выявленных в поэтическом языке Н. С. Гумилева.

II. По данным нашей картотеки объект сравнения, представленный формой родительного падежа имени в обнаруженных нами конструкциях, распределяется по самым разным лексикотематическим группам.

1. Среди этих групп отметим несколько, выделяющих запечатленное особенно точно, реалистично, зримо:

1) названия **неодушевленных** реалий, предметов быта, напр.: *Страшнее страшных пугал / Красивым честный путь...* (Почтовый чиновник)¹; *Лучше денег <...> / Жизнь веселая стрелка* (Альпийский стрелок); *И кажется тесная келья ему / Унылей, угрюмее гроба...* (Молодой францисканец); *Мне Суза с пальмами, в огне небес Нефуза / Не обольстительней даров Петросоюза...* («Чуковский, ты не прав, обрушась на поленья...»).

В том числе:

- наименования одежды, мебели и посуды, напр.: *Но взгляните: черней сапога / Господин президент и министры* (Либерия); *Вы взглянули... и стула бесстрастней / Встретил я Ваш приветливый взгляд...* (В вашей спальне); *И я знаю, что заповедней / Этих сфер, и крестов, и чаши, / Пробудившись в свой день последний, / Нам ты знанье свое отдашь* (Поэма начала);

- наименования веществ, материалов, пищи, напр.: *Нет воды вкуснее, чем в Романье...* (Болонья); *И взгляд его острее стали / Колот и ранил, как кинжал* («Рядами тянутся колонны...»); *Видя девушек смуглых и гибких, как лозы, / Чье дыханье пьяней бальзамических смол...* (Нигер);

...людская кровь не святее / Изумрудного сока трав (Детство); ...**пьяней вина**, / И, бархатные лепестки целуя, / Быть может, преступленья не свершу я? (Роза);

- названия **частей тела** человека, представленные читателю в качестве объекта сравнения, тоже как некий предмет, реальность действительности, напр.: «Просто золото **краше тела...**» (Перстень);

- названия **архитектурных** сооружений, напр.: *Кружев узорней аркады*, / Воды застыли стеклом (Венеция);

2) названия явлений **природы**, а именно:

- наименования природных стихий, напр.: *Толпа взволнованнее моря* (Ода д'Аннуцио); *Черепаша грузнее утеса...* (Либерия); *Старше вод <...>* / *Золоточешуйный дракон* (Поэма начала);

- наименования атмосферных явлений, напр.: *Грозней громов*; *внимая им*, / Толпа... (Ода д'Аннуцио); *Ты теперь <...>* / *Белоснежней его облаков*, («На горах розовеют снега...»); *...молнии победней*, / *Сверкнул и в тело впился нож* (Поединок); *...светлее солнца*, / *Золоточешуйный дракон* (Поэма начала); *Но мы молчали*, / *И он темнее тучи стал...* («Рядами тянутся колонны...»); *Чайки белей и невинней зарницы* / *Темной и страшной ее красоты* (Избиение женихов. Возвращение Одиссея);

- названия **времен** года, частей суток, напр.: *Ты теперь безмятежнее дня...* («На горах розовеют снега...»); *Улыбкой, утра розовей* (Медиумические явления);

- названия **растений**, напр.: *Пальм стройней и крепче платанов*, / <...> *Шел неведомый человек* (Поэма начала);

- названия **животных**, напр.: *Старый товарищ, древний ловчий*, / *Снова встаешь ты с ночного дна*, / *Тигра смелее, барса ловче*, / *Сильнее грузного слона* (Товарищ).

Находим здесь и характерные для Н. С. Гумилева описания экзотических зверей и природы (примеры выше), а также стран и городов: *В целой Африке нету грозней Сомали*, / *Безотраднее нет их земли* (Сомалийский полуостров).

Нет в этих поэтических текстах «ангелов, демонов, стихийных и прочих духов», которые хотя и «входят в состав материала художника и не должны больше земной тяжестью перевешивать другие взятые им образы» [Гумилев 1913].

Зримость достигается в том числе и за счет основания сравнения, в роли которого представлены компаративы от имен прилагательных со значением свойств и качеств, которые

а) непосредственно воспринимаются органами чувств и (или)

б) выражают оценку.

Именно такие признаки, проявляясь в разной степени в разных предметах, могут изменяться, что и иллюстрируют вышеприведенные отрывки из поэтических текстов Н. С. Гумилева.

В них везде чувствуется вещная, конкретная плоть мира: его четкие пространственные формы и контуры, внешний вид (*пальм стройней, узорней аркады, острее стали, краше тела*), цвет (*черней сапога, белоснежней облаков, светлее солнца, темнее тучи, белей зарницы, утра розовей*), вкус (*воды вкуснее, пьяней смол, пьяней вина*), вес (*грузнее утеса*), твердость (*крепче платанов*), возраст (*старше вод*).

В сочетании с оценочными компаративами объекты сравнения даются и с положительной коннотацией (*лучше денег, тигра смелее, барса ловче, сильнее слона, обольстительней даров, заповедней крестов, не святее сока, молнии победней, невинней зарницы, безмятежнее дня*), и с отрицательной (*страшнее пугал, взволнованнее моря, грозней громов, грозней Сомали, унылей гроба, угрюмее гроба, стула бесстрастней, безотраднее земли*).

При этом сочетание компаративов и «вещных» имен создает напряженный и звучный стих с внутренней связью между внешней средой и потаенно бурной жизнью лирического героя, особенно когда субъектом сравнения становится человек, люди (*пьяней вина я; он темнее тучи, товарищ тигра смелее, барса ловче, сильнее слона; ты безмятежнее дня; черней сапога президент и министры*) и их части (*кровь не святее сока*).

2. Названия **отвлечённых** реалий, действий, чувств, физических ощущений, состояний в позиции объекта сравнения в нашем материале не частотны и также приводятся при компаративах, называющих свойства и качества

- непосредственно воспринимаемые органами чувств (*белей, выше, слаще* и др.) и (либо)

- выражающие оценку (*милей, невинней, тревожней, горестней* и др.).

Ср. следующие примеры: *И, помню, я воскликнул: «Выше горя / И глубже смерти – жизнь!»* (Эзбеки); *Вспомни, нет муки огромней, / Нету тоски безотрадней* («Слушай веления мудрых...»); *Она для нас больной кошмар / Иль правда, горестней кошмара* («Когда ж вечерняя заря...»); *Но нет тревожней и заброшенной – / Печали посреди шелков...* (Счастье); *Чайки белей и невинней зарницы / Темной и страшной ее красоты* (Избиение женихов. Возвращение Одиссея); *Милей забав ребячьих – нет, / Нет глубже – так учил Конфуций* (Два сна); *Ведь отрадней пения птиц, / Благодатней ангель-*

ских *труб* / Нам дрожанье милых ресниц / И улыбка любимых губ (Канцона вторая); *Неуклонней разлива рек*, / <...> Шел неведомый человек (Поэма начала); *Если взоры девушки любимой – / Слаще взоров жителей высот...* («Перед ночью северной, короткой...»).

Таким способом поэт не только рисует простую высокую мудрость чистыми красками, но и в некоторой степени конкретизирует описываемое событие.

3. В компаративах с именами в форме родительного падежа, относящимися к тематической группе «человек», возникает характерная для Н. С. Гумилева четкая афористичная формула, отвечающая принципу прекрасной ясности.

Ср. следующие примеры: *Человеку грешно гордиться*, / *Человека ничтожна сила*: / *Над землю когда-то птица* / *Человека сильней царила* (Дамара); *Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней*, / *Чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще* (Варвары); *Я не видел прекрасней жены*, / *Я не знал обольстительней девы* («Царь, упившийся кипрским вином...»); *Нет прекрасней женщины, чем в Болонье...* (Болонья); *Левин, Левин, ты суров*, / *Мы без дров*, / *Ты ж высчитываешь триста* / *Обесцененных рублей* / *С каталей* / *Виртуозней даже Листа* («Левин, Левин, ты суров...»).

Здесь реалистичность акмеизма у поэта выражается в четкой передаче душевных переживаний через обыденное, через бытовое, через конкретное. Чаще в качестве объекта сравнения становятся наиболее общие обозначения живых существ (*человек, женщина, жена, дева*), что и придает особую афористичность поэзии Николая Гумилева.

В позиции объекта сравнения представлены и местоимения – личные и определительные. Отображение замкнутого, узкого интимного мира не свойственно поэзии Н. Гумилева, поэтому употребления в позиции объекта сравнения личных местоимений, указывающих на лицо (лиц), достаточно редки. Личного местоимения 1-го лица (*я, мы*) для указания на некий близкий круг (*я-автор, я-лирический герой* и еще кто-либо) нами не выявлено.

Единичен пример с личным местоимением 2-го лица единственного числа *ты*: *Нет тебя тревожней и капризней*, / *Но тебе я предался давно* / *Оттого, что много, много жизней* / *Ты умеешь волей слить в одно* («Нет тебя тревожней и капризней...»).

При помощи слова *всех* обычно образуется сложная превосходная степень: *Но всех милей и грациозней* / *Все ж Оля в робости своей* (Медиумические явления); *Встречая дьявольские козни* / *Ватаге буйной и воинственной* / *Так много*

сложено историй, / *Но всех страшней и всех таинственней* / *Для смелых пенителей моря...* («Но в мире есть иные области...»).

4. В отрицательных оборотах сравнительная степень может приобретать значение превосходной: *Нет воды вкуснее, чем в Романье...* (Болонья); *В целой Африке нету грозней Сомали*, / *Безотраднее нет их земли* (Сомалийский полуостров); *Вспомни, нет муки огромней*, / *Нету тоски безотрадней* («Слушай веления мудрых...»); *Но нет тревожней и заброшенной* – / *Печали посреди шелков...* (Счастье); *Милей забав ребячьих – нет*, / *Нет глубже – так учил Конфуций* (Два сна); *Нет прекрасней женщины, чем в Болонье...* (Болонья).

III. Отсутствие открыто выраженных личных переживаний, характерное для акмеистической поэзии Н. Гумилева, видимо, предопределяет отсутствие в нашем материале компаративов, где субъект сравнения представлен на поверхностном уровне личным местоимением 1-го и 2-го лица единственного числа. В отличие, напр., от компаративных конструкций в акмеистическом языке А. А. Ахматовой, где такие местоимения частотны: *Как была я ему запретней* / *Всех семи смертельных грехов* (А. А. Ахматова. Решка. Поэма без героя); *Я всех на земле виноватей*, / *Кто был и кто будет, кто есть* (А. А. Ахматова. «Кому и когда говорила...»), *А ты, конечно, всех проворней...* (А. А. Ахматова. Последнее письмо).

IV. Наш материал свидетельствует, что сравнения часто сочетаются с другими стилистическими приемами, создающими еще более яркие и выразительные образы. Опишем конвергенцию стилистических приемов.

1. Используются традиционные для художественных построений лексические связи между компаративами в роли основания сравнения, напр., синонимические и антонимические (в том числе контекстуальные): *И кажется тесная келья ему* / *Унылей, угрюмее гроба...* (Молодой францисканец); *Что горше, что тягостней лужа болезни?* (Видение); *Ведь отрадней пеня птица*, / *Благодатней ангельских труб* / *Нам дрожанье милых ресниц* / *И улыбка любимых губ* (Канцона вторая); *И, полню, я воскликнул: «Выше гора* / *И глубже смерти – жизнь!* (Эзбеки).

2. Встречаем конвергенцию с гиперболой: *Черепаша грузнее утеса...* (Либерия); *Над землю когда-то птица* / *Человека сильней царила* (Дамара).

3. Яркие, выразительные, образы создает поэт при помощи сочетания сравнения с разными типами повторов. В частности, нами обнаружены:

а) повтор основания сравнения, напр.: *Лучше денег, лучше власти* / *Жизнь веселая стрелка* (Альпийский стрелок);

б) повтор субъекта и объекта сравнения: *Если взоры девушки любимой – / Слаще взоров жителей высот...* («Перед ночью северной, короткой...»);

в) повтор разных форм одного и того же слова: *Страшнее страшных пугал / Красивым честный путь* (Почтовый чиновник);

г) повтор однородных слов: *Старый товарищ, древний ловчий, / <...> барса ловче* (Товарищ);

д) повтор слов *всех* и *всего*, напр.: *Ватаге буйной и воинственной / Так много сложено историй, / Но всех страшней и всех таинственней / Для смелых пенителей моря* – («Но в мире есть иные области...»); *Мне отраднее всего / Видеть взор твой светлый, / Мне приятнее всего / Говорить с тобою* (Предупреждение).

Такие повторы, являясь средством усиления, выделения внимания читателя, создают особую функциональную значимость, как бы уравнивают, уравнивают разные части сравнения (субъект и объект сравнения, основание сравнения и объект) либо подчеркивают их равнозначность друг другу. При этом и стих, и эмоции становятся лаконичными. На что указывал Б. М. Эйхенбаум: «Лаконизм стал принципом построения. Лирика утратила как будто свойственную ее природе многословность. Все сжалось – размер стихотворений, размер фраз. Сократился даже самый объем эмоций или поводов для лирического повествования» [Эйхенбаум 1969: 89].

4. Выражение компаративной семантики может быть усилено средствами словообразовательного уровня, а именно префиксацией:

- при помощи приставки *пре-* (единичные примеры с лексемой *прекрасный*), обозначающей «высшую степень качества, названного мотивирующим словом» [Русская грамматика 1980. I, § 706], ср.: *Я не видел прекрасней жены...* («Царь, упившийся кипрским вином...»); *Нет прекрасней женищи, чем в Болонье...* (Болонья);

- при помощи приставки *без-* (чаще) и *не-* (реже) в компаративах, что создает еще одно основание для сравнения – по отсутствию признака. Такое активное употребление описанных образований объясняется семантикой этих прилагательных, характеризующихся «отсутствием того, что названо мотивирующим словом» [Русская грамматика 1980. I, § 686], и в этом описании «отсутствия» появляется конкретизация мира. Во всех примерах указанные словообразовательные типы слов представлены только в качестве основания сравнения, ср.: *Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней, / Чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще* (Варвары); *Ты теперь безмятежнее дня...* («На горах розо-

веют снега...»); *Нету тоски безотрадней* («Слушай веления мудрых...»); *Безотраднее нет их земли* (Сомалийский полуостров); *Неуклонней разлива рек, / <...> Шел неведомый человек* (Поэма начала).

5. Повышает силу функционального воздействия на читателя и вносит в описание высокую степень экспрессии нагнетание компаративов, при этом появляется четкая афористическая формула, отвечающая в определенной степени принципу прекрасной ясности.

1) Может причудливо переплетаться прозаически-бытовое (*слаще, взоры, сад, зелень, вода*) и экзотически-далекое (*Иерусалим*), что создает многомерность и символичность, ср.: *Если взоры девушки любимой – / Слаще взоров жителей высот, / Краше горного Иерусалима – / Летний сад и зелень сонных вод...* («Перед ночью северной, короткой...»).

2) При использовании же общеупотребительных сравнений возникает особая афористичность: *Но мы молчали, / И он темнее тучи стал, / И взгляд его острее стали / Колот и ранил, как кинжал* («Рядами тянутся колонны...»).

3) Психологическую глубину, чеканность и точность сравнению придает предельная контактность объекта и основания сравнения, являющаяся характерной особенностью большинства примеров с нагнетанием, ср. конструкции:

- с постпозицией объекта (обычно) по отношению к основанию сравнения, ср.: *Печальней смерти* (постпозиция) и *пьяней вина* (постпозиция), */ И, бархатные лепестки целуя, / Быть может, преступленья не свершу я?* (Роза);

- с препозицией объекта: *Улыбкой, утра* (препозиция) *розовей* (Медиумические явления); *...молнии* (препозиция) *победней, / Сверкнул и в тело впился нож* (Поединок). Часто в отрицательных конструкциях, ср.: *Вспомни, нет муки* (препозиция) *огромней, / Нету тоски* (препозиция) *безотрадней* («Слушай веления мудрых...»); *Нигде, никогда не найти вам жены* (препозиция) *бесприютней, / Чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще* (Варвары).

Очень редко встречаем сочетание контактного и дистантного расположения в нескольких компаративных конструкциях:

- с постпозицией объекта, ср.: *В целой Африке нету грозней Сомали* (постпозиция), */ Безотраднее нет их земли* (постпозиция) (Сомалийский полуостров); а также

- с пост- и препозицией объекта, ср.: *Старый товарищ, древний ловчий, / Снова встаешь ты с ночного дна, / Тигра* (препозиция) *смелее, барса* (репозиция) *ловче, / Сильнее грузного слона* (постпозиция) (Товарищ); *Пальм* (препо-

зия) *стройней и крепче платанов* (постпозиция), / *Неуклонней разлива* (постпозиция) *рек, / В одеяньях серебротканых / Шел неведомый человек* (Поэма начала).

Однако скопление таких сравнений не создает пышности либо вычурности, а только подчеркивает пестроту и яркость реального мира.

Таким образом, проведенное нами исследование показало наличие связи между языковыми особенностями поэтических текстов Н. С. Гумилева и его идейными установками, среди которых – требование внимания к вещным деталям и требование логичности. А потому в компаративных конструкциях, употребляемых поэтом, объект сравнения представлен формой родительного падежа имени разных лексико-тематических групп: названия неодушевленных реалий, предметов быта (одежды, мебели и посуды; веществ, материалов, пищи; частей человека; архитектурных сооружений); названия явлений природы (природных стихий и атмосферных явлений; времен года, частей суток; растений и животных); названия отвлечённых реалий (действий, чувств, физических и физиологических ощущений). Живые существа в качестве объекта сравнения чаще представлены наиболее общими обозначениями (*человек, женщина, жена, дева*), что придает особую афористичность поэзии Николая Гумилева. При конвергенции сравнений с другими стилистическими приёмами создаются более яркие и выразительные образы. Реалистичность акмеизма выражается четкой передачей простой высокой мудрости, что до некоторой степени конкретизирует описываемое событие.

Примечание

¹ Национальный корпус русского языка. URL: <http://search.ruscorpora.ru/> (дата обращения: 25.11.2015). Здесь и далее все примеры даются по НКРЯ.

Список литературы

Акмеизм в критике. 1913–1917 / сост. О. А. Лекманова и А. А. Чабана; вступ. ст., примеч. О. А. Лекманова. СПб.: Изд-во Тимофея Маркова, 2014. 544 с.

Беспалова О. Е. Концептосфера поэзии Н. С. Гумилева в ее лексическом представлении: дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2002. 220 с.

Виноградов В. В. Избранные труды. Поэтика русской литературы / АН СССР. Отделение литературы и языка; отв. ред. М. П. Алексеев, А. П. Чудаков. М.: Наука, 1976. 511 с.

Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии // Антология акмеизма: Стихи. Манифесты. Статьи. Заметки. Мемуары /

вступ. ст., сост. и примеч. Т. А. Бек. М.: Моск. рабочий, 1997. С. 202–207.

Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм // Аполлон. 1913. № 1. С. 42–45. URL: <http://www.gumilev.ru/clauses/2/> (дата обращения: 05.06.2016).

Жирмунский В. М. К вопросу о синтаксисе А. Ахматовой // Жирмунский В. М. Вопросы теории литературы. Статьи 1916–1926. Л.: Academia, 1928. С. 332–336. URL: <http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/zhirmunskij-k-voprosu-o-sintaksise-ahmatovoj.htm> (дата обращения: 05.06.2016).

Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Русская мысль. М., 1916. № 12. С. 25–56. URL: http://postsymbolism.ru/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=39 (дата обращения: 05.06.2016).

Иванова Н. М. Религиозная лексика в лирике Н. С. Гумилева: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Тверь, 2008. 19 с.

Карпенко С. М. Анализ межтекстовых ассоциативно-смысловых полей в аспекте идиостиля (на материале поэзии Н. С. Гумилева) // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном тексте. Томск, 2000. С. 23–34.

Котова А. Г. Прагматические аспекты идиостиля Н. С. Гумилева (на материале поэтических произведений): автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2000. 24 с.

Красина М. Л., Сыпченко С. В. Сравнение как средство эстетического воздействия в поэзии Н. Гумилёва // Коммуникативные аспекты слова в текстах разной жанрово-стилевой организации. Томск: Изд-во ТГПУ, 1995. С. 93–104.

Мандельштам О. Э. Утро акмеизма // Собрание сочинений: в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 1. URL: http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_1/03prose/1_250.htm (дата обращения: 05.06.2016).

Мухина Н. М. Репрезентация идеи красоты в поэзии Н. Гумилева и А. Ахматовой: дисс. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000. 214 с.

Национальный корпус русского языка. URL: <http://search.ruscorpora.ru/> (дата обращения: 25.11.2015).

Русская грамматика: в 2 т. / редкол. Н. Ю. Шведова (гл. ред.) [и др.]. М.: Наука, 1980. Т. I. 784 с.

Совсун В. Акмеизм, или Адамизм // Литературная энциклопедия: в 11 т. М., 1929–1939. URL: <http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le1/le1-0702.htm> (дата обращения: 05.06.2016).

Станиславская С. А. Контраст как принцип организации поэтического текста (на материале ранней поэзии А. Ахматовой и Н. Гумилева): автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Саратов, 2001. 20 с.

Твердохлеб О. Г. Простые формы сравнительной степени прилагательных, наречий и слов категории состояния в поэзии акмеистов (статисти-

ческие данные) // Научная интеграция: сб. науч. трудов. М.: Изд-во «Перо», 2016. С. 1170–1172. URL: [http://olimpiks.ru/d/797165/d/nauchnayainte-gratsiya\(2\).pdf](http://olimpiks.ru/d/797165/d/nauchnayainte-gratsiya(2).pdf) (дата обращения: 05.06.2016).

Эйхенбаум Б. М. Анна Ахматова. Опыт анализа // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л.: Сов. писатель, 1969. С. 75–147.

References

Akmeizm v kritike. 1913–1917 [Acmeism in criticism. 1913–1917]. Comp. by O. A. Lekmanov and A. A. Chaban; introd.art., comments by O. A. Lekmanov. St. Petersburg, Timofeya Markova Publ., 2014. 544 p.

Bespalova O. E. *Kontseptosfera poezii N. S. Gumileva v yeyo leksicheskom predstavlenii*. Diss. kand. fil. nauk [Conceptosphere of N. Gumilev's poetry in its lexical representation. Cand. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2002. 220 p.

Vinogradov V. V. *Izbrannyye trudy. Poetika russkoj literatury* [Selected works: Poetics of Russian literature]. Moscow, Nauka Publ., 1976. 511 p.

Gorodetskiy S. *Nekotorye techeniya v sovremennoy russkoy poezii* [Some trends in contemporary Russian poetry]. *Antologiya akmeizma: Stikhi. Manifesty. Stat'i. Zametki. Memuary* [Anthology of Acmeism: Poems. Manifestos. Articles. Notes. Memoirs]. Moscow, Moskovskiy rabochiy Publ., 1997. P. 202–207.

Gumilyov N. *Nasledie simvolizma i akmeizm* [The heritage of symbolism and Acmeism]. *Apollon* [Apollo]. 1913. Iss. 1. P. 42–45. Available at: <http://www.gumilev.ru/clauses/2/> (accessed 05.06.2016).

Zhirmunskij V. M. *Preodolevshie simvolizm* [Those who overcame symbolism]. *Russkaya mysl'* [Russian thought]. M. 1916. Iss. 12. P. 25–56. Available at: http://postsymbolism.ru/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=39 (accessed 05.06.2016).

Zhirmunskij V. M. *K voprosu o sintaksise A. Akhmatovoj* [On the question of Anna Akhmatova's syntax]. Zhirmunskij V.M. *Voprosy teorii literatury. Stat'i 1916–1926* [Problems in theory of literature. Articles 1916–1926]. Leningrad, Academia Publ., 1928. P. 332–336. Available at: <http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/zhirmunskij-k-voprosu-o-sintaksise-ahmatovoj.htm> (accessed 05.06.2016).

Ivanova N. M. *Religioznaya leksika v lirike N. S. Gumileva*. Avtoref. diss. kand. fil. nauk [Religious vocabulary in lyrics of N. S. Gumilev. Synopsis of Dr. philol. sci. diss.]. Tver, 2008. 19 p.

Karpenko S. M. *Analiz mezhtekstovykh asotsiativno-smyslovykh polej v aspekte idiostilya (na materiale poezii N. S. Gumileva)* [Analysis of intertextual associative-semantic fields in terms of idio-

style (a case study of N. S. Gumilev's poetry)]. *Kommunikativno-pragmaticheskie aspekty slova v hudozhestvennom tekste* [Communicative-pragmatic aspects of words in literary text]. Tomsk, 2000. P. 23–34.

Kotova A. G. *Pragmaticheskie aspekty idiostilya N. S. Gumileva (na materiale poeticheskikh proizvedenij)*. Avtoref. diss. kand. fil. nauk [Pragmatic aspects of N. S. Gumilev's idiosyle (a case study of poetic works). Cand. philol. sci. diss.]. Volgograd, 2000. 24 p.

Krasina M. L., Sypchenko S. V. *Sravnienie kak sredstvo esteticheskogo vozdejstviya v poezii N. Gumilyova* [Comparison as a means of aesthetic effect in poetry of N. Gumilev]. *Kommunikativnye aspekty slova v tekstakh raznoj zhanrovo-stilevoj organizatsii* [Communicative aspects of words in texts of different genres and styles]. Tomsk State Pedagogical University Publ., 1995. P. 93–104.

Mandelstam O. E. *Utro akmeizma* [The Morning of Acmeism]. *Sobranie sochinenij v 4 t.* [Collected works in 4 vols.]. Moscow, Art-Biznes-Tsentr Publ., 1993. Vol. 1. Available at: http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_1/03prose/1_250.htm (accessed 05.06.2016).

Mukhina N. M. *Reprezentatsiya idei krasoty v poezii N. Gumileva i A. Akhmatovoj*. Diss. kand. fil. nauk [Representation of the ideas of beauty in poetry of N. Gumilev and A. Akhmatova. Cand. philol. sci. diss.]. Ekaterinburg, 2000. 214 p.

Natsional'nyj korpus russkogo yazyka. [Russian national corpus]. Available at: <http://search.ruscorpora.ru/> (accessed 25.11.2015).

Russkaya grammatika. V 2 t. [Russian grammar. In 2 vols.]. Ed. by N. Yu. Shvedova et al. Moscow, Nauka Publ., 1980. Vol. 1. 784 p.

Sovsun V. *Akmeizm, ili Adamizm* [Acmeism, or Adamism]. *Literaturnaya entsiklopediya*. V 11 t. [Literary encyclopedia. In 11 vols.]. M., 1929–1939. Available at: <http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclopl/le1/le1-0702.htm> (accessed 05.06.2016).

Stanislavskaya S. A. *Kontrast kak printsip organizatsii poeticheskogo teksta (na materiale rannej poezii A. Akhmatovoj i N. Gumileva)*. Avtoref. diss. kand. fil. nauk [Contrast as a principle of organizing poetic text (a case study of the early poetry of A. Akhmatova and N. Gumilyov). Cand. philol. sci. diss.]. Saratov, 2001. 20 p.

Tverdokhlebo O.G. *Prostye formy sravnitel'noj stepeni prilagatel'nykh, narechij i slov kategorii sostoyaniya v poezii akmeistov (statisticheskie dannye)* [Simple comparative forms of adjectives, adverbs and words belonging to the category of state in poetry of acmeists (statistical data)]. *Nauchnaya integratsiya. Sbornik nauchnykh trudov* [Scientific inte-

gration. Collection of scientific works]. Moscow, "Pero" Publ., 2016. P. 1170–1172. Available at: [http://olimpiks.ru/d/797165/d/nauchnayaintegratsiya\(2\).pdf](http://olimpiks.ru/d/797165/d/nauchnayaintegratsiya(2).pdf) (accessed 05.06.2016).

Eichenbaum B.M. Anna Akhmatova. Opyt analiza [Anna Akhmatova. Experience of analysis]. Eichenbaum B. *O poezii* [On poetry]. Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 1969. P. 75–147.

OBJECTS OF COMPARISON IN NIKOLAY GUMILEV'S POETRY

Olga G. Tverdokhleб

**Associate Professor in the Department of Linguistics
and Methods of Teaching Russian Language
Orenburg State Pedagogical University**

The article attempts to establish the relationship between the linguistic features of poetic texts by N. S. Gumilev and the basic ideological principles of acmeists, including the requirement of attention to material details and the requirement of consistency. Quantitative data on the use of comparatives in Gumilev's poetry with the aim of creating a clear and logical syntactical structure are provided. Based on a large bulk of examples, it is shown that in comparative structures used by the poet the object of comparison is presented by the form of the genitive case of nouns belonging to different lexical-thematic groups. Among these there are names of inanimate realia, household items (clothes, furniture and utensils; substances, materials and food; human body parts; architectural structures); names of natural phenomena (natural disasters and atmospheric phenomena; seasons, parts of the day; plants and animals) and names of abstract realia (actions, feelings, physical and physiological sensations). Special attention is paid to the names of living creatures as comparison objects, those mainly presented by general designations (a man, a woman, a wife, a virgin), which adds aphoristic nature to Gumilev's poetry. It is noted that personal pronouns are only occasionally used both as objects and subjects of comparison, which is caused by the fact that representation of the intimate world is not typical of the poet's works. It is described how more vivid and expressive images are created when comparison is converged with other stylistic devices (synonymy and antonymy, hyperbole, repetition, word-formation means, injection of comparatives). The author comes to the conclusion that in the case of Gumilev literalism of Acmeism manifests itself through clear communication of plain high wisdom, which to some extent specifies the event being described.

Key words: Acmeism; comparative; adjective; materiality; consistency.

УДК 81'38; 81'42

ДИСКУРС ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

Мария Андреевна Ширинкина

к. филол. н., доцент кафедры русского языка и стилистики

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Пермь, ул. Букирева, 15. m555a@yandex.ru

С учетом сходства методологических принципов двух направлений лингвистики – дискурсивного анализа и функциональной стилистики – обосновывается употребление понятия *дискурс* при изучении совокупности текстов, создаваемых представителями органов исполнительной власти в процессе выполнения ими установленных законом и описанных в теории административного права функций: правоприменительной, правозащитной, социально-экономической, нормотворческой, регулирующей, юрисдикционной и др. Объясняется, что дискурсивный компонент такого подхода заключается в исследовании экстралингвистических факторов в ситуации общения исполнительной власти, стилистический компонент – в изучении языковых средств выражения особого содержания. В качестве экстралингвистической основы дискурса исполнительной власти рассматривается комплекс внеязыковых факторов, а именно: субъекты коммуникативной деятельности – исполнительная власть (органы и должностные лица), виды деятельности и функции, которые осуществляет исполнительная власть в государстве, а также участники общения в этой сфере и их коммуникативные цели. В статье приводится примерный список жанров дискурса исполнительной власти, которые предполагается в дальнейшем анализировать в функционально-стилистическом аспекте.

Ключевые слова: функциональная стилистика; дискурс; дискурсивный анализ; деловой текст; экстралингвистические факторы; письменный дискурс исполнительной власти.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-67-74

Среди доминирующих теорий конца XX–начала XXI в. называют дискурс-анализ, о чем свидетельствуют, к примеру, многочисленные диссертационные исследования, основывающиеся на методологических принципах этого научного направления, а также научные сборники, журналы и альманахи, объединяющие исследователей смежных гуманитарных отраслей знания общим для них предметом изучения – дискурсом (см.: Методология исследований политического дискурса...; Дискурс-Пи; Современный дискурс-анализ; Язык. Текст. Дискурс и мн. др.).

Дискурс-анализ возник в 60-е гг. XX в. в контексте нарастающей тенденции языкознания к функционализму как самостоятельное направление мировой лингвистики, в то время как в отечественном языкознании употребление языка стало предметом изучения функциональной стилистики. Сегодня в российской лингвистике существуют два параллельных, довольно похожих научных направления – функциональная

стилистика и дискурс-анализ (об их близости писали многие [Серио 1985; Арутюнова 1990; Степанов 1995; Чепкина 2000, 2003; Салимовский 2002; Кожина 2004а, 2004б, 2005]).

Проблема соотношения функциональной стилистики и дискурс-анализа специально сформулирована и детально рассмотрена в статьях М. Н. Кожиной. Рассмотрим, в чем заключаются сходство и различие этих лингвистических направлений. Заметим, что наиболее близким к функциональной стилистике стал французский дискурс-анализ, так как именно он предполагал изучение речи в условиях коммуникативной ситуации – экстралингвистического контекста.

Первое, что сближает дискурс-анализ и функциональную стилистику, – это речеведческий характер предмета исследования. Хотя при появлении термин *дискурс* употреблялся в разных значениях: «это и речь, и связный текст, и диалог, и беседа» [Кожина 2004б: 14], во всех определениях можно наблюдать особую направлен-

ность: исследование процессов употребления, использования языка в реальной действительности – в контексте экстралингвистических факторов.

При этом дискурс-анализ в большей степени нацелен на описание внешних условий существования (употребления, использования) языковых единиц, а именно «к социальным и психологическим категориям, минуя хитроумный анализ различных тонкостей языка» [Серио 1999: 31]. В этом его отличие от функциональной стилистики.

Далее для сопоставления функциональной стилистики и дискурсного анализа следует соотнести ключевые понятия этих научных направлений – функциональный стиль и дискурс. Опираясь на рассуждения М. Н. Кожиной, приведем развернутую цитату, чтобы не исказить существа излагаемой ею позиции. Так, в качестве общих параметральных признаков дискурса и функционального стиля М. Н. Кожина указывает следующие:

«– **динамизм**, процесс **использования** языка, когнитивно-речевая деятельность;

– **детерминация** изучаемого объекта **экстралингвистическими** факторами, условиями производства речи (высказывания);

– принцип **системности** при использовании языковых средств; взаимосвязь последних, эксплицирующая **специфику** дискурса и функционального стиля;

– **историзм** как дискурса, так и функционального стиля;

– тексты (письменные и устные) как результат речевой (дискурсной) деятельности (воплощенность ее в текстах) и в то же время материал исследования;

– междисциплинарный метод анализа» [Кожина 2004б: 19. Выделено автором. – М. Ш.].

Однако именно в этих общих параметрах основных понятий сопоставляемых научных направлений М. Н. Кожина видит и «некоторые различительные характеристики» [там же: 19]. В частности, динамизм как отражение процессуальности самого речепроизводства свойствен дискурс-анализу, а не функциональной стилистике, поскольку она рассматривает в качестве своих объектов именно тексты, «стремясь за текстовой тканью увидеть процессы ее создания» [там же]. Для функциональной стилистики важно рассмотреть, как мыслительная деятельность субъекта речи отражается в тексте, принципах его развертывания, его структуре.

Об этом отличии дискурса пишет и В. А. Салимовский. Указывая на исходное положение обоих рассматриваемых дисциплин – объективация в текстовой деятельности общественного сознания, он утверждает, что функциональная стилистика и дискурс-анализ «сосредоточивают

внимание ... на разных его (общественного сознания. – М. Ш.) планах – соответственно на прочно сложившихся “идеологических системах” и на подвижной, изменчивой “жизненной идеологии”» [Салимовский 2002: 27].

И то и другое направления выходят «за пределы сугубо лингвистической стороны и собственно языковедческих методов анализа в экстралингвистику» [Кожина 2004б: 20]. Это означает, что изучение дискурса, стиля, подстиля, жанра сопровождается описанием экстралингвистических факторов и изучением их роли в процессах производства текста. Иными словами, в контексте нашего исследования необходимым оказывается описание всего многообразия внеязыковых условий продуцирования различных документов исполнительной власти, характеристика коммуникативной ситуации создания этих текстов.

Одним из основных экстралингвистических факторов, обуславливающих существование функционального стиля, является форма общественного сознания (право, политика, искусство, религия и т.д.), в то время как во французском дискурс-анализе опираются на дискурсную форму (термин М. Фуко). Именно степень обобщения, заключенная в этих понятиях (большая абстрактность *формы сознания* и большая конкретность *формации*), по мнению М. Н. Кожиной, «позволила функциональной стилистике представить достаточно стройную систематизацию изучаемых объектов: функциональных стилей, подстилей, жанров и т. д.» [Кожина 2004б: 18] и «вряд ли вообще позволяет дать какую-либо систематизацию» дискурсов [там же].

Представляется правомерным использовать математическую метафору: дискурс являет собой функцию от нескольких переменных (ср.: [Макаров 2003: 147]). Переменные – это различные параметры коммуникативной ситуации, включающие участников общения, условия, в которых оно происходит, а также форму речи (устную / письменную) – одним словом, любые характеристики коммуникативного пространства. При изменении хотя бы одного параметра, по нашему мнению, можно говорить о появлении нового типа дискурса. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные лингвистические исследования, предметом которых становится определенный выделенный автором на основании набора все тех же переменных вид дискурса. Например, эпистолярный дискурс, берущий начало от личной переписки, преобразующейся впоследствии в официальное – служебное – письмо и даже такую особую форму его существования, как письмо электронное. Или другой пример: инструктивный дискурс, включающий инструк-

ции к бытовым приборам, к лекарственным средствам, должностные инструкции, выделенный на основе особой интенции автора – дать указания, наставить, описать последовательность шагов адресата для достижения какой-либо цели. По-видимому, правомерно утверждать, что дискурс может быть выделен по какому-то одному параметру, функциональный же стиль формируется под влиянием целого комплекса факторов.

Полагаем, что для наиболее точного описания особенностей избранной нами в качестве объекта исследования группы текстов предпочтительно использовать понятие дискурса (дискурс исполнительной власти), а не функционального стиля, поскольку дискурс исполнительной власти не сопоставим в полной мере ни с одним из функциональных стилей (не равен официально-деловому стилю). Дело в том, что в процессе осуществления представителями исполнительной власти предписанных им государством функций они не только создают деловые (предписывающие или констатирующие) тексты, но и реализуют зачастую совершенно иные коммуникативные цели (информирование, совет, рекомендация и т. д.). Таким образом, при описании экстралингвистических оснований создания и функционирования этих текстов приходится опираться уже не на форму общественного сознания (как одно из самых обобщенных – стилеобразующих – условий), а на параметры особой коммуникативной ситуации, предполагающей общение представителей одной ветви государственного аппарата (исполнительной власти) между собой или с внешними коммуникантами (гражданами, уполномоченными общественных объединений, представителями СМИ и др.). Иными словами, придерживаясь методики функционально-стилистического исследования и описания материала, мы вынуждены при этом использовать термин родственного и в то же время отличающегося речеведческого направления – дискурсного анализа, поскольку совокупность исследуемых нами текстов нельзя объединить ни в одно из структурных явлений функциональной стилистики – стиль, подстиль или жанр.

Несмотря на то что принцип системности в употреблении средств языка учитывается и в функциональной стилистике, и в дискурс-анализе, опора на методологию лингвистического анализа, принятую в функциональной стилистике, позволит, по нашему мнению, наиболее точно описать особую системность исследуемого в работе сегмента речевой деятельности представителей государственной власти, поскольку «этот вопрос (о специфической системности. – М. Ш.)... более детально проработан в функциональной стилистике – как в теоретическом плане,

так и на конкретном анализе материала» [Кожина 2004б: 20]. Чрезвычайно важно, по нашему мнению, выявить в текстах, принадлежащих сфере исполнительной власти, типичные разноразрядные языковые средства выражения различных текстовых категорий, а также языковые единицы, которые будут способствовать улучшению качества этих текстов (т. е. реализовывать описанные в культуре речи необходимые коммуникативные качества).

По справедливому замечанию М. Н. Кожинной, «речь как использование, употребление, функционирование языка неизбежно требует выхода в широкий контекст ее изучения, в междисциплинарные области» [там же: 12]. Междисциплинарность как методологический принцип, объединяющий анализ дискурса и функциональную стилистику, предполагает использование в качестве «фундамента», объясняющего речевую системность группы текстов, теоретических положений из смежных отраслей науки. Так, изучая тексты исполнительной власти, считаем необходимым опираться на правоведение вообще и теорию административного права в частности, в которых определено понятие исполнительной власти и детально описаны функции и виды деятельности этой ветви власти. Наряду с этим, безусловно, следует учитывать исследования в области политологии. Поскольку результатом мыслительной деятельности являются в основном документные тексты, то полезными могут оказаться и некоторые выводы документоведения и делопроизводства как наук о принципах составления и функционирования документных текстов.

В праве как сфере духовной культуры выделяют такие частные виды духовной деятельности: правотворческую (или законотворческую), интерпретационную, правоприменительную, консультативную, судебную и др. (см., например: [Карташов 1989]). Все перечисленные виды деятельности являются частными разновидностями дискурса правовой сферы общения. В результате любого из названных видов деятельности образуется особая группа текстов (которую также можно обозначить понятием *дискурс*), каждая из которых имеет свое назначение и определенную цель.

Применительно к документным и недокументным текстам, создаваемым исполнительной властью в пределах предоставленных ей полномочий, можно утверждать следующее: существует модель официально-делового функционального стиля, описанная в функциональной стилистике. При этом в каждой ветви власти в любой типичной ситуации официального и неофициального общения под влиянием дополнительных (неосновных) экстралингвистических факторов появляются новые разновидности речи, объеди-

ненные отличающимися от общестилевых особенностями употребления языковых средств разных уровней.

Создаваемые исполнительной властью тексты на основе дополнительных экстралингвистических факторов можно отнести к разным подстилям внутри официально-делового стиля, а некоторые – даже к межстилевым зонам на пересечении с публицистическим, научным и разговорным функциональными стилями. Но все вместе, формируемые представителями органов исполнительной власти для реализации ряда функций по управлению государством, эти тексты, описанные в условиях коммуникативной среды, составляют письменный дискурс исполнительной власти.

Поскольку «дискурс изучается совместно с соответствующими “формами жизни”» [Арутюнова 1990: 136], то для обоснования понятия *дискурс исполнительной власти* следует обратиться к характеристике коммуникации в сфере исполнительной власти, в частности, описать назначение и функции этой ветви власти в системе государства, выявить основных участников общения, а также определить их коммуникативные цели и задачи.

Иными словами, необходимо описать тот общественный институт, в рамках которого представитель исполнительной власти разворачивает свой дискурс, отражая специфические объекты по определенным правилам, используя при этом наиболее соответствующие формы высказываний и жанровые модели (ср. о медицинском дискурсе: [Фуко 1996: 52]).

Как известно, государственная власть делится на три ветви: законодательную, судебную и исполнительную. Исполнительную власть прежде всего связывают с государственным управлением. В юридической науке, в частности в теории административного права, ведутся споры о соотношении этих понятий, некоторые административисты утверждают, что государственное управление в узком понимании и исполнительная власть тождественны. Не вдаваясь в подробности юридических споров, приведем дефиницию, данную ученым-административистом Ю. Н. Стариловым, в которой связь этих понятий становится очевидной: «государственное управление – это целенаправленная организующая, подзаконная, исполнительно-распорядительная и регулирующая деятельность системы органов государственной исполнительной власти, осуществляющих функции государственного управления (обусловленные функциями самого государства) на основе и во исполнение законов в различных отраслях и сферах социально-культурного, хозяйственного и административно-политического строитель-

ства» [Россинский, Старилов 2009: 33]. При этом исполнение понимается как проведение в жизнь законов и подзаконных нормативных актов, а распорядительство – как использование для этого «необходимых юридически властных полномочий» [Административное право 2002: 47].

Главная цель исполнительной власти, по словам Ю. Н. Старилова, «заключается в качественном выполнении функций государственного управления. Однако исполнительная власть, будучи самостоятельной и независимой от других ветвей государственной власти, выполняет и собственные функции, задающие основные направления деятельности ее органов» [Россинский, Старилов 2009: 60]. К ним относятся:

- правоприменительная (исполнительная);
- правозащитная (соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина);
- социально-экономическая (создание условий для развития экономики и хозяйства, социально-культурного и административно-политического управления);
- функция обеспечения законности и соблюдения конституционного порядка в стране;
- регулирующая, в рамках которой осуществляются многие виды деятельности в контексте управления государством (руководство, контроль, координация, планирование, учет, прогнозирование и т. д.);
- нормотворческая, в соответствии с которой органы исполнительной власти принимают нормативные акты (подзаконное регулирование);
- юрисдикционная (применение к субъектам права мер государственного принуждения при нарушении ими правовых норм) [там же: 61].

Следует отметить, что в связи с изменениями в законодательстве (в частности, с выходом Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления») правоведы стали говорить (впрочем, может быть, более четко, чем раньше) о еще трех функциях органов исполнительной власти: 1) оказании государственных услуг, 2) реализации права граждан на обращение и 3) обеспечении доступа к информации о своей деятельности.

Государственное управление во всем многообразии перечисленных функций осуществляется внутри органов исполнительной власти, между ними (это внутренние отношения) и с негосу-

дарственными субъектами (внешние отношения) [Тихомиров 2001: 49]. На основании широкого перечня, представленного в указанной работе, можно утверждать, что основными участниками правовых отношений, а следовательно, **участниками общения** в сфере исполнительной власти становятся: 1) должностные лица и служащие органов исполнительной власти; 2) должностные лица и служащие других ветвей власти (законодательной, судебной, а также органов местного самоуправления); 3) представители общественных объединений; 4) представители предприятий, учреждений и организаций (российских и международных, в том числе СМИ); 5) граждане.

Перечисленные функции исполнительной власти и участники коммуникации позволяют установить возможные цели и задачи общения. Представители органов исполнительной власти, создавая различные тексты, преследуют **коммуникативные цели**:

- управлять (осуществлять государственное управление);
- регулировать общественные отношения (требовать и запрещать на основе правовых норм);
- обращаться с просьбой (в обращениях в другие органы власти);
- удовлетворять запросы граждан, представителей различных организаций;
- охранять права и свободы граждан;
- информировать. Любопытно, что информирование в чистом виде исходит от представителей власти редко, поскольку конструктивным принципом официально-делового стиля является императивность, предписательность. По словам российского исследователя-правоведа, занимающегося проблемами юридической деятельности, В. Н. Карташова, любая юридическая деятельность «относится к такому типу социально-преобразующей деятельности, который означает **обработку “людей людьми”**» [Карташов 1989: 13. Выделено нами. – *М. III.*], поэтому, даже создавая информативный текст, специалист осуществляет с помощью него «информационное воздействие» [Уткин 2014: 119].

Следует отметить, что этот перечень коммуникативных интенций не является исчерпывающим, поскольку, скорее всего, анализ конкретных текстов, создаваемых исполнительной властью в процессе реализации государственного управления, позволит выявить более частные коммуникативные цели субъектов описываемого нами типа дискурса.

Таким образом, можно предложить следующее определение письменного дискурса исполнительной власти: **письменный дискурс исполнительной власти** – особая разновидность ис-

пользования языка в когнитивно-коммуникативной деятельности должностных лиц органов исполнительной власти при осуществлении ее функций (управления, правотворчества, правоприменения, контроля и надзора за исполнением законов и др.), определяемая условиями общения исполнительной власти с различными субъектами и выражаемая в целостной системе жанров. Как и многие другие (юридический, законодательный, педагогический), письменный дискурс исполнительной власти является институциональным дискурсом, а значит, подчиняется правилам, принятым в этой сфере общения.

Дискурс как процесс использования языка фиксируется в текстах, поэтому обозначим соотношение понятий *дискурс* и *текст*, опишем их взаимообусловленность, тем более что, по словам В. З. Демьянкова, «противопоставление текста дискурсу стало очень значимым для филологического рассуждения по-русски» [Демьянков 2007: 95].

«В начале 70-х годов была предпринята попытка дифференцировать понятия *текст* и *дискурс*, бывшие до этого в европейской лингвистике почти взаимозаменяемыми, с помощью включения в данную пару категории *ситуация*» [Макаров 2003: 87]. Сейчас уже никто не поспорит, что «дискурс – это более широкое понятие, чем текст. Дискурс – это одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат (=текст)» [Кибрик, Плунгян 1997: 307]. Таким образом, получается, что дискурс отражает процесс создания и функционирования текста в определенной коммуникативной среде. Нельзя не согласиться с мнением Е. А. Баженовой о том, что «именно в среде текст приобретает свойства не только лингвистического, но и социально-культурного феномена» [Баженова 2001: 53]. Среда обуславливает параметры текста. Дискурс, безусловно, диктует тексту, каким ему быть, чтобы удовлетворять запросы всех участников коммуникативной ситуации.

В заключение важно установить соотношение понятий *текст* и *жанр*, которые находятся в родовидовых отношениях. В науке жанры трактуются как «определенные относительно устойчивые **тематические, композиционные и стилистические** типы высказываний» [Бахтин 1986: 254–255. Выделено нами. – *М. III.*]. Уточняя эту дефиницию, В. А. Салимовский определяет жанровую форму «как закрепленный социальным опытом, многократно используемый способ реализации типового авторского замысла (общей цели) некоторой совокупностью познавательного коммуникативных действий (в результативном плане субтекстов), подчиняющихся частным целям» [Салимовский 2002: 37].

Вполне понятно, что в правоведении не употребляется лингвистический термин *жанр*. В Приказе Минюста РФ от 04.05.2007 № 88 определено, что «нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются только в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.

Акты, изданные в ином виде (например, директивы и др.), не должны носить нормативный правовой характер <...>

Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается» [Приказ Минюста РФ № 88: п. 3 разд. 1].

Юридическая наука развивается, и исследователи права говорят о новых типах правовых актов, создаваемых исполнительной властью. В частности, перечисляют такие документы, как государственные целевые программы, стратегии, регламенты [Уманская 2014]. Реальная действительность показывает, что, помимо нормативных и индивидуальных (в правоведческой терминологии) правовых актов, органами исполнительной власти создаются тексты, которые не входят ни в одну из перечисленных групп и не относятся по жанровым признакам ни к одному из перечисленных документов. В частности, таковыми являются письма-ответы на обращения граждан, а также разнообразные информативные тексты (информация на официальных сайтах, пресс-релизы для СМИ, статистические данные, обзоры и др.). По нашему глубокому убеждению, именно они представляют наибольший интерес при описании совокупности текстов дискурса исполнительной власти, поскольку жанры официальной документации более или менее детально описаны в делопроизводстве и документной лингвистике. Несомненно, «классификация речевых жанров каждой из областей духовной культуры – самостоятельная задача, рассчитанная на перспективу» [Салимовский 2002: 35]. Исследования такого плана мы уже наблюдаем в современной стилистике (см. о предписывающих, ходатайствующих, уведомляющих жанрах прокурорской профессиональной деятельности: [Дускаева 2016]). А неописанные жанры ждут своего исследователя – их лингвистический анализ позволит конкретизировать представление о внутрестилевой дифференциации официально-делового функционального стиля и дополнить его жанровую систему.

Список литературы

Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова. М.: Юристъ, 2002. 697 с.

Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 136–137.

Баженова Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 272 с.

Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 250–296.

Демьянков В. З. Текст и дискурс как термины и как слова обывденного языка // Язык, культура, общество: Пленарные доклады IV Междунар. науч. конф. (Москва, 27–30 сент. 2007 г.). М.: Моск. ин-т иностр. языков и др., 2007. С. 86–95.

Дускаева Л. Р. Прокурорский профессиональный стиль: стилевые черты и речевые жанры // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2016. Вып. 2 (34). С. 50–58.

Карташов В. Н. Понятие и структура юридической деятельности // Юридическая деятельность: сущность, структура, виды: сб. науч. трудов. Ярославль: Изд-во Ярослав. ун-та, 1989. С. 12–32.

Кибрик А. А., Плузган В. А. Функционализм // Фундаментальные направления в современной американской лингвистике. М.: МГУ, 1997. С. 300–320.

Кожина М. Н. Дискурсивный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций // Текст – Дискурс – Стиль: межвуз. сб. науч. трудов. СПб.: Изд-во С.-Петерб.ГУЭФ, 2004а. С. 9–33.

Кожина М. Н. Речеведение: функциональная стилистика и дискурсивный анализ // Стил. Банялука, 2004б. С. 12–24.

Кожина М. Н. Размышления над вопросом о соотношении функциональной стилистики и дискурсивных исследований (с речеведческих позиций) // Stylistyka – XIV / под ред. проф. Ст. Гайды. Opole, 2005. С. 61–74.

Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 280 с.

Россинский Б. В., Стариков Ю. Н. Административное право: учебник. М.: Норма, 2009. 928 с.

Салимовский В. А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный академический текст). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 236 с.

Серю П. Как читают тексты во Франции: вступ. ст. // Квадратура смысла. М.: Прогресс, 1999. С. 12–53.

Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца XX века. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1995. С. 35–73.

Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс. М.: Изд. г-на Тихомирова М. Ю., 2001. 652 с.

Уманская В. П. Система правовых актов органов исполнительной власти: теоретические и прикладные аспекты: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. 39 с.

Уткин Н. И., Тулаев А. Н., Кочнева Д. Г. Информационное воздействие как метод административно-правового регулирования органа государственной власти (на примере МЧС России) // Вестник С.-Петерб. ун-та ГПС МЧС России (электронный вариант СМИ). 2014. Вып. № 1. С. 119–126. URL: <http://vestnik.igps.ru/wp-content/uploads/V61/19.pdf> (дата обращения: 15.06.2016).

Фуко М. Археология знания / пер. с фр. С. Митина, Д. Стасова; под общ. ред. Бр. Левченко. Киев: Ника-Центр, 1996. 208 с.

Чепкина Э. А. Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. 279 с.

Приказ Минюста РФ от 04.05.2007 № 88 «Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».

Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

References

Administrativnoe pravo: uchebnik [Administrative law: textbook]. Ed. by L. L. Popov. Moscow, Jurist Publ., 2002. 697 p.

Arutjunova N. D. Diskurs [Discourse]. *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Ed. by V. N. Jartseva. Moscow, Sovetskaja enciklopedija Publ., 1990. P. 136–137.

Bazhenova E. A. *Nauchnyj tekst v aspekte politekstual'nosti* [Scientific text in terms of its polytextuality]. Perm, Perm State University Publ., 2001. 272 p.

Bakhtin M. M. Problema rechevykh zhanrov [The problem of speech genres]. Bakhtin M. M. *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Bakhtin M. M. The aesthetics of verbal creativity]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1986. P. 250–296.

Dem'jankov V. Z. Tekst i diskurs kak terminy i kak slova obydenного jazyka [Text and discourse as terms and words of everyday language]. *Jazyk, kul'tura, obshchestvo* [Language, culture, society]. Moscow, Moscow Institute of Foreign Languages Publ., 2007. P. 86–95.

Duskaeva L. R. Prokurorskiy professional'nyj stil': stilevye cherty i rechevye zhanry [Prosecutorial professional style: stylistic features and speech genres]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology]. 2016. Iss. 2(34). P. 50–58.

Kartashov V. N. Ponjatie i struktura juridicheskoj dejatel'nosti [The concept and structure of legal activity]. *Juridicheskaja dejatel'nost': sushchnost', struktura, vidy* [Legal activity: essence, structure, kinds]. Yaroslavl, Yaroslavl State University Publ., 1989. P. 12–32.

Kibrik A. A., Plungjan V. A. Funktsionalizm [Functionalism]. *Fundamental'nye napravlenija v sovremennoj amerikanskoj lingvistike* [The fundamental trends in modern American linguistics]. Moscow, Moscow State University Publ., 1997. P. 300–320.

Kozhina M. N. Diskursnyj analiz i funktsional'naja stilistika s rechevedcheskikh pozitsij [Discourse analysis and functional stylistics from the speech studies perspective]. *Tekst – Diskurs – Stil'* [Text – Discourse – Style]. St. Petersburg, St. Petersburg State University of Economics and Finance Publ., 2004a. P. 9–33.

Kozhina M. N. Rechevedenie: funktsional'naja stilistika i diskursnyj analiz [Speech studies: functional stylistics and discourse analysis]. *Stil* [Stil]. Banjaluka, 2004b. P. 12–24.

Kozhina M. N. Razmyshlenija nad voprosom o sootnoshenii funktsional'noj stilistiki i diskursnykh issledovanij (s rechevedcheskikh pozitsij) [Reflections on the question of relations between functional stylistics and discourse studies (from the speech studies perspective)]. *Stilistika–XIV* [Stylistics–XIV]. Ed. by prof. St. Gajda. Opole, 2005. P. 61–74.

Makarov M. L. *Osnovy teorii diskursa* [The foundations of discourse theory]. Moscow, Gnozis Publ., 2003. 280 p.

Rossinskij B. V., Starilov Ju. N. *Administrativnoe pravo: uchebnik* [Administrative law. Coursebook]. Moscow, Norma Publ., 2009. 928 p.

Salimovskij V. A. *Zhanry rechi v funktsional'no-stilisticheskom osveshchenii (nauchnyj akademicheskij tekst)* [Speech genres in terms of their functions and stylistics (scientific academic text)]. Perm, Perm State University Publ., 2002. 236 p.

Serio P. Kak chitajut teksty vo Frantsii [How texts are read in France]. *Kvadratura smysla* [Quadrature of sense]. Moscow, Progress Publ., 1999. P. 12–53.

Stepanov Ju. S. Al'ternativnyj mir, Diskurs, Fakt i printsip Prichinnosti [The Alternative world, Discourse, Fact and principle of Causality]. *Jazyk i nauka kontsa XX veka* [Language and science of the late

20th century]. Moscow, Russian State University for the Humanities Publ., 1995. P. 35–73.

Tikhomirov Ju. A. *Administrativnoe pravo i process* [Administrative law and the process]. Moscow, g-n Tikhomirov M. Ju. Publ., 2001. 652 p.

Umanskaja V. P. *Sistema pravovykh aktov organov ispolnitel'noj vlasti: teoreticheskie i prikladnye aspekty*: avtoref. diss. d-ra jurid. nauk [The system of legal acts of executive bodies: theoretical and applied aspects. Synopsis of Dr. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2014. 39 p.

Utkin N. I., Tulaev A. N., Kochneva D. G. *Informatsionnoe vozdejstvie kak metod administrativno-pravovogo regulirovanija organa gosudarstvennoj vlasti (na primere MChS Rossii)* [Information influence as a method of administrative and legal regulation of the state power authority (a case study of the Russian Ministry of Emergency Situations)]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta GPS MChS Rossii (e-version of the media)*. 2014. Iss. 1. P. 119–126. Available at: <http://vestnik.igps.ru/wp-content/uploads/V61/19.pdf> (accessed 15.06.2016).

Fuko M. *Arkheologija znanija* [The Archeology of Knowledge]. Transl. by S. Mitin, D. Stasov. Ed. by Br. Levchenko. Kiev, Nika-Centr Publ., 1996. 208 p.

Chepkina E. A. *Russkij zhurnalistickij diskurs: tekstoporozhdajushchie praktiki i kody* [Russian journalistic discourse: text-generating practices and

codes]. Ekaterinburg, Ural State University Publ., 2000. 279 p.

Prikaz Minjusta RF ot 04.05.2007 № 88 «Ob utverzhdenii Razjasnenij o primenenii Pravil podgotovki normativnykh pravovykh aktov federal'nykh organov ispolnitel'noj vlasti i ikh gosudarstvennoj registratsii» [Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation № 88 “On approval of the Rules Clarifications on application of Rules on preparation of normative federal executive authorities’ legal acts and their state registration” of 04.05.2007].

Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federatsii ot 9 marta 2004 g. № 314 «O sisteme i strukture federal'nykh organov ispolnitel'noj vlasti» [Presidential Decree of March 9, 2004 № 314 “On the system and structure of the federal bodies of executive power”].

Federal'nyj zakon ot 02.05.2006 № 59-FZ «O porjadke rassmotrenija obrashchenij grazhdan Rossijskoj Federatsii» [Federal Law № 59-FZ “On the order of considering appeals from the Russian Federation citizens” of 02.05.2006].

Federal'nyj zakon ot 09.02.2009 № 8-FZ «Ob obespechenii dostupa k informatsii o dejatel'nosti gosudarstvennykh organov i organov mestnogo samoupravlenija» [Federal Law № 8-FZ “On providing access to information about the activity of state bodies and local autonomy bodies” of 09.02.2009].

EXECUTIVE DISCOURSE: THE CONCEPT REVISITED

Mariya A. Shirinkina

**Associate Professor in the Department of Russian Language and Stylistics
Perm State University**

The paper considers the interrelation between discourse analysis and functional stylistics. Following the agreement between the main methodological principles of the two linguistic areas, the use of the concept *discourse* is justified when studying the corpus of texts produced by the executive officials in the process of acting according to the functions prescribed by law itself and described in theory of administrative law: law-enforcement, advocacy, socio-economic, norm-setting, regulating, jurisdictional, and other functions. It is explained that the discourse component of the approach is relevant to analysis of extra-linguistic factors during the executive interaction, while the stylistic component is relevant to that of linguistic means for representing a specific content. The extra-linguistic basis of the executive discourse is seen as a combination of factors, namely, the executive (bodies and officials) as subjects of communication, various kinds of their activity, functions exercised in the nation state by the branch, and other communication parties in this sphere, with their communicative goals. The paper presents an approximate list of the executive discourse genres, which are expected to be studied in terms of functional stylistics.

Key words: functional stylistics; discourse; discourse analysis; formal business text; extra-linguistic factors; executive written discourse.

УДК 81'25

РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА КАК КУЛЬТУРНОГО ПОСРЕДНИКА В ПРОДВИЖЕНИИ ТАЙВАНЬСКИХ КОМПАНИЙ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Елена Леонидовна Яковлева

к. филос. н., доцент кафедры английского языка

Языковой университет Венцао Урзулин

Гаосюн, Тайвань. elena.yakovleva75@gmail.com

Данное исследование фокусируется на тайваньско-российских деловых отношениях и ставит своей целью выяснить, какое влияние оказывает язык и культура обеих сторон при установлении международных экономических отношений. Уделяется внимание трудностям коммерческого перевода при установлении межкультурных отношений, особенно с тайваньской стороны, и делается акцент на языковом барьере и недостаточном понимании особенностей культуры при международном сотрудничестве. Автор статьи рассматривает существующие проблемы и предлагает решения для правильного использования языка и культуры, необходимые для установления более тесных и успешных межкультурных связей между Россией и Тайванем.

Исследование опирается на индуктивную методiku с использованием материала, собранного автором статьи, занимающимся устными и письменными бизнес-переводами на протяжении более чем десяти лет. При этом эмпирические данные основываются на нескольких общепринятых теориях перевода. Подчеркивается уникальная роль переводчика как культурного посредника. На примерах предлагается решение проблем по преодолению языковых и культурных барьеров с целью укрепления международного сотрудничества, особенно между Тайванем и Россией. Предполагается, что данное исследование может в значительной степени способствовать развитию коммуникаций и обмена опытом в сфере международного бизнеса.

Ключевые слова: культурное посредничество; культурная специфичность; творческий перевод; теория релевантности; теория Skoros; фонетический метод перевода; энциклопедическое (междисциплинарное) знание.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-75-84

Research background and goals

Based on the researcher's ten year involvement as an interpreter, translator and cultural mediator this project presents case studies derived from economic relations between Taiwan and Russia. This research examines the shift in Taiwan and Russia's increased cross-cultural cooperation over the last several years. Increasing numbers of Taiwanese and Russian academic researchers, business representatives, cultural activists and other specialists have been visiting both places in order to establish the cross-cultural contact for various purposes, such as conducting academic research, developing business and promoting culture. Over the last years, Russian media has often aired mostly positive stories about Taiwan and its culture (e.g. its subway system, parks, tea planting and sightseeing etc.). On the other hand, Taiwanese me-

dia has also been focusing on Russian lifestyle perspectives such as famous music schools, large cities and tourism. Some talk shows in Taiwan have also discussed Russian politics and policy. The media is a powerful way of educating people and facilitating an international cultural understanding.

This research focuses on the influence of language and culture in economic developments between Taiwan and Russia, with an emphasis on Taiwan's industry prospects. It aims to address the following research questions:

1. Which Taiwanese products receive greater promotion in the Russian market?
2. Why some Taiwanese companies achieve success while others fail in the Russian market? Which successful strategies are utilized when addressing language and cultural factors?

3. Which linguistic, cultural aspects and solutions have produced the most positive economic developments between the two countries?

4. What is the role of translator in developing these cross-cultural and commercial ties?

The last question in particular supports the premise that a translator's role is pivotal in the intermediation process. Data has been derived from many translation files that have been compiled over the last ten years. The researcher, who also worked as translator and cultural intermediate, is of Russian origin and has lived and worked in Taiwan for the last ten years. Therefore, the research has a greater capacity for identifying some of the problems Taiwanese companies have encountered when failing to promote products in Russian speaking markets. It will examine reasons such as lack of familiarity, understanding and consideration for Russia's cultural nuances and advertising that does not appeal to Russian consumers. It also highlights the importance of language as a tool for promotion in cross-cultural development and communication.

The literature review features studies on mutual relationships between Russia and Taiwan. The article "Russia's Unofficial Relations with Taiwan" by S. Vradiy [2007] gives an overview of the history of Russia's unofficial relations with Taiwan. The paper describes the political and economic importance of Taiwan to Russia and the status of Russian-Taiwanese relations. It assesses prospects for bilateral economic and trade relations.

Scholar Alexander Pisarev has also been researching Taiwan's issues and provides insight from the Russian Club in Taiwan and the state of political relations between Russia and Taiwan. American academic journals like the Kentucky Scholarship Online have produced articles with regards to China, Russia and Taiwan. However, this source mainly focuses on political and military matters. Due to the uniqueness of this research, there was very little existing literature that could be identified pertaining to the combination of language, culture and business ties between Taiwan and Russia. This lingua-cultural research is therefore a pioneer in this field as there is currently no scientifically designed research that has previously examined these interwoven aspects. Therefore, it is significant in the development of successful economic relationships between Russia and Taiwan. Due to the scarcity of existing research in this area, it is important that more researchers shed light on this phenomenon and the importance of effective language and cultural techniques in developing economic and cultural ties.

This research will provide guidelines for optimizing mutual economic interests and emphasize the

need for Taiwanese companies to reconsider their marketing strategies in Russia. It is hoped that a greater appreciation and understanding of appropriate linguistic and cultural mediation will increase success for these companies and its promotion of culture could also draw interest in various industries. The conclusion will provide suggestions for developing appropriate advertising strategies in terms of savvy language and cultural awareness. Findings will also provide practical assistance for Taiwanese companies in terms of understanding how to approach integral cultural knowledge when engaging in international cooperation. It further exemplifies linguistic and cultural difficulties that Taiwanese companies are experiencing when advertising their products in Russia. This study also beholds pedagogical value for teaching translation, offers substantial solutions for existing issues and achieves effective outcomes in the translation process.

Methodology

Qualitative data derived from translation files are utilized throughout the research. These involve case studies from ten years of research and experience in the field. Translations are a compilation of English, Russian and Chinese. English was always used as the primary language. The data was classified into the following three categories according to the following purposes:

- 1) Documents (e.g. diplomas, company's financial statements, or birth certificates)
- 2) Cultural information (e.g. art works)
- 3) Technical instruction
- 4) Product advertising

The bulk of the data, however, is derived from the fourth category. Most of the case studies refer to commercial translation and are analyzed in terms of Taiwanese products that were advertised the most in the Russian market (e.g. high-tech products, machinery and food). The language used within the advertisements has been analyzed and translation difficulties regarding targeting consumers are identified and discussed. Lack of cultural salience in the context will also be illustrated.

This research methodology has been primarily based on an inductive practice-oriented investigation method and utilizes commonly adopted theories including the role of the translator as a cultural mediator using a "cultural filter". This perfect combination of linguistic and cultural mediation is pivotal for any high-quality translation and for successful marketing strategies. The detailed analysis intrinsically links language and culture in the translation process and provides multi-faceted perspectives for successful international cooperation between Russia and Taiwan.

Theoretical Framework

The theoretical review includes elaborate translation theories and techniques and presents how they are relevant for various purposes with regards to international economic relations. Many researchers try to define the translation process and often fail to identify other relevant aspects. Catford [1965] exemplifies this by primarily focusing on matching sound and meaning of the source to the target language but neglects socio-cultural factors. These linguistically-oriented approaches could be useful in understanding the technical and scientific aspects of translation such as finding exact equivalences for technical terms. However, cultural aspects are now widely accepted in translation research. Both translators and marketers must understand the importance of cultural values in the target groups and find effective ways of transferring cultural salience from source language (SL) into target language (TL).

Skopostheorie by Hans J. Vermeer [1989] has been adopted as a guiding theory for this research as it focuses on communication purpose and links targeted text to its audience. To achieve such an effective outcome is substantial, particularly with regards to translation in business. In terms of commercial translation, it is important to take into account several translation factors such as “phonetic appeal, suitable meaning, socio-cultural adaptation, and consumer acceptance” in order to better target consumers of different cultures. Linguistic, cultural and commercial perspectives are all aspects crucial to this process [cf. Sang & Zhang 2008: 225]. This functionalist approach emphasizes translation of the target text with the source text being of secondary importance [Sang & Zhang 2008: 232]. With regards to product advertising, the translator should focus on Skopostheorie and take into consideration the aim of the translation in terms of successfully promoting the product when targeting consumers. To achieve this purpose, the translator needs to fully understand the cultural conditions of the source text [cf. Vermeer 1994: 14]. “Cultural sensitivity in Skopostheorie is influential and decisive in formulating an effective translating method” that is particularly true in advertising translation [cf. Sang & Zhang 2008: 232]. Translators must consider culture as a changeable phenomenon that “has an important role in specifying what is acceptable and appreciated” and a knowledge of which factors are taboo [Sang & Zhang 2008: 235]. He and Xiao also stated that well-translated texts can be adjusted to suit local markets in terms of lingual, cultural and legal environments, while still conveying the product information of the source text [2003: 131]. Therefore, besides primarily considering linguistic and cultural aspects, the marketing and legal issues should

also be considered. For this purpose, it is theorized that the following preliminary work is required [He & Xiao 2003: 142]:

1. Examine the company’s marketing strategy and the target marketplace including target consumers and image of the name which will be used in the foreign market

2. Examine the nature of the product in terms of function, performance and benefits etc.

Similar functional approaches focusing on linguistic-cultural relativity include House’s theory of translation as re-contextualisation and the Third Space phenomenon [2008] which emphasizes the following aspects:

- An extra-linguistic world which is often perceived differently by members of L1 and L2 communities

- Translator’s creativity

- Bridging the juxtaposed language and culture

- Functional pragmatic equivalence when covert translation of an original text appears in the new L2 context, but the functional equivalence remains the same. In this case, the translator manipulates the language and text according to cultural filters.

Every translator has faced challenges in finding suitable equivalents for the target text. “Untranslatability is a common phenomenon in translation [Benjamin 1923/1977; Berman 1985/1999; Bhabha 2000] with every language having its own unique lexicon and indigenous to only that culture [He & Xiao 2003: 135]. This research aims to understand how conveying concepts on different levels can accurately reflect the translation. M. Baker [1992] categorized four levels of equivalence:

1. *Word Level and above Word Level Equivalence* (i.e. number, gender and tense congruence of a single word)

2. *Grammatical Equivalence* (i.e. number, person and gender, tense and aspect and voice congruence across languages)

3. *Textual Equivalence* (i.e. transfer of information and consistency considering the text type, the purpose of the translation and the target audience)

4. *Pragmatic Equivalence* (i.e. author’s purpose for the target language).

The last category focuses primarily on translator’s creativity if the context equivalent does not exist and needs to be created by the translator. In his early study, R. Jakobson coins the term ‘creative transposition’ in inter-lingual translation, where verbal signs are interpreted in another language [1959: 238]. He acknowledges deficiency in terminology, which may be qualified and amplified by loanwords or loan-translations, neologisms, semantic shifts and circumlocutions [234]. Consequently, the original text must be exposed to transformations [Benjamin 1923].

Besides linguistic and cultural competence, the translator also needs to apply an encyclopaedic knowledge to the context. According to Relevance Theory proposed by Sperber and Wilson [1986] and emphasized by A. Vermes [2007], assumptions are fundamental for some contexts which convey a number of implications. Therefore, conceptual meaning is comprised of truth-functional logical and encyclopaedic entries, containing various types of representational information and possible conceptual connotations such as cultural or personal beliefs that may be stored in a memory [129]. Therefore, such inferential processes carried out by the translator must include interpretation of cultural specifics that don't exist or prevail in the target culture. The translator needs to explicate such encyclopaedic, culturally specific knowledge. Content can then be made directly accessible to the target reader, even if additional explanations and integration are required within the running text [Vermes 2007: 132]. By granting the translator relative freedom translational creativity can be achieved [Kussmaul 2000; Loffredo and Perteghella 2006; Sternberg 1999; Wills 1996 in S. E. Pommer 2008]. S. E. Pommer [2008] points out three aspects of creativity from a psychological perspective. These include novelty, appropriateness and acceptance [356]. Sternberg and Williams also propose three types of thinking that must also be taken into consideration when carrying out this type of creative work. This includes synthetic thinking of new and interesting ideas, analytic thinking with critical appraisal, possible solutions and practical thinking when identifying a potential audience for innovative ideas [Sternberg 1999: 433]. Appropriate creativity and critical thinking are indeed important for effective translation.

Scholars also warn that inconsistency and superficiality in the translation must be avoided [e.g. Leonardi 2010; Meltai 1999; Vermes 2007]. Translation should not be minimalized in terms of achieving necessary encyclopaedic assumptions within the cultural context [Vermes 2007: 139]. The translator must understand the text completely; otherwise the source text will not be understood by the target reader. The translator must be fully aware of the fact that he is the direct interpreter, while the target reader is the subsumed interpreter, dependent on the translator's assistance [Vermes 2007: 139]. In order to avoid superficiality, the translator must find a logical transfer of idioms or proverbs when none or little previous translatability is available. It must still, however, fall within the parameters of the chosen strategy with interpretation of one term or a certain cultural specificity being maintained in the existing context. A. Vermes [2007] claims that in order to avoid perplexity and effectively combine linguistic

mediation with the cultural mediation, the translator should produce an interpretable text for the target reader. In this case, both the foreignising and/or the domesticating translation strategies can be applied [Vermes 2007; Bhabha 2000]. The translator in actuality has to introduce new aspects regarding the source culture such as words that may not exist in the other culture. The translator then adapts the source text as much as possible to match the target text and translate it into the target language. Both strategies are commonly employed in the translation process and are often interwoven. These two strategies illustrate three aspects of creativity and are highlighted by S. E. Pommer [2008]. Creativity then combines new ideas that are subtly tied to the old ones, allowing for exploratory creativity with knowledge of relevant rules, transformational creativity and significant adaptation. One context can combine several translational strategies for better comprehension and effectiveness [356]. Pommer also emphasizes the impact of culture on creativity through language, pointing out the translator's textual limitations and stressing the importance for a margin of creativity even when it comes to legal translation [2008: 364]. Therefore a translator must possess creativity and the ability to identify translatability solutions [cf. Pommer 2008: 359]. Wills [1996] states creativity is a domain-specific attribute and is pertinent for some contexts. The degree of creativity varies in terms of type of translations such as literature, commercial, religious, technical or legal. "Acceptable creativity" of the target context should be congruent with the contents of the source context and also consider corresponding encyclopaedic knowledge and cultural specificity, clearly illustrating the necessity for a translator to possess excellent critical thinking skills. The translator must practice multi-disciplinary skills in order to translate effectively [cf. Forstner 2005 in Pommer 2008: 363].

Linguistic-cultural interdependence is central to most modern translation theories. Terms such as "cultural hybridity" coined by Bhabha [2000] are also pivotal in translation processes that combine elements of both source and target languages. Logical assumptions and implications based on the translator's encyclopaedic competence are also crucial for effective and clear translation. The translator must carefully read, interpret and assess the cognitive environment of the source and target context with creativity and adequacy in the translation process. Creativity and understanding of multiple disciplines are key aspects in effective translation. The translator must be multi-talented, competent, flexible and responsible in order to provide a successful translation. In a summary, referring to W. Benjamin, translation can be metaphorically likened to a tangent, which

touches the circle (i.e. the original) at one single point, whereas it later follows its own way [1996/2004: 253ff.].

In order to effectively carry out all these practices, the translator must follow six principles proposed by H. Belloc [1931]:

1. Regard the work as an integral unit, however translate in sections
2. Decode idiom by idiom
3. Translate intention by intention
4. Avoid *les faux amis* (false cognates)
5. Alter courageously
6. Never overstate

In conclusion, translation is a fluid process, which creates a new corresponding meaning in the target language. The translator must consider the stylistic and idiomatic norms of both languages, as well as the peculiarities of both cultures. They must be granted liberty in the translation process in order to transmit the context adequately [Haque 2012: 108].

Research Results

This research focuses on translation difficulties, cultural differences and sociolinguistic aspects of commercial translation with regards to the advertising of Taiwanese products in Russian-speaking markets, including many CIS-countries. This study is based on the integral experience of a Russian native speaker who is an English, German and Russian translator. Taiwanese companies must do a lot of work in translation in order to promote their products in international markets and become internationally accepted. Taiwanese companies, which are already recognized internationally, include computer and accessory companies, such as Acer, Asus, HTC, semi-conductors, LED, rubber company Gmor and Ruby Rose cosmetics. Yet, there has been an increase of Taiwanese companies expanding in the international marketplace. These include products such as tea, intellectual toys and environmentally friendly products. Marketing these products in the foreign languages of the countries that they want to expand is crucially important and often required by local authorities. Product marketing translation in the target language must be consumer-friendly and help the product to become widely accepted in countries where English is not commonly used. Since Taiwan's high-technology industry has already developed in the international marketplace, a lot of existing commercial texts refer to technological products such as computers or machinery. Therefore, the translator must provide accurate information and understand the appropriate terminology required in technical translation. Sometimes, explanations of new technological terms are recommended for both the company and the translator.

In Taiwan, commercial translation is common and just from Chinese into other foreign languages but also from English into different target languages. Due to close business ties with America, many Taiwanese companies already have websites in English. However, usually the original Chinese version of the text is translated first into English and then from English into another language. Thus, the first source language (SL1) may lose its connotation in the transition into the third target language (TL3) through the second foreign language (TRL2): SL1→TRL2→TL3.

Google translator is a very helpful tool for translators as it primarily saves time. It usually provides a sufficient basis for the target language. After using the software, the translator should polish it by selecting precise words, refined language and implementation of corresponding cultural realities before the transfer of context into the target language. Data for this research has utilized the help of Google translate. In most cases texts were later revised and changed. Another popular Russian translation tool comes from the website *slovari.yandex.ru*, which can be utilized, when translating colloquial wording or idioms from or into Russian.

The commercial translation analyzed in this research focuses on product advertising, its characteristics, branding and company slogans. With company and brand names, the translator used a phonetic translation method, this being the process of translating names to resemble the phonetic sound of the original. Overlooking the name's meaning is a widely accepted practice in the translation field. Taiwanese export companies usually have an English name whose pronunciation can be easily transliterated into Russian. The Englification process has recently become more commonly used. When English foreign words are adopted, they are transliterated and subsequently used in the Russian speaking environment despite the existence of a direct Russian equivalent. This methodology is growing rapidly, especially with regards to business language and advertising. Therefore, with this transliteration methodology *ИИ Вин Корп.* became the adopted Russian name for Taiwanese company *In Win Corp.* Easily understood by Russians, words will often sound relatively similar in both languages but contain a specific meaning in Russian as exemplified in the case of *Industrial Machinery Ltd.*, which in Russian was translated as *ООО "Индастриел Машинери"*.

It was also found to be harder to promote a meaningless brand name of the company. He and Xiao suggest brand names should be translated to be semantically relevant to product attributes and its original name, combining phonetics, semantics, and graphics" [2003: 145]. Many Taiwanese companies create slogans that express the spirit of the firm. A

good translated slogan must be simple, meaningful, distinct, easy to remember and persuasive enough to attract the target language. Therefore, to reach this goal, the translator needs to apply a creative translation methodology that can even deviate from the original, but not from a concept. According to the Skopostheorie, the translator should use the most appropriate strategies to achieve the purpose of the TL in the target context [cf. Shuttleworth and Cowie 1997: 156]. He and Xiao claim the translated text should combine corporate marketing strategy with the socio-economic climate of the target country [2003: 141]. The translation process should be considered as a journey from one culture into another. In this case, Far Infrared Heating Pad System can be exemplified. Its product is described as follows:

Far Infrared heat energy for deeper penetration to improve blood circulation and then effectively and temporarily relieve muscle/joint pains and discomfort or simply be used for keeping warmth.

The following is a letter from the Taiwanese company to a Russian company, describing Far Infrared Heating Pad System:

It's ideal for anyone who needs a relief of pains or simply wants to keep warm. We really see a big potential of this product in Russian market. If you are interested in knowing more about our products and prices, please feel free to contact us at any time.

It is obvious that the second sentence is incomplete and not persuasive enough. It alludes to Russia as a cold country and therefore, substantiating potential demand for the heating device. The translator then transferred the sentence into: "We really see a big potential of this *'hot'* product in such a *'cold'* country as Russia", placing the emphasis on the opposition of *hot* vs. *cold* which could be potentially more attractive to consumers.

Sometimes what a company in one culture considers to be attractive may generate negative perceptions or connotations in another [cf. Sang & Zhang 2008: 243]. Such differences might include manipulating the feelings of Chinese consumers, rather than focusing on characteristics and facts that are greatly valued by Western society. Also, Taiwanese ads and slogans are often greatly exaggerated. This can be exemplified in rubber producer GMOR's website which reads: "We are the best! Believe us! Trust us!" Such a strong claim might have a negative effect on their credibility in Western cultures. Therefore, the simple slogan "We are one of the best" would be more pertinent.

Another difficulty that arises in translation refers to culturally based legends, literature and historical figures, as well as proverbs and idioms. This becomes challenging when conveying the connotative meaning from the source text to the target text and

requires a translator with a profound understanding of both cultures in order to avoid unfortunate results [Sang & Zhang 2008: 236]. Chinese folklore features several common characters, such as dragons, lions and monkeys, however the significance of these icons are not easily translated into Western cultural understanding, "which focus more on narration, beliefs, values, and imagery" [Sang & Zhang 2008: 241]. In these types of cases, scholars Haque [2012], Sang and Zhang [2008] and Wiersema [2004] advise the appreciation and conveyance of such differences rather than assimilation of them into the target culture since such foreignness can also have a positive effect on the curious consumer, who may be seeking an ethnic experience from the source culture that they are purchasing the products from. Z. Haque [2012] stresses literary creativeness or the written-work of one language is re-created in another, while still transmitting the message and not the meaning. This will still imply the original definition of translation [97f.]. R. Jakobson [1959] states that translation is a reported speech; the translator recodes and transmits a message received from another source. Therefore, translation involves creating two equivalent messages for two different codes [233]. According to Z. Haque, the translator needs to have "a delicate common sense of when to paraphrase or 'translate literally' and when to paraphrase in order to guarantee exact rather than fake equivalents between the source- and target-language texts" [2012: 105]. This means the translator must find a pertinent equivalent with different degrees of translatability for any text; therefore translators should not only be bilingual but also bicultural.

Furthermore, Sang and Zhang point out that in the process of translation, translators and marketers should not only promote as many features as possible, but also evaluate which features are most important or appealing to the target consumers [2008: 237]. Commercial translation with regards to advertising often combines an accurate translation without substantially altering the source text or idiomatic translation within the target language [Haque 2012: 107]. In advertising texts, the metaphoric language is very common. However, it should be used carefully and more legibly, otherwise misunderstandings could arise. In reference to the following sentence: "Some Taiwanese auto parts makers are still pinning high hopes on earning some green by going green", the concept of "GREEN" contains cultural specificity for several languages. While translating the slogan of one Taiwanese company, regarding its green features, from English into Russian and German, the translator needed to use different inferential processes, including different encyclopaedic backgrounds in order to target two cultures. Here the first meaning

of *green* refers to the greenish banknote of the US dollar, whereas the second meaning of *green* includes environmentally friendly bio-materials. Metaphoric statements will later be explained as some cultural concepts are more common than others. This can be exemplified in the Russian common use of the word *green* with reference to the US dollar. However, Germany's Green Party promotes an eco-friendly environment; therefore the word *green* with reference to US currency would not be so readily understood in Germany since the Euro is used there. Russians, on the other hand, in the past were less aware of the term *green* with regards to eco-friendly technology. Therefore, the translator's knowledge of social realities in both cultures is integral to successful comprehension of substantial translation.

Another advertising example includes: *solar powered air freshener is a green product that is not only energy efficient but also eco-friendly*. Here, the term *green* was directly translated into the following German translation: *Der solarbetriebene Duft-Zerstäuber ist ein grünes Erzeugnis, das nicht nur energieeffizient, sondern auch umweltfreundlich ist*. However, in the Russian translation, *green* was replaced with the term *eco-friendly* which carries the literal meaning of being *pollution-free*: *Работающий на солнечной энергии воздухоочиститель – это экологически чистый продукт, который является не только энергосберегающим, но и безвредным для окружающей среды*. Therefore, the metaphoric terms *green*, *eco-friendly* and *environmentally friendly* were used in the translated advertisements interchangeably with the Russian translation meaning harmless to the environment. Therefore, *green* product (Ge. 'grünes Produkt') and environmentally friendly products (Ge. 'umweltfreundlich') maintain a greater linguistic denotation in both English and German speaking environments but with the literal name for eco-clean products being *экологически чистый продукт* in Russian.

A. Vermes [2007] emphasizes this encyclopaedic knowledge is highly important for every translator. Another example was with regards to the geographical locations of *Mainland China*, *Cross-Straits* and *islands*. Besides requiring geographical knowledge and familiarity of political issues between Taiwan and China, the translator must maintain a geopolitically correct translation. Thus, the name Taiwan is often described as just an *island* or *one side of the straits* and therefore would not transliterate to other nations. It should be understood that not everyone knows about Taiwan's issues. Taiwan is often mistaken for Thailand by many members of the international community. Furthermore, the phrase '*both sides of the strait*' meaning China and Taiwan requires a greater understanding of the region's geo-

political nuances. It is therefore advisable to utilize the recognized name of Taiwan in the translation considering many products maintain the label "Made in Taiwan". In this case, Taiwan is identified with specificity. These examples demonstrate complexities involved in the act of naming.

The following exemplifies the lack of clarity that can sometimes occur: *The firm has an R&D and operation office in Taiwan and two production facilities in mainland China, with a total cross-strait employment of over 300 workers*. Firstly, it is unnecessary to write '*Mainland China*' since the west utilizes the terms China and Taiwan and are considered as separate parts. The term '*Mainland*' with reference to China is therefore uncommon. As mentioned above, the term **cross-strait** refers to Taiwan and China, although it may not be understood by Westerners. However, it is translated into Russian and German as "on both territories". These two territories have different political systems with their own governments, although Taiwan is also sometimes referred to as the Republic of China. This original name for China originated in 1911, after the Manchurian monarchy was overthrown. In 1949, after the Nationalist government was defeated in the civil war, the People's Republic of China was established. Therefore terms such as *cross-strait*, *mainland China* and *island* should be avoided in advertising. Instead, the names *Taiwan* and *China* should be utilized since foreign companies and consumers are more familiar with the labels "*Made in China*" and "*Made in Taiwan*".

Another example of translation regarding a Taiwan auto-parts maker reveals a similar problem: Another advantage of local auto parts makers is their division-of-labor manufacturing networks in Taiwan, Mainland China and other countries. With plants **on both sides of the Taiwan Straits**, producers can meet a wide range of customer needs in terms of pricing, quality, quantity, and lead times. RU: Другим преимуществом местных производителей автозапчастей является их производственная сеть с разделением труда на Тайване, в Китае и других странах. Благодаря предприятиям **по обе стороны Тайваньского пролива**, производители могут выполнить широкий диапазон потребностей клиента в отношении цены, качества, количества и времен выполнения.

This example indicates *the Taiwan Straits*, instead of the commonly used phrase *Cross-Strait*, while still maintaining the separate references of Taiwan and China.

The next case exemplifies a children's furniture manufacturer that produces its wares exclusively in Taiwan: In Taiwan, the children's furniture industry has been shrinking as manufacturers move to **China** and other countries. The companies that have stuck

it out **on the island** have survived by upgrading and focusing on innovative high-end products provided for both domestic and foreign markets. RU: На Тайване производство детской мебели уменьшилось с тех пор, как производство переехало в Китай и другие страны. Компании, которые остались на **Тайваньском острове**, выжили за счет модернизирования и фокусирования на новаторские, высококачественные изделия, снабжающие как отечественный, так и иностранные рынки.

In the second reference, Taiwan is referred to as an *island* which exemplifies an autonomous state of isolation and independence. The translation in Russian refers explicitly to "*Taiwan as an island*". The advertisement emphasizes high-end innovative Taiwanese products in contrast to products from other countries, particularly those of China. This was also exemplified in: "*Lextar Electronics Corp.'s president, F.J. Su said that Taiwan's extensive developments of LED-backlight and information-technology (IT) industries have built a solid foundation for the island's LED-lighting industry.*" 'Solid foundation' of the island's LED industry implies good quality LED products. Here, Taiwan is referred to as an island, again maintaining the reference in which few people have an in-depth understanding. Few consumers know that many Taiwanese companies run factories in China, where the labor costs were originally cheaper. However, although their products are manufactured in China, they are still labeled as Taiwanese technology and branded with 'made in Taiwan'. In contrast, some Taiwanese companies proudly emphasize they operate exclusively in Taiwan implying a better quality compared to products manufactured in China. "*We are one of the few school furniture makers that operate exclusively in Taiwan,*" says George Chiu (Corporate Marketing Manager) who emphasizes their business has prospered solely in Taiwan and does not engage in manufacturing in China or any other outsourcing country. However, this isolated factor is specific to Taiwan and is usually not fully comprehended by foreigners doing business in the region. Emphasis should therefore be on the production process based only in Taiwan (not in China). This reference also alludes to Taiwan's superiority in quality control with many products being exported to high-end markets such as Japan, Germany and the USA. This illustrates how companies maintain a better image if they operate exclusively in Taiwan; a factor may not be understood implicitly by other countries.

Interdisciplinary knowledge is often required throughout the translation process, including commercial translation. According to the data, besides linguistic and cultural competence, sometimes the translator was required to have a basic knowledge of

the product in terms of its technical or chemical composition etc. An elementary understanding in areas of computer technology, high-tech systems, chemical engineering, medical and business scopes has also been identified as being necessary.

Commercial translation allows for the translator to contribute creative input in the target context in order to make the company or their product's information more trustworthy and appealing. The ultimate goal of commercial translation is to market products faster, more efficiently and offer added value while improving the company's global competitiveness.

In order to provide an accurate, professional translation, translators must be provided with all necessary information regarding the company and its products. If a company maintains too much secrecy or confidentiality regarding their product, such as releasing the product name or drawing, it could lead to serious errors and mistakes in the target language, resulting in an inaccurate or weak translation and failure to attract an international market. Translators must also consider languages that are gender-related (e.g. French, German, Russian and Spanish) where the (in)definite article or the inflection indicate the gender of the word of which it is being referred and the syntactical relationship between the words through inflectional morphemes. In this case, the morphology and syntax are highly important for making the text grammatically correct and content comprehensible. In one case, the company didn't want to disclose what the product was because it was a business secret. Therefore, the translation strategy for both Russian and German contexts utilized an indefinite pronoun 'it' for the unidentified product. However, this resulted in a translation that lacked professional style and therefore sounded somewhat strange to the potential consumers in the target countries. In order to produce a competent and attractive translation, it is strongly advised that companies provide the translator with sufficient information regarding the product. Most companies are usually willing to provide necessary detailed information and clarify professional content-related or linguistic text-related questions in order to maximize their product's future success. Furthermore, in technical translations such as instruction manuals, the company should attach illustrations of how the product is used and apply the appropriate terminology in product description. Text often accompanies visual aids and illustrations that definitely facilitate better and more accurate translations.

Conclusion

To summarize the relevant aspects regarding commercial translation presented in this study, it can be substantially concluded that language and culture

are inseparable factors. The translator must be competent on multiple levels of the process. Prerequisites for an effective translation require in-depth knowledge of the source's language and culture, while having an integral understanding of the language and culture of the target consumer. Therefore, translators not only need to be bilingual but also bi-cultural. An encyclopaedic and culturally specific knowledge, along with a wide range of understanding of different industries is often crucial for effective translations. Synthetic, analytical (critical) and practical thinking is also required of the translator. In cases where there is untranslatability, the translator should be granted the freedom to create a corresponding equivalent, which reflects the source culture, yet can be adjusted to retain meaning, while still being comprehensible in the target culture. This more specifically refers to the logical transfer of idioms and proverbs in particular, which require a different degree of translatability. In these types of cases the importance of correctly transmitting the message rather than the meaning must be implicitly understood. However, superficiality and inconsistency in the target text must be avoided at all costs. The translator also takes on the role of cultural mediator, which also requires the creation of a translation that delivers optimal marketing messages within the target market. Therefore, the translator must be allowed to add some positive meaning to the source text without infringing on the concept and characteristics of the advertised product, while facilitating an optimal impact upon the target consumer. The translator must emphasize important features of the product without any exaggeration. The reader depends on the translator for comprehension; therefore he must find a happy medium between the legitimacy of the content of the translation and the attractiveness of the text to the target audience. This is always a big challenge for translators. Their creativity should be comprised of novelty, appropriateness and acceptance. Well-translated phonetic or semantic translation methodology should be adopted with regards to brand and company names, slogans and new terminology. Furthermore, the company needs to provide a clear and transparent source text in order to avoid any ambiguity. To sum up, the company cannot underestimate the role of translator and must utilize a highly professional translator who is competent in both source and target language and culture. All factors, which were examined throughout the research, have been identified as being crucial for a company's success in the international marketplace.

References

Baker M. *In other words: A Course book on Translation*. New York: Routledge, 1992. 304 p.

Belloc H. *On Translation*. Oxford: The Clarendon Press, 1931. 15 p.

Benjamin W. *Selected Writings: The Task of the Translator*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1923; 1996/2004. Vol. 1. P. 253–263.

Bhabha H. How Newness Enters the World. J. Procter (Ed.) *Writing black Britain 1948-1998. An interdisciplinary anthology*. Manchester and New York: Manchester University Press, 2000. P. 300–306.

Catford J. C. *A linguistic theory of translation: an essay in applied linguistics*. London: Oxford University Press, 1965. 103 p.

Haque Z. Translating Literary Prose: Problems and Solutions. *International Journal of English Linguistics*. 2012. Vol. 2(6). P. 97–111.

He Ch., Xiao Yu. Brand name translation in China: An overview of practice and theory. *Babel*. 2003. 49(2). P. 131–148.

House J. Towards a linguistic theory of translation as re-contextualization and a Third Space phenomenon. *Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies*. 2008. No. 7. P. 149–175.

Jakobson R. On linguistic aspects of translation. R. A. Brower (Ed.) *On Translation*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959. P. 232–239.

Pommer S. E. No creativity in legal translation. *Babel*. 2008. 54(4). P. 355–368.

Sang J. & Zhang G. Communication across languages and cultures. A perspective of brand name translation from English to Chinese. *Journal of Asian Pacific Communication*. 2008. 18(2). P. 225–246.

Shuttleworth M., Cowie M. *Dictionary of translation studies*. Manchester: St Jerome Publishing, 1997. 233 p.

Sperbe D., Wilson D. *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford: Basil Oxford Blackwell, 1986. 279 p.

Sternberg R. J. (Ed.) *Handbook of Creativity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 502 p.

Vermeer H. J. Skopos and commission in translational action. A. Chesterman (Ed.) *Readings in translation theory*. Helsinki: Oy Finn Lectura, 1989. P. 173–187.

Vermeer H. J. Translation today: Old and new problems. M. Snell-Hornby, F. Pochhacker, K. Kainel (Eds.) *Translation studies: an inter-discipline*. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1994. P. 3–16.

Vermes A. The problem of cultural context in translation and translator education. *Eger Journal of English Studies*. 2007. VII. P. 129–141.

Vradiy S. Russia's Unofficial Relations with Taiwan. I. Akihiro (Ed.) *Eager Eyes Fixed on Eurasia*. Slavic Research Center, Hokkaido University. 2007. Vol. 2. P. 219–234.

Wiersema N. Globalization and Translation: A discussion of the effect of globalization on today's translation. *Translation Journal*. 2004. 8(1). Available at: <http://translationjournal.net/journal//27liter.htm>. (accessed 11.01.2016).

Wills W. *Knowledge and Skills in Translator Behavior*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1996. 256 p.

Yakovleva E. Functions of attributes in translation of advertisement. *International Youth Conference "Translation as factor of development of science, technology and sport in the modern world" within the Federal special-purpose program "Scientific and scientific-pedagogical personnel of innovative Russia in the years 2009-2013"*. Vyatka State Humanities University. 05th-06th of September 2012. P. 287–289.

THE ROLE OF A TRANSLATOR AS A CULTURAL MEDIATOR IN THE PROMOTION OF TAIWANESE COMPANIES IN THE POST-SOVIET AREA

Elena L. Yakovleva

**Assistant Professor in the Department of English Language
Wenzao Ursuline University of Languages**

This research focuses on Taiwanese and Russian business relations and aims to elucidate how it is influenced by both parties' language and culture when establishing international economic relations. The study considers commercial translation and difficulties encountered when developing cross-cultural relations. It presents a perspective derived from Taiwan's international industrial development and focuses on language barriers and a lack of competence in understanding culture in international collaborations. The research investigates existing issues and suggests solutions in terms of accuracy in language and culture necessary for establishing closer and more successful intercultural ties between Russia and Taiwan.

This research includes a researcher participant and inductive methodologies, with the author's observational data collected over ten years of interpretation and translation. With these components and the application of several commonly adopted translation theories, it provides a unique, cultural perspective based on work derived from Taiwanese and Russian business and cultural intermediation. As a result, solutions have evolved on how to overcome language and cultural barriers and improve cooperation between Taiwan and Russia. This research can greatly assist in the development of communications and exchange in the realm of international business.

Key words: creative translation; cultural intermediation; culture-specificity; encyclopedic (interdisciplinary) knowledge; phonetic translation method; Relevance theory; Skopostheorie.

УДК 821.111

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИПОСТАСИ ЭНН ИЗАБЕЛЛЫ ТЕККЕРЕЙ, ВИКТОРИАНСКОЙ ЛЕДИ И ФЕМИНИСТКИ

Ирина Игоревна Бурова

д. филол. н., профессор кафедры истории зарубежных литератур

Санкт-Петербургский государственный университет

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 11. i.burova@spbu.ru

Энн Изабелла Теккерей в основном была известна предисловиями биографического характера к сочинениям своего отца У. М. Теккерей. Лишь в 1980-е гг. ее собственные сочинения привлекли внимание историков литературы, которые были склонны оценивать их как написанные под мощным влиянием сочинений отца. Целью данной статьи является создание общего представления о творчестве Энн Теккерей, а также выявление в нем как черт викторианской литературы, так и феминистских тенденций. Энн Теккерей выступает в разных литературных ипостасях. Как прототип двух героинь художественной прозы, Тео Ламберт из «Виргинцев» У. М. Теккерей и миссис Хилбери из «Ночи и дня» В. Вулф, Энн Теккерей может показаться типичной викторианкой, соответствующей женскому идеалу эпохи в своем стремлении служить отцу и остальным членам семьи. Как автор эссе и художественной прозы Энн предстает как независимый мыслитель, стремящийся изменить мир к лучшему. Очевидно, ее вера в то, что женщина способна влиять на судьбы мира, привела ее к созданию произведений о молодых женщинах, как вымышленных, так и реальных, которые боролись за свое счастье. Отрицание замужества как единственного пути к нему придает произведениям Энн отчетливое феминистское звучание. После публикации «Мисс Энджел», беллетризованной биографии А. Кауфман, Энн приступила к очеркам о писательницах, впоследствии составившим «Книгу сивилл», первый опыт истории женской литературы, во многих отношениях предвосхищающий «Литературных женщин» Э. Моэрс.

Ключевые слова: история английской литературы; Энн Изабелла Теккерей; Уильям Мейкпис Теккерей; художественная литература викторианского периода; женская литература.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-85-93

Вплоть до конца XX столетия интерес к Энн Изабелле Теккерей-Ричи (1837–1919) как автору ограничивался мемуарами, служившими ценным источником сведений о ее отце, ведущем писателе викторианской эпохи У. М. Теккерее [Maskey 2010: 164], собрание сочинений которого она выпустила в 1908 г., и свойством с Лесли Стивенном, поручившим ей написать ряд статей для «Национального биографического словаря» [Maskey 1990: 79]. И только в 1980-е гг. внимание исследователей привлекла личность самой Энн. В этом особую роль сыграли исследователи, воссоздававшие историю ее жизни на богатой документальной основе, включавшей в себя и воспоминания о матери, опубликованные Эстер Теккерей-Фуллер в соавторстве с В. Хэммерсли [Thackeray Fuller, Hammersley 1951]. В 1981 г.

вышла в свет книга Уинифред Герин, работавшей с архивом Энн, который хранился у ее внучки Белинды Норман-Батлер [Gerin 1981], а в 2004 г. была опубликована работа Г. Гарнетт, дополнившей данные У. Герин материалами из архива семейства Стивен [Garnett 2004]. Биографические сведения об Энн публикуются и в посвященной семейной истории Теккереев монографии Джона Эплина [Aplin 2010–2011].

Работы Герин и Гарнетт об Энн Теккерей были написаны как биографии женщины, хорошо знакомой со многими знаменитостями. При этом авторы ограничились лишь скухими комментариями относительно ее литературного творчества. Вместе с тем публикация Герин, широко известной как автор серии биографий английских писательниц XIX в., невольно поставила

Энн Теккерей в один ряд с сестрами Бронте и Элизабет Гаскелл, и это обстоятельство стимулировало интерес к ее литературному творчеству. В поле зрения исследователей попали не только мемуары Энн, но и ее повести, литературно-критические заметки, биографические очерки. В результате появились публикации, в которых делаются попытки сопоставить сочинения Энн с произведениями ее отца [Hill-Miller 1981], а также проследить ее литературные связи с авторами его круга, в частности, А. Теннисоном [Arlin 2006] и Браунингами [Bloom 1991], а исследователи творчества В. Вулф, дочери Стивена от второго брака, попытались увидеть в произведениях Энн некий мостик между ее отцом-викторианцем и названной племянницей-модернисткой, хотя такой подход сильно преувеличивает литературные достижения Энн, уступавшей им обоим в силе писательского таланта.

Вместе с тем реальный вклад в историю литературы, внесенный Энн Теккерей, автором художественной и публицистической прозы, литературным критиком, чьи труды вышли далеко за рамки биографических очерков, и прототипом двух героинь известных романов, до сих пор не осмыслен. Сделать это в рамках одной статьи, конечно же, невозможно, поэтому мы ограничимся попыткой определения литературных ипостасей писательницы и выявлением логики ее творческого развития.

Не будучи знаменитостью, человек редко становится прототипом литературного персонажа, тем более – дважды. В этом смысле «везение» Энн объясняется ее родственными узами. В романе У. М. Теккерей «Виргинцы» нашли отражение те чувства, которые Теккерей питал к дочерям. Его полковник Ламберт так же, как сам писатель, полагает, что его главная задача – обеспечить счастье своим детям, отодвигая собственную судьбу на второй план [Бурова 1996: 95]. Ламберт настолько привязан к дочерям, что боится времени, когда они выйдут замуж. Слова полковника: «Нам, мужчинам, вовсе не хочется с ними расставаться. И мне, например, этот юноша нравился бы куда меньше, если бы я думал, что он собирается похитить у меня одну из моих милых девочек» [Теккерей У. 1961: I, 237] – полностью соответствуют сделанному в 1856 г. признанию самого Теккерей, опасавшегося, что в один злосчастный для него день какой-нибудь «проходимец-муж (scoundrel of a husband) заберет у него Энни» [Thackeray W. 1946: III, 618]. В частной переписке писатель заявлял, что сестры Ламберт в «Виргинцах» очень похожи на его до-

черей, хотя и был намерен категорически отрицать это обстоятельство, если бы его спросили про это публично [ibid.: IV, 81]. Но характеристиками «прекрасной хозяйки, а к тому же хорошей и веселой девочки» и «доброй и послушной» дочери [Теккерей У. 1961: I, 235] Тео Ламберт полностью обязана Энни.

Вирджиния Вулф, нежно любившая Энн, старшую сестру первой жены ее отца, сделала ее прототипом миссис Хилбери из романа «Ночь и день» (1919) [Zuckerman 1971], которая была увлечена написанием биографии своего отца-поэта. Тем самым Вулф подчеркнула ответное чувство Энн к отцу, которого та только что не боготворила.

Если сравнивать юную Энн с Тео Ламберт, то главное различие между образом и его прототипом заключается в том, что Энн отличалась редкостью для викторианской девушки самостоятельностью и амбициями, не связанными с желанием вступить в выгодный брак. Выросшие без матери сестры Теккерей провели детство и юность в Париже, где их воспитывала бабушка, пытавшаяся привить им собственные ригористичные взгляды приверженки евангелической церкви, и в Лондоне, где девочки росли в либеральной атмосфере отцовского дома. В обоих домах девочки были включены в круг общения взрослых, но для Энн общество отца и его окружение были гораздо привлекательнее [Anne Thackeray Ritchie 1994: 30]. Ей была предоставлена уникальная для викторианской девочки возможность интеллектуального развития в общении с незаурядными взрослыми. Достаточно сказать, что, работая над «Ярмаркой тщеславия», писатель зачитывал десятилетней дочери отдельные фрагменты, интересуясь ее впечатлениями. В период создания «Ньюкомов» Энн играла роль отцовского секретаря, записывая диктуемый им текст, а также была в курсе всех сложностей, с которыми столкнулся Теккерей, трудясь над «Виргинцами» [ibid.: 54–55].

В восемнадцать лет Энн сожалела, что родилась женщиной, поскольку это лишало ее возможности влиять на положение дел в мире, даже не позволяло стать священнослужителем и «прочитать такую проповедь, от которой у людей волосы встанут дыбом», чтобы заставить их встать на путь добра и правды. Она мечтала о профессии и не желала «проводить жизнь, корпя над починкой собственной одежды и читая романы». Ей хотелось «очень много зарабатывать» и «стать знаменитой» [Anne Thackeray Ritchie: Journals and Letters 1994: 43–44].

Такие амбиции могла удовлетворить профессиональная литературная деятельность. Теккерей рано заметил творческие наклонности Энн [Thackeray W. 1946: I, 240; III, 251; *Forbidden Journeys...* 1993: 336] и, заняв в 1860 г. пост редактора нового журнала «Корнхилл Мэгэзин» [Krueger 2009: 339], поспособствовал ее литературному дебюту [Letters of Anne Thackeray Ritchie 1924: 115].

Первая публикация двадцатитрехлетней Энн называлась «Маленькие школяры» [Thackeray A. 1860]. Этот очерк, в жанровом отношении сближающийся с современным журналистским репортажем, был написан в струе модной в те времена критики системы школьного образования, причем Энн сумела предложить оригинальный взгляд на широко обсуждавшуюся проблему. В очерке описываются четыре благотворительные школы, посещенные ею во время прогулки по Лондону. Энн не выискивала в них недостатки, не негодовала по поводу жалкого положения, в котором находятся ученики, но стремилась показать важность и похвальность усилий тех, кто пытается улучшить жизнь детей и повысить качество получаемого ими образования, которое помогло бы им добиться благополучия во взрослой жизни. Энн также обращала внимание на экономическую сторону проблемы, но самое поразительное то, что среди положительных примеров благотворительных школ она называет две, основанные еврейской общиной и предоставляющие высококачественное образование не только юным иудеям, но и всем желающим за чисто символическую плату в 2-3 пенса в неделю. Энн претил британский шовинизм, и в финале очерка она решительно заявляла, что «маленькие иудеи исключительно похожи на маленьких христиан; такие же забавные, голодные, беспомощные и счастливые, когда им приносят миски с едой, над которыми поднимается пар» [ibid.: 558]. По убеждению писательницы, «обожествление детей» является естественной нормой для всех народов мира, надконфессиональной чертой, делающей людей людьми [ibid.]. Впоследствии она не раз возвращалась к этой мысли. Например, в повести «Ключи Синей Бороды» (1871) писательница с равным энтузиазмом говорила о героине как о достойной женщине, посвятившей жизнь заботам о детях бедноты, среди которых особым очарованием отличались маленькие итальянцы.

В «Корнхилл Мэгэзин» было опубликовано и первое художественное произведение Энн, повесть «История Элизабет» (сентябрь 1862 – январь

1863 г.). Ее сюжет можно рассматривать как “перелицовку” любовной линии романа Теккерей «История Генри Эсмонда» (1852), в котором вдовствующая леди Каслвуд и ее дочь Беатрис становятся соперницами в любви к главному герою, старшая из дам побеждает, а младшая в конце концов выходит замуж за священнослужителя.

В «Истории Элизабет» мать и дочь меняются местами. Каролина, еще не старая и весьма привлекательная вдова, раздосадована тем, что ее бывший поклонник сэр Джон Дэмпиер начал ухаживать за ее дочерью Элизабет, и решает увезти девушку в Париж. Однако Дэмпиер следует за ними, и тогда, желая во что бы то ни стало воспрепятствовать продолжению его отношений с Элли, ревнивая женщина идет на прямой обман, убеждая Дэмпиера, будто ее дочь сознательно избегает встреч с ним. Уязвленный Дэмпиер переключается на свою кузину Летишию, школьную подругу Элизабет, обладающую неплохим доходом. В трактовке образа Дэмпиера звучит типично феминистская нотка, напоминающая о произведениях Жорж Санд и Ш. Бронте, ибо он предстает перед читателями заурядным волокитой, что, разумеется, было с неудовольствием воспринято критикой, особенно – автором анонимной рецензии в «Куортерли ревью».

История матери, увидевшей соперницу в дочери и погубившей собственную жизнь, оттеняет историю главной героини, которая проходит путь от легкомысленной барышни, думающей исключительно о развлечениях, до умудренной опытом молодой женщины, обретающей смысл жизни в служении людям. Замужество, которым завершается ее история, Элизабет в чисто викторианском духе воспринимает тоже как служение.

В детально выписанном психологическом рисунке конфликта матери и дочери и духовной эволюции Элизабет сказывается школа психологического письма, пройденная Энн по произведениям отца. Здесь так же большую роль играет тщательная прорисовка внутренней жизни героев, передача их мыслей и чувств, непосредственных реакций на происходящее. Так же, как ее отец, писательница тяготеет к использованию предметов искусства как символов, позволяющих читателю лучше понять психологическую проблематику ее произведений.

Поставленный в связи с судьбой матери Элизабет вопрос о неспособности женщины на отказ от своего «я» и ее полном растворении в той чуждой ей среде, в которой она оказывается в результате опрометчивого замужества, получает

развитие в дальнейшем творчестве Энн Теккерей. Так, любительница светских развлечений Горация, героиня повести «Вдали от света» (1863), выходит замуж за уважаемого доктора Рича, ограничивающего контакты со светским обществом рамками медицинской практики. Из-за этого Горация чувствует себя несчастной и невольно отравляет жизнь мужу. В итоге оба глубоко разочаровываются в браке. После смерти Рича Горация возвращается к прежнему образу жизни, хотя оплакивает кончину мужа и даже винит себя в том, что ускорила ее. Вслед за отцом, любившим варьировать одни и те же сюжетные коллизии, Энн Теккерей также позволяет себе мнимые повторы: Горация, в начале повести производившая впечатление двойника Элизабет в самом начале ее истории, оказывается двойником Каролины, но при этом получает возможность исправить совершенную ошибку. По мнению писательницы, есть “people of the world” (Горация) и “people out of the world” (доктор Рич и его сестра Роберта). Энн убеждена, что человек способен меняться, но в ограниченных пределах, и его личностный склад не может и не должен подвергаться коренной ломке. Замужество для женщины – не обязательно дорога к счастью. Скептицизм в отношении брака Энн Теккерей связывала с положением женщины, которая, выходя замуж, становится «узницей в четырех стенах, занимающейся всякой ерундой» [Thackeray A. 1870: 305].

Тема замужества как неочевидного блага развивается во многих последующих сочинениях Энн Теккерей, например, в повести «Ключи Синеи Бороды» (февраль – июнь 1871 г.), относящейся к значительной группе произведений писательницы, представляющих собой перенесенные в реальность и модернизированные сюжеты известных сказок. Уставшей от бедности героине, которую зовут Фэнни, при поддержке сестрицы Энни и вопреки воле матери удается преодолеть соблазн брака с богатым и brutальным маркизом Энрико Оттавио Барби. В отличие от сказочной героини, Фэнни разочаровывается в браке с Барби еще до замужества, даже до того, как узнает о его грехах. В обрисовке этой героини Энн Теккерей вводит новый для сюжета мотив: Фэнни начинает бояться себя (“Fanny had begun to be afraid of herself” [Thackeray A. 1875a: 27]), опасаясь не устоять перед соблазном роскоши. Но у нее хватает силы духа решиться на расторжение помолвки.

Необходимо отметить, что в этой повести писательница проясняет одно из «темных мест»

сказочного сюжета. Жены Синеи Бороды лишались жизни за то, что обнаруживали в запретной комнате трупы своих предшественниц. Но за что в таком случае лишилась жизни его первая жена, что она обнаружила? Данное противоречие снимается благодаря оригинальному сюжетному ходу: из хранившихся в запретном сундуке писем Фэнни узнает грустную историю юной крестьянской девушки, ценой собственной гибели решившей спасти Барби от греха, когда он сошелся с будущей второй маркизой. И хотя Барби не убивал Люсетту, ее смерть целиком лежит на его совести. Вторая жена-Деньгоедка (урожденная Манжаскуди – только такая особа и могла польститься на богатства жестокого маркиза), полная противоположность лиричной Люсетте, была убита злодеем сознательно – она поплатилась за послушание и любопытство, за проникновение в тайну его первого греха.

Во второй части повести писательница проявляет еще большую оригинальность, дополняя сказочный сюжет. Здесь рассказывается о внутренних терзаниях Барби, который раскаивается в своих преступлениях и в какой-то мере одерживает победу над самим собой, отрешившись от мирской жизни и приняв монашеский сан. Братьями-спасителями в повести оказываются не родственники последней жены Синеи Бороды, но монахи. Прекрасная и отважная сестрица Энни получает заслуженную награду: выходит замуж за славного соотечественника-британца. Что касается Фэнни, то она осталась незамужней, что не помешало ей чувствовать себя счастливой. Энн Теккерей убеждена, что, став женой Барби, ее героиня была бы обречена на медленное угасание (“a slow extinction of life”) [ibid.: 30], и фактически как программное звучит ее заявление о том, что для женщины свобода не менее важна, чем вера и любовь [ibid.: 33].

Провозгласив свободу, самоуважение и возможность самореализации условиями женского счастья, Энн Теккерей переключает внимание на судьбы реальных успешных, нашедших себя в профессиональной творческой деятельности героинь. В течение первой половины 1875 г. писательница опубликовала роман «Мисс Энджел», в названии которого используется клише, характерное для обозначения викторианского идеала женщины, но в первую очередь обыгрывается имя героини, выдающейся художницы Анжелики Кауфман (1741–1807).

Источником фактографии для романа стало жизнеописание Кауфман, составленное скульптором Джованни Росси (1810) [Mackey 2010:

167]. Однако образ художницы рождается в воображении Энн Теккерей именно на основе ее замечательного портрета кисти Рейнолдса: роман открывается описанием гравюры с этого полотна. Писательница внимательно разглядывает изображение молодой женщины лет двадцати пяти - двадцати шести, неспешно перечисляя подробности ее внешности ("The face is peculiar, sprightly, tender, a little obstinate. The eyes are very charming and intelligent. The features are broadly marked; there is something homely and dignified in their expressions...") [Thackeray A. 1875b: 11]). Гравюра черно-белая, поэтому дает лишь приблизительное представление о портрете и оригинале, и вся книга строится по принципу дополнения, оживления этого образа в воображении писательницы. Примененный Энн Теккерей прием впоследствии неоднократно будет использован в киноискусстве, где добавляемый к черно-белой фотографии цвет «оживляет» и приводит в движение все, что на ней изображено (см., например, заставку к фильму «Хелло, Долли!» (режиссер Дж. Келли, 1969)).

Повествователь постоянно присутствует в тексте повести, глядя на реконструируемые события как бы со стороны и комментируя их. Благодаря этому происходит известное слияние образа художницы и личности автора, Энн Теккерей наделяет Ангелику собственными мыслями и чувствами, одновременно стремясь глубоко проникнуть в ее внутренний мир и создавая динамичный образ одаренной личности, проходящей путь от беспечной юности к творческой и женской зрелости, хронологически почти полностью совпадающий с пятнадцатилетним пребыванием художницы в Лондоне, где она выступила одной из учредительниц Королевской академии. На этот период выпадает и история первого замужества Ангелики, обернувшегося горьким разочарованием.

История этого брака, а также разрыв отношений между супругами описывается в повести в смягченных тонах. Ангелика показана ангелом кротости, не разменивающейся на упреки и даже помогающей мужу-обманщику избежать преследований и покинуть Англию при условии, что их жизненные пути никогда больше не пересекутся. При этом вопрос о том, как художница добилась развода, старательно обходится, зато акцентируются детали, связанные с вероисповеданием. Горн, настоящее имя которого было Фредерик Брандт, оказался двоеженцем. Будучи протестантом, он обвенчался в Швеции по католическому обряду, а на Ангелике женился по протестант-

скому, считая, что поступает совершенно закономерно. Используя эту ситуацию, Энн создает в повести образ талантливой женщины, в нравственном отношении стоящей выше окружающих ее мужчин. Любовь к отцу, литературная проекция отношений Энн и У. М. Теккерей, семейные ценности имеют для Ангелики важное значение, но именно творчество дает ей моральную опору и силы бороться с невзгодами и за свое счастье.

«Мисс Энджел» подсказала Энн модель для очерков о жизни других творческих личностей. Конечно, она была знакома с «Жизнями наиболее выдающихся английских поэтов» С. Джонсона и многое почерпнула из этого источника, но в фокусе ее внимания оказываются женщины-литераторы. В этом смысле ее непосредственной предшественницей следует назвать Элизабет Гаскелл как автора очерка о Шарлотте Бронте. Следуя примеру Гаскелл, Энн Теккерей писала о современницах, с которыми была хорошо знакома, – о самой Гаскелл [Thackeray Ritchie 1896], об Элизабет Барретт-Браунинг [Thackeray Ritchie 1892]. Однако ее новаторство заключается в том, что она начала публикацию очерков о писательницах недавнего прошлого, объединив их впоследствии в сборник «Книга сивилл» (1883). Тем самым она сделала решительный шаг в сторону создания истории женской литературы отдельно от мужской, пионером которой принято считать Эллен Моэрс [Moers 1976]. По крайней мере, можно утверждать, что Энн Теккерей живо интересовалась теми же проблемами, что и Моэрс век спустя, т. е. вопросы преемственности женского авторства, взаимовлияния женщин-писательниц и их текстовой коммуникации, а также возможность объяснения содержания их книг личным женским опытом писательниц.

Между Энн и героинями «Книги сивилл» – миссис Барбоу, Марией Эджуорт, миссис Опи и Джейн Остин – существовала временная дистанция, которая заставляла Энн превращаться в архивариуса, разыскивать подборки старых писем, рецензии в старых журналах. В век культуры научного факта она реконструировала биографии писательниц на строго документальной основе, дополняя объективную картину лирическими отступлениями о собственном восприятии книг, созданных этими сочинительницами. Благодаря этому биографические очерки, созданные Энн Теккерей, представляют собой сочетание объективного и субъективного подходов. Не случайно наиболее часто встречающимся глаголом в авторских комментариях Энн является *to seem*.

Все очерки, составившие «Книгу сивилл» (1883), публиковались ранее в «Корнхилл мэгэзин» [Thackeray Ritchie 1871, 1881, 1882, 1883], но были существенно изменены и дополнены для издания в виде сборника. Название этого первого монографического исследования женского творчества в истории английской литературы вызвало у хорошо знакомой с классикой читательской аудитории XIX в. ассоциации с античными книгами пророчеств. Однако Энн Теккерей вкладывала в название другой смысл. Для нее сивиллы – жрицы Аполлона, служительницы Искусства, поскольку существует легенда о том, что первая сивилла спустилась со склонов Геликона, где она жила в обществе Муз [Graf 2008: 62]. Тем самым писательница дает высочайшую оценку своим четырем соотечественницам, сыгравшим выдающуюся роль в превращении литературы из мужского мира в мир бигендерный и наметившим в своем творчестве тенденции, которые окрепли в середине XIX столетия.

Манера первых трех очерков книги отличается от манеры заключительного очерка о Джейн Остин, который скорее напоминает дневник восторженной читательницы и преимущественно состоит из цитат из романов писательницы и обсуждения особенностей ее стиля и живости созданных ею персонажей. Лишь в финальной части появляются сведения биографического характера и мастерски выполненный психологический портрет писательницы. Впрочем, это оправдывается тем, что Энн Теккерей не ставила знака равенства между литературными достижениями своих героинь, делая принципиальное различие между «пишущими женщинами», к которым она отнесла Барбоу и Опи, и «женщинами-писательницами» (Эджуорт и Остин), выдвигая два критерия дифференциации. Во-первых, это художественный уровень созданных ими произведений, определяемый точностью зарисовок, правдой изображенных характеров и красотой слога. Во-вторых, это проверенность временем: по-настоящему талантливое произведение переживает своего автора.

Не вполне понятно, почему в число сивилл не попала Фанни Берни, удостоившаяся лишь мимолетных упоминаний. Однако Энн, как всякий автор, имела право на отбор материала для осмысления. Возможно, Берни казалась Энн немного чужестранкой: она была француженкой по матери, получила образование во Франции и вышла замуж за французского генерала, тогда как типичным качеством сивилл Энн Теккерей является их британскость, доходящая до такой

степени, что Эджуорт, например, отказалась от брака с небезразличным ей шведом из-за того, что не могла представить себе отъезд с родины.

Для Энн Теккерей очень важна приверженность ее героинь семейным ценностям, их отношения с близкими. По понятным причинам ее больше всего интересовали духовные связи писательниц с отцами. Для нее было важно, что миссис Барбоу, урожденная Энн Летишия Эйкин, изучала языки и приобщалась к английской литературе под руководством своего отца, школьного учителя, и не слишком ладила с матерью [Thackeray A. 1883: 9]. Мария Эджуорт последовательно изображается как преданная дочь, преклонявшаяся перед отцом, рано потерявшая мать и трогательно дружившая со всеми тремя мачехами, которых ей послала судьба [ibid.: 52]. О миссис Опи сообщается, что она также рано осталась без матери и, будучи единственной дочерью «доброго и образованного врача», отвечала отцу нежной привязанностью и любовью на протяжении всей его жизни [ibid.: 153]. Исключением оказывается лишь Джейн Остин, дочь «умной и остроумной» матери и «пригожего» отца-стряпчего, для которой не было более близкого человека, чем сестра Кассандра [ibid.: 216; 218–219; 220].

Дочь викторианского джентльмена, как назвала У. М. Теккерей М. Форстер [Forster 1978], Энн Теккерей всю жизнь следовала кодексу поведения викторианской леди. Однако ей удалось отчасти осуществить бунтарскую мечту юности и состояться в качестве профессиональной писательницы, сумевшей выйти из тени великого отца и обрести собственный голос в литературе, пусть и не такой звонкий, как у ее знаменитых современниц [Проскурнин 2009], сыграв при этом важную роль в формировании концепции женской литературы.

Список литературы

Бурова И. И. Романы Теккерей. Становление реалистического психологизма в английской литературе середины XIX века. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. 144 с.

Васильева Э. В. «Ангел в доме»: викторианский идеал женщины и его рецепция в «Джейн Эйр» Ш. Бронте и «Мэри Бартон» Э. Гаскелл // Вестник С.-Петербург. ун-та. Сер. 9. 2014. Вып. 2. С. 38–44.

Проскурнин Б. М. Новый человек и новое время в романе Шарлотты Бронте «Джен Эйр» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 4. С. 51–62.

Теккерей У. М. Виргинцы: в 2 т. М.: Правда, 1961.

Anne Thackeray Ritchie: Journals and Letters / ed. A. Burnham, L. F. Shankman. Athens (Oh.): Ohio State Univ. Press, 1994. 371 p.

Aplin J. A True Affection: Anne Thackeray Ritchie and the Tennysons. Lincoln: The Tennyson Society, 2006. 70 p.

Aplin J. The Inheritance of Genius: A Thackeray Family Biography 1798–1919: in 2 vols. Cambridge: Lutterworth Press, 2010–2011.

Bloom A. B. Elizabeth Barrett Browning and Anne Thackeray Ritchie // Studies in Browning and His Circle. 1991. Vol. 19. P. 76–83.

Forbidden Journeys: Fairy Tales and Fantasies by Victorian Women / ed. N. Auerbach, U. C. Knoepfelmacher. Chicago; London: Univ. of Chicago Press, 1993. 380 p.

Forster M. William Makepeace Thackeray. Memoirs of a Victorian Gentleman. London: Secker & Warburg, 1978. 391 p.

Garnett H. Anny: A Life of Anne Thackeray Ritchie. London: Chatto and Windus, 2004. 322 p.

Gérin W. Anne Thackeray Ritchie: A Biography. Oxford: Oxford Univ. Press, 1981. 336 p.

Graf F. Apollo. New York; Abingdon: Routledge, 2008. 208 p.

Hill-Miller K. C. ‘The Skies and Trees of the Past’: Anne Thackeray Ritchie and William Makepeace Thackeray // Daughters and Fathers / ed. L. E. Boose, B. S. Flowers. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1989. P. 361–383.

Krueger Ch. L. Encyclopedia of British Writers, 19th and 20th Centuries. Infobase Publishing, 2009. 882 p.

Letters of Anne Thackeray Ritchie: With Forty-Two Additional Letters from Her Father, William Makepeace Thackeray / Selected and Edited by Her Daughter Hester Ritchie. London: John Murray, 1924. 314 p.

MacKey C. H. Biography as Reflected Autobiography: The Self-Creation of Anne Thackeray Ritchie // Revealing Lives. Autobiography, Biography, and Gender / ed. S. G. Bell, M. Yalom. Albany: State University of New York Press, 1990. P. 65–80.

MacKey C. H. Tradition, Convergence and Innovation. The Literary Legacy of Anne Thackeray Ritchie // Victorian Review. 2010. Vol. 36, No. 1. P. 164–184.

Moers E. Literary Women: The Great Writers. New York: Doubleday, 1976. 336 p.

Thackeray A. A Book of Sibyls. Mrs. Barbauld, Miss Edgeworth, Mrs. Opie, Miss Austen. London: Smith, Elder & Co, 1883. 229 p.

Thackeray A. Bluebeard’s Keys // Thackeray A. Bluebeard’s Keys and Other Stories by Miss Thackeray, Author of “Old Kensington,” etc. Leipzig: Bernard Tauchnitz, 1875a. P. 13–41.

Thackeray A. Jane Austen // Cornhill Magazine. 1871. No. 24 (August). P. 158–174.

Thackeray A. Little Scholars // Cornhill Magazine. 1860. Vol. 1, No. 5 (May). P. 549–558.

Thackeray A. Miss Angel: A Novel. New York: Harper and Brothers, 1875b. 142 p.

Thackeray A. Out of the World // The Writings of Anne Isabella Thackeray. New York: Harper Brothers, 1870. P. 305–323.

Thackeray W. M. The Letters and Private Papers of William Makepeace Thackeray: in 4 vols. / ed. G. N. Ray. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1946.

Thackeray Fuller H., Hammersley V. Thackeray’s Daughter: Some Recollections of Anne Thackeray Ritchie. Dublin: Euphorion, 1951. 182 p.

Thackeray Ritchie A. Miss Edgeworth // Cornhill Magazine. 1882. No. 46. Pt. 1–2. (October–November). P. 404–426; 526–545.

Thackeray Ritchie A. Mrs. Barbauld // Cornhill Magazine. 1881. No. 44 (November). P. 581–603.

Thackeray Ritchie A. Mrs. Gaskell // Cornhill Magazine. New Series. 1896. No. 21. P. 757–767.

Thackeray Ritchie A. Mrs. Opie // Cornhill Magazine. New Series. 1883. No. 1 (October). P. 357–382.

Thackeray Ritchie A. Robert and Elizabeth Barrett Browning // Harper’s Magazine. 1892. No. 504 (May). P. 832–855.

Zuckerman J. P. Anne Thackeray Ritchie as the Model for Mrs. Hilbery // Virginia Woolf Quarterly. 1973. Vol. 1, No. 3. P. 32–46.

References

Burova I. I. *Romany Tekkereija. Stanovljenje realističeskogo psihologizma v anglijskoj literature serediny XIX veka* [Thackeray’s novels. Formation of realistic psychological writing in the mid-19th century English fiction]. St. Petersburg, St. Petersburg University Press, 1996. 144 p.

Vasilieva E. V. “Angel v dome”: viktorianskij ideal zhenschini i jego recepcija v “Djein Eir” Sh. Brontje i “Meri Barton” E. Gaskell [“The Angel in the House”: Victorian female ideal and its reception in Ch. Brontë’s “Jane Eyre” and E. Gaskell’s “Mary Barton”]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta* [Vestnik of Saint-Petersburg University]. Series 9. 2014. Iss. 2. P. 38–44.

Proskurnin B. M. Novyj chelovek i novoe vremja v romane Sharlotty Bronte “Djein Eir” [The New

- Individuality and New Age in Charlotte Brontë's "Jane Eyre"]. *Vestnik Permskogo Universiteta. Serija: Rossijskaja i zarubezhnaja filologija* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology]. 2009. Iss. 4. P. 51–62.
- Thackeray W. M. *Virgintsi* [The Virginians: in 2 vols.]. Moscow: Pravda Publ., 1961.
- Anne Thackeray Ritchie: Journals and Letters* / Ed. A. Burnham, L. F. Shankman. Athens (Oh.): Ohio State Univ. Press, 1994. 371 p.
- Aplin J. *A True Affection: Anne Thackeray Ritchie and the Tennysons*. Lincoln: The Tennyson Society, 2006. 70 p.
- Aplin J. *The Inheritance of Genius: A Thackeray Family Biography 1798–1919*: In 2 vols. Cambridge: Lutterworth Press, 2010–2011.
- Bloom A. B. Elizabeth Barrett Browning and Anne Thackeray Ritchie. *Studies in Browning and His Circle*. 1991. Vol. 19. P. 76–83.
- Forbidden Journeys: Fairy Tales and Fantasies by Victorian Women* / Ed. N. Auerbach, U. C. Knoepfelmacher. Chicago; London: Univ. of Chicago Press, 1993. 380 p.
- Forster M. *William Makepeace Thackeray. Memoirs of a Victorian Gentleman*. London: Secker & Warburg, 1978. 391 p.
- Garnett H. *Anny: A Life of Anne Thackeray Ritchie*. London: Chatto and Windus, 2004. 322 p.
- Gérin W. *Anne Thackeray Ritchie: A Biography*. Oxford: Oxford Univ. Press, 1981. 336 p.
- Graf F. *Apollo*. New York; Abingdon: Routledge, 2008. 208 p.
- Hill-Miller K. C. 'The Skies and Trees of the Past': Anne Thackeray Ritchie and William Makepeace Thackeray. *Daughters and Fathers* / Ed. L. E. Boose, B. S. Flowers. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1989. P. 361–383.
- Krueger Ch. L. *Encyclopedia of British Writers, 19th and 20th Centuries*. Infobase Publishing, 2009. 882 p.
- Letters of Anne Thackeray Ritchie: With Forty-Two Additional Letters from Her Father, William Makepeace Thackeray* / Selected and Edited by Her Daughter Hester Ritchie. London: John Murray, 1924. 314 p.
- MacKey C. H. Biography as Reflected Autobiography: The Self-Creation of Anne Thackeray Ritchie. *Revealing Lives. Autobiography, Biography, and Gender* / Ed. S. G. Bell, M. Yalom. Albany: State University of New York Press, 1990. P. 65–80.
- MacKey C. H. Tradition, Convergence and Innovation. The Literary Legacy of Anne Thackeray Ritchie. *Victorian Review*. 2010. Vol. 36. No. 1. P. 164–184.
- Moers E. *Literary Women: The Great Writers*. New York: Doubleday, 1976. 336 p.
- Thackeray A. *A Book of Sibyls. Mrs. Barbauld, Miss Edgeworth, Mrs. Opie, Miss Austen*. London: Smith, Elder & Co, 1883. 229 p.
- Thackeray A. Bluebeard's Keys. Thackeray A. *Bluebeard's Keys and Other Stories by Miss Thackeray, Author of "Old Kensington," etc.* Leipzig: Bernard Tauchnitz, 1875. P. 3–41.
- Thackeray A. Jane Austen. *Cornhill Magazine*. 1871. No. 24 (August). P. 158–174.
- Thackeray A. Little Scholars. *Cornhill Magazine*. 1860. Vol. 1. No. 5 (May). P. 549–558.
- Thackeray A. *Miss Angel: A Novel*. New York: Harper and Brothers, 1875. 142 p.
- Thackeray A. Out of the World. *The Writings of Anne Isabella Thackeray*. New York: Harper Brothers, 1870. P. 305–323.
- Thackeray W. M. *The Letters and Private Papers of William Makepeace Thackeray*: In 4 vols. / Ed. G. N. Ray. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1946.
- Thackeray Fuller H., Hammersley V. *Thackeray's Daughter: Some Recollections of Anne Thackeray Ritchie*. Dublin: Euphorion, 1951. 182 p.
- Thackeray Ritchie A. Miss Edgeworth. *Cornhill Magazine*. 1882. No. 46. Pt. 1–2. (October-November). P. 404–426; 526–545.
- Thackeray Ritchie A. Mrs. Barbauld. *Cornhill Magazine*. 1881. No. 44 (November). P. 581–603.
- Thackeray Ritchie A. Mrs. Gaskell. *Cornhill Magazine. New Series*. 1896. No. 21. P. 757–767.
- Thackeray Ritchie A. Mrs. Opie. *Cornhill Magazine. New Series*. 1883. No. 1 (October). P. 357–382.
- Thackeray Ritchie A. Robert and Elizabeth Barrett Browning. *Harper's Magazine*. 1892. No. 504 (May). P. 832–855.
- Zuckerman J. P. Anne Thackeray Ritchie as the Model for Mrs. Hilbery. *Virginia Woolf Quarterly*. 1973. Vol. 1. No. 3. P. 32–46.

LITERARY GUISES OF ANNE ISABELLA THACKERAY,
A VICTORIAN LADY AND FEMINIST

Irina I. Burova

Professor in the Department of Foreign Literature
Saint Petersburg State University

Anne Isabella Thackeray has generally been known for introductions to her father W. M. Thackeray's works. It was only in the 1980s that her own fiction came in view of the Victorian literature historians who tended to regard it as Anne's faithful following her father's steps. The purpose of the article is to give an overview of Anne Thackeray's oeuvre as well as to reveal both Victorian and feminist trends manifested in her works. Anne Thackeray is shown in her different literary guises. As a prototype of two heroines of fiction, Theo Lambert in W. M. Thackeray's "The Virginians" and Mrs. Hilbery in V. Woolfe's "Night and Day", Anne Thackeray may seem a typical Victorian lady fitting the ideal of a woman of the day due to her willingness to serve her father and the rest members of the family. As an author of both essays and fiction, Anne acts as an independent thinker willing to change the world for the better. Her belief in a woman's ability to influence the world must have led her to writing about both fictional and real young women striving for happiness. The rejection of marriage as the only way to it adds a distinct feminist note to her stories. Having published "Miss Angel", a fictionalized biography of A. Kaufmann, Anne proceeded to essays about women writers, which later made up "A Book of Sibyls", the first attempt of history of women's writing, in so many ways antedating Ellen Moers' "Literary women".

Key words: history of English literature; Anne Isabella Thackeray; William Makepeace Thackeray; Victorian fiction; women's writing.

УДК 821.112.2

ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО СЪЕМНОЙ КАЗАРМЫ: МОТИВ ДОМА В РОМАНАХ «НОВОЙ ДЕЛОВИТОСТИ»

Ольга Александровна Дронова

к. филол. н., доцент кафедры зарубежной филологии и лингвистики

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина

392000, Тамбов, Интернациональная, 33. oa.dronova2014@yandex.ru

В статье рассмотрен мотив дома в романах «новой деловитости», реализуемый в образах отеля, съемной комнаты и съемной казармы. Материалом исследования стали романы Й. Рота «Отель Савой», Э. Кестнера «Фабриан» и И. Койн «Девушка из искусственного шелка». Изучение мотива дома в романах «новой деловитости» опирается на современные исследования пространственных образов в модернистской литературе, представляющей отель как тип пространства, идеальный для человека эпохи модернизма, существующего вне традиций. Пространственные образы отеля, съемной комнаты и съемной казармы близки по нескольким признакам. Помимо того что герой проживает в них временно, их объединяет отсутствие связи пространства дома и индивидуальности героя, ситуация разрыва с семейными традициями, проницаемость частного пространства, а также то, что это пространство моделирует особый тип взаимоотношений с людьми, сочетающий в себе близость и отстраненность. Мотив временного дома связан, с одной стороны, с мотивом постоянного движения героя «новой деловитости», а с другой – с мотивом ожидания, неспособности принять решение относительно своей будущей судьбы. В статье высказана гипотеза о том, что образ временного дома в «новой деловитости» предстает, скорее, как кризисный феномен, включающий в себя социальную и индивидуальную составляющие. Временный дом героев становится отражением переходной эпохи, в которую свобода и независимость героя сопряжены с одиночеством и бездействием.

Ключевые слова: роман; «новая деловитость»; модернизм; мотив дома; кризис; индивидуальность; мотив ожидания.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-94-102

Дом, домашний очаг, родовое гнездо – один из архетипических образов мировой культуры. Дом включен в ряд оппозиций своего и чужого, внешнего и внутреннего пространств. По мнению Ю. М. Лотмана, в нем концентрируются представления о «своем, безопасном, культурном, охраняемом покровительственными богами» пространстве [Лотман 2004: 313]. Важным архетипическим представлением является противоположность дома и «антидома» как пространства «чужого», попадание в которое может означать «временную смерть» [там же]. Образ дома играет огромную роль в культуре XIX в., бывшего, по мнению исследователей, «золотым веком приватности», воплощением которой служил дом бюргерской семьи [Fuhrmann 2008: 107]. Домашний очаг был средоточием жизни семьи, представлял собой важнейшую жизненную ценность. Европейский реализм с интересом вгля-

дывался в очертания домашнего быта современников, при этом вещный мир становился одним из важнейших способов выражения индивидуальности героя. Важное значение образ дома имеет для немецкой культуры, осмысленный в произведениях классических авторов – Гёте, Фонтане, Томаса Манна: дом стал для них пространством частной жизни, местом, где человек существует в системе родственных отношений, где история семьи и индивидуальность каждого ее представителя оставляет свои следы в жизненном укладе и деталях домашнего быта. Усиливающийся в культуре рубежа веков интерес к теме гибели дома не отменяет его восприятия как пространства гармонии и защиты, утрата которого знаменует собой трагедию.

Модернистская культура, воспринимающая разрушение традиционного жизненного уклада, переосмысление устойчивой системы ценностей

в послевоенном европейском обществе, обнаруживает интерес к новым пространствам бытия человека. Одним из таких новых пространств, совмещающих приватность как традиционную характеристику дома и анонимность как черту современного урбанистического стиля жизни, становится отель, ставший местом действия в прозе Франца Кафки, Томаса Манна, Эрнеста Хемингуэя, Йозефа Рота и других авторов. Представляя собой метаморфозу дома, в отличие от родового гнезда, отель становится временным пристанищем, не несущем на себе отпечатка истории семьи. Сохраняя такую черту дома, как приватность, пространство отеля утрачивает связь с индивидуальностью постояльца. Характерным свойством этого пространства становится возникающая в нем особая система коммуникаций: постояльцы находятся среди людей, но не имеют с ними личных взаимоотношений, сохраняя анонимность.

Исходя из этого, многие исследователи говорят об отеле как идеальном пространстве для человека модернистской эпохи, существующего вне традиций. По мнению американской исследовательницы Б. Маттиас, отель представляет собой «квинтэссенцию современного пространства», «пространства без свойств» [Mattias 2006: 6]. Постояльцы «движутся туда-обратно между частным, но, в конечном итоге, безличным пространством снимаемого номера и публичными залами фойе и других социальных пространств, они никогда не могут найти место, которое они могут назвать своим в трансцендентном смысле» [Mattias 2006: 7], в силу чего «положение гостя отеля становится символом экзистенциального отчуждения современного человека от всего, включая самого себя» [там же]. Как «пространство модернизма» характеризует отель и немецкий исследователь Н. Вихард, говоря о том, что это пространство несет в себе «неясность и пронизываемость» [Wichard 2007: 69]. Пространство временного пребывания постояльца отеля символически концентрирует в себе проблематику отчуждения современного индивидуума, его погруженность в аппарат бытия и, в конечном счете, его бездомность.

«Новая деловитость» – течение, доминировавшее в немецкой литературе 1920–начала 30-х гг., – была направлена на осмысление модернизации немецкого общества, затронувшей, так или иначе, все сферы частной и общественной жизни немцев. Большой интерес у авторов «новой деловитости» вызывают пространства, могущие быть, с нашей точки зрения, объединены признаком временности бытования героя в нем. Практически все герои «новой деловитости» живут либо на съемной

квартире, либо в отеле. Обладая своей спецификой, временные пространства жилья обнаруживают схожие черты: они подчеркивают ситуацию нестабильности, неустойчивости, в которой находится герой «новой деловитости», как правило, не имеющий прошлого или отвергающий его и не различающий контуров будущего. Так, помимо социальной составляющей, неизменно моделирующей пространство романа «новой деловитости» вслед за натурализмом, в художественном мире романов актуализируется оппозиция традиционного и современного жизненных укладов, одним из воплощений которого является временный дом героя.

Роль частного пространства в романах «новой деловитости» рассмотрена культурологом И. Лауффер («Поэтика частного пространства», 2011). Исследовательница отмечает важность дискурса о современном стиле быта в 20-е гг., о котором размышляли не только архитекторы, но и художники и писатели, отражением которого стали в том числе и романы «новой деловитости». основополагающая идея работы – связь между жилым пространством и идентичностью героя «новой деловитости», поскольку, по мнению И. Лауффер, несмотря на принципы деиндивидуализации и антипсихологизма, характерные для «новой деловитости», романы этого периода обращены именно к построению идентичности героя в модернизированном контексте, к «возможностям и трудностям, с которыми борется современный субъект, когда он пытается жить в этих новых формах и даже обрести в них свой дом» [Lauffer 2011: 72]. Рассматривая различные частные пространства – и отель, и дом, и комнату, Лауффер считает ключевым моментом потребность героя в собственном пространстве, обладая которым он способен выстроить отношения с самим собой и другими [ibid.: 315] и приходит к выводу, что создаваемые в романах З. Кракауэра, Й. Рота, Г. Фаллады, И. Койн и М. Кесселя частные пространства являются тем единственно возможным местом, где человек новой эпохи может построить новую идентичность в отрыве от традиций и общественных установлений.

С идеей исследовательницы о том, что образ частного пространства в романах «новой деловитости» очень важен для создания образа героя, следует несомненно согласиться. Вместе с тем, трактовка дома в работе Лауффер не лишена некоторой односторонности, поскольку в основном она обходит стороной кризисы, с которыми сопряжено существование персонажа в изображаемых «новой деловитостью» «современных» пространствах, а концентрирует внимание на

возможности быть в них независимым. Насколько попытки построения героями своей идентичности в «новой деловитости» могут быть названы успешными? Наиболее значимые романы этого течения так или иначе отражают проблему социальной и личностной деградации героя. Можно ли истолковать бытование героя в безликом пространстве временного жилья как построение собственной идентичности или, напротив, как растворение в анонимной массе, отказ от собственной истории и возможность строить прочные отношения с окружающими? На наш взгляд, романы «новой деловитости» балансируют между во многом противоположными оценками нового жизненного уклада в общественной и частной жизни и столь же противоречивой в них является трактовка мотива временного дома.

Одним из ранних осмыслений временного жилья в «новой деловитости» является образ отеля «Савой» в одноименном романе Йозефа Рота («Hotel Savoy», 1924). Стоит отметить, что сам Рот большую часть жизни прожил в гостиницах и в очерке «Прибытие в отель» («Ankunft im Hotel», 1929) пишет об отеле как о своей родине [Roth 1994: 3]. Вернувшийся из плена офицер австрийской армии Габриэль Дан останавливается в отеле «Савой» неназванного восточно-европейского городка, несмотря на то, что у него в этом городе есть родственники. Вначале герой воспринимает отель как свой дом, ведь он сулит европейский комфорт, а номер представляется ему таким же родным, как комната, где он провел свое детство. Привлекательность отеля для Габриэля Дана определяется возможностью полностью отрешиться от прошлого, сбросить свои прежние ипостаси. В тот момент, когда герой поднимается на лифте в свой номер, он мысленно оставляет свое прошлое где-то далеко внизу: «всю свою горечь, бедность, все свои странствия бездомного скитальца, свой голод и нищенское прошлое вниз, глубоко в пропасть, откуда они меня, вздымающегося все выше и выше, уже никогда больше не достигнут» [Roth 2012: 11]. В то же время жизнь в отеле дает герою ощущение безграничных возможностей: «Я мог явиться в отель «Савой» с одной рубашкой и покинуть его в качестве владельца двадцати чемоданов, оставаясь неизменным Габриэлем Даном» [там же]. Таким образом, отель – это идеальное пространство для человека, живущего здесь и сейчас, отбрасывающего свое прошлое как маску, но остающегося при этом самим собой.

Габриэль Дан так или иначе родственен всем героям раннего Йозефа Рота, которых Т. Хартманн называет «идеальными скитальцами» [Hartmann

2006: 168]. Они находятся в состоянии движения между европейскими странами, бегства от собственного прошлого, движения, не имеющего конкретной цели. Бездомность героев Рота получает различное истолкование в исследованиях его творчества. Так, В. Седельник отмечает, что героям ранних романов Рота свойственна «меланхолическая, с налетом фатализма, эйфория обреченного на бегство без конца» [Седельник 2003: 175]. Хотя их странничество «большой частью вынужденное, но частично и добровольное», Седельник склонен оценивать ситуацию героя Рота как трагическую: «растерянность, смятение, обреченность на блуждание в непонятном, враждебном мире» [там же: 176]. Другие авторы интерпретируют странничество героев Рота преимущественно как сознательный выбор. Так, В. Мюллер-Функ видит основу мировоззренческой позиции Рота в том, что его герои способны к постоянному изменению и развитию: «Так субъективность становится возможной только там, где человек ни в сфере теории – как интеллектуал, ни практики – как буржуазный филистер не определяет своего места...» [Müller-Funk 2012: 54]. Эту идею поддерживает и Т. Хартманн, утверждая, что «бесприютность» героев Рота, особенно героев его ранних романов, «не только трансцендентная, но и практическая бездомность» получают «позитивную коннотацию» [Hartmann 2006: 169]. Инес Лауффер, говоря об отеле «Савой», также склонна оценить его как единственное пространство, где можно вести частную жизнь – как «убежище от частных, семейных и общественных установлений» [Lauffer 2011: 172], где Дан смог исполнить свою мечту – стать писателем, наблюдающим за жизнью других, ведь его отчеты о посетителях для миллионера Блумфельда подобны романам.

С другой стороны, пространство отеля в романе «Отель Савой» получает достаточно противоречивую оценку именно в связи с категорией свободы. Да, постоялец лишается здесь связи с собственным прошлым, семьей и всеми обязательствами. Но полную свободу герой ощущает только в первые часы пребывания в отеле. Проснувшись вечером в день прибытия в своем номере, Дан видит на его двери объявление о правилах поведения от владельца гостиницы – таинственного Калегуропулоса. Это объявление немедленно разрушает ощущение укрытости частного пространства комнаты: Дан не может жить в ней по своему распорядку. Пространство отеля «Савой» четко отражает социальную иерархию: нижние этажи заняты обеспеченными клиентами, а наверху живут бедняки. Сам Дан обитает на шестом этаже, а всего их семь, лишь

небольшая грань отделяет его от нищеты. Нижние этажи не только отличаются своим убранством, часы показывают там другое время – по хитрости Калегуропулоса они отстают, ведь богачи располагают временем. На седьмом этаже, где живут танцовщица Стасия и клоун Санчин, помещение напоминает чем-то зловещие пространства Кафки, в каждое мгновение меняющие свои пропорции. Отель «Савой» таким образом становится не пространством независимости, а моделью общества в миниатюре, в котором невозможно укрыться от социального неравенства.

Проницаемость частного пространства связана с тем, что постояльцы живут в непосредственной близости, наблюдая друг за другом. Дан слышит шаги Стасии на потолке своей комнаты, и потолок кажется ему прозрачным. Сам он ловит на себе постоянно зловещий взгляд лифтера Игнаца, который и является тем самым владельцем гостиницы, таинственным Калегуропулосом, и присутствие которого заставляет Дана испытывать неловкость в отношениях со Стасией. Внутри своего номера бедняки не могут управлять собственным вещным миром: в их номерах проводятся ревизии и изымаются запрещенные вещи, кроме того, они опасаются воров. Поэтому вещи обитателей отеля не имеют своего постоянного места: так, Стасия прячет в своей комнате запрещенную спиртовку каждый день в разные места – в коробку из-под шляпы или в муфту. У Санчиных вещи кочуют по каморке, и ее хозяйка постоянно занята то поиском спичек, то ключей. Вещи используются не по назначению – так, жена Санчина спарывает его бритвой пуговицы, а чай приходится запиравать от воров в чемодане. Таким образом, порядки Калегуропулоса не только не позволяют упорядочить мир частного пространства, а, наоборот, вносят в него хаос, заставляя постояльцев искать способы их избежать. Даже после смерти Санчина правила отеля вносят абсурдность в происходящее: мертвое тело не может находиться в нем, поэтому гроб с телом Санчина лежит позади сцены театра варьете. Все это в восприятии Дэна превращает обитателей отеля в его заключенных. Метафора тюрьмы усиливается тем, что жильцов зовут не по именам, а по номерам их комнат. Но главным образом несвободы становятся чемоданы, обвитые цепью и запертые на ключ, – Игнац заставляет должников отдавать чемоданы в залог до тех пор, пока должник не расплатится.

Так постепенно отель приобретает черты антидома, дома смерти, особенно после смерти Санчина, заставившей Дана проникнуться ненавистью к нему: «...то, что было наверху, находилось внизу, похороненное в могилах, могилы же

покоились над уютными комнатами людей сытых, сидевших внизу, пользующихся удобствами и не стесненных наскоро сколоченными гробами» [Рот 2012: 35].

Помимо темы несвободы, другая важная тема романа, непосредственно связанная с пространством отеля, – это проблема одиночества героя и его связей с окружающими. Семейные узы отвергаются Даном, он нерешителен в отношениях со Стасией, но одиночество вовсе не является его сознательным выбором. Более того, Дан тяготеет им, так как оно лишает смысла практически любое решение или поступок, прежде всего, возвращение домой – ведь героя никто не ждет. Говоря со Стасией о своем писательстве, Дан называет одиночество причиной того, что он не может писать: «Я сам не знаю, что я такое. Раньше я собирался стать писателем, но пришлось пойти на войну, и мне кажется, что теперь писать бесцельно. Я человек одинокий и не могу писать за всех» [там же: 24]. Именно война заставила Дана осознать собственное одиночество перед лицом смерти, и он так и не смог избавиться от этого ощущения. Глядя на толпы вернувшихся с войны, Дан испытывает горечь из-за того, что все они похожи друг на друга, и он не смог бы узнать человека, который был на фронте рядом с ним. В беседе с революционером Звонимиром Пансиным, которого Дан считает своим другом, Дан признается, что его не волнуют социальные преобразования, ведь он одиночка, и связывает это чувство с опытом войны: «Я одинок. Сердце мое бьется только из-за меня одного... я человек холодный. На войне я не чувствовал своей солидарности с товарищами по отделению. Все мы валялись в одной и той же грязи, и все ждали одинаковой смерти. Я же мог думать только о своей собственной жизни и о своей собственной смерти» [там же: 68]. Дан испытывает чувство вины из-за того, что на войне привык к страданиям других и они не вызывали в нем должного отклика или боли.

Вопрос Звонимира заставляет Дана осознать, что если он и живет в мире отношений, то это отношения с обитателями отеля «Савой», потому что он разделяет их судьбу. То есть Дан ощущает себя частью некой общности, хотя его отношения с постояльцами нельзя назвать дружбой или любовью. Дан одновременно чужой им и в то же время живет с ними бок о бок, что определено своеобразием отеля как пространства жизни. Он испытывает тоску по Стасии, но она для него как будто лишена индивидуальности: «на свете существует много девушек с каштановыми волосами, большими серыми, умными глазами и длинными темными ресницами, маленькими

ножками в серых чулках» [Рот 2012: 58]. Когда Дан находит случайную работу грузчика вместе со Звонимиром, ему представляется, что он больше не эгоист, потому что разделяет тяжелый труд с другими носильщиками. Вместо живых человеческих отношений Дан способен лишь ощущать себя частью какой-то группы, участвуя в коллективном опыте, чувствуя себя не вместе с ними, но одним из них.

Отель обладает странной властью над героем, который несколько раз порывается уехать, но расстанется с ним только тогда, когда отель сгорает во время восстания. Временная остановка героя на его пути грозит превратиться в постоянное состояние, поскольку эта неустойчивость положения дает оправдание пассивности, лишая смысла любые прочные отношения и в то же время давая ощущение возможности в любой момент все изменить. Поэтому помимо отеля герой проводит время на вокзале, вблизи движения, или смотрит вместе со Звонимиром за уходящими возвращенцами, испытывая иллюзию того, что движется вместе с ними. Таким образом, в романе Рота отель предстает не столько как пространство, где герой сознательно выбирает свободу и независимость от условностей. С учетом того что перед нами человек, мотивация жизнестроительства которого обесценена опытом войны, тяготящегося одиночеством и откладывающего момент выбора в пользу того или иного пути, то этому состоянию героя отель соответствует как место, где возможно вечное ожидание, избавление от которого происходит лишь в силу обстоятельств.

Происходящие в период Веймарской республики модернизация и технизация всех сфер жизни затронули в том числе и архитектуру, и устройство дома. Именно на 20-е гг. приходится деятельность объединения Баухауз, выдвинувшего принцип функционализма во главу угла. Огромное влияние оказывали на современный быт в целом идеи французского архитектора Ле Корбюзье, с простыми геометрическими формами, открытыми и светлыми внутренними пространствами. О философии современного интерьера много рассуждал Вальтер Беньямин в работах 1920–30 гг. Одним из лейтмотивов его рассуждений является традиционно оставляемый в интерьере «след» владельца дома. Сама идея «следа» взята Беньямином, как он пишет в эссе «Жить без следа», из стихотворения Бертольда Брехта «Не оставляй следов»:

Отстань от товарищей на вокзале,
Застегнув пиджак, беги раненько в город.
Сними квартиру и, когда постучит товарищ,
Не открывай, о, не открывай дверей.

Наоборот.
Не оставляй следов.

Встретив родителей в городе Гамбурге или
еще где,
Мимо пройди, как чужой, за угол заверни,
не узнав.

На глаза натяни шляпу, подаренную ими.
Не показывай, о, не показывай лица.
Наоборот.

Не оставляй следов ... [Брехт 1972: 83]

Стихотворение Брехта дает наставления современнику – жителю большого города – избегать любых связей, порвать с друзьями и родными. Важной деталью его внешнего облика становится шляпа, позволяющая всегда скрыть свое «я» и в любой момент встать и уйти – ведь этот городской житель находится в постоянном движении. Этому движению соответствует и мотив временного жилья: если в первой строфе дается совет снять квартиру, то в третьей говорится о том, что нужно заходить в любой дом во время дождя и садиться на любой стул, но «не засиживаться». Мотив «стирания следов» означает полное отречение от своего «я», требующее даже не иметь могильного камня с именем и датой смерти, которые могут «выдать» владельца.

В эссе «Жить без следа» Беньямин говорит о том, что жилье в XIX в. полностью носило на себе отпечаток владельца, что выражалось в мелких деталях, создающих уют, – например, покрывала с вышитыми монограммами. В этой обстановке человек оказывался во власти привычки, которую был вынужден продолжать, а любая незначительная поломка какого бы то ни было предмета воспринималась как «стирание» следа собственной жизни. Современная архитектура, использующая стекло и металл, делает «оставление следа» не таким простым. Беньямин не идеализирует быт прошедших эпох, он лишь констатирует изменения, привнесенные новой архитектурой [Benjamin 1991: 427–428]. В работе «Париж, столица девятнадцатого столетия» (1935) Беньямин вновь возвращается к идее «следа»: «Жить – значит оставлять следы. В интерьере они подчеркнуты» [Беньямин 1996: 153].

О другой важной метаморфозе современного жилья Беньямин пишет в работе «Возвращение фланера» («Die Wiederkehr des Flaneurs», 1929). Для современного фланера, бродящего по улицам Берлина, стирается граница между пространством внутренним и внешним, улица для его «беспокойного существа», для «незаметного прохожего с достоинством священника и чутьем детектива» – это его дом. И в этом Беньямин усматривает «сигнатуру» меняющегося времени

– если раньше на первом месте стояла «укрытость» дома, то в современной архитектуре должна преобладать прозрачность, транспарентность [Benjamin 1991: 196–197].

Проблема связи героя и его дома, как и проблема границы и транспарентности жилища, играют важную роль в конструировании домашних пространств в романах «новой деловитости». Впрочем, если у Бенямина речь идет о сознательном стирании этой границы внешнего мира и выборе более современного пространства жизни, то в романах «новой деловитости» эти приметы часто выдают кризисное состояние героя.

Ближе всего к типу фланера, для которого городское пространство в большей степени его дом, нежели его комната, – Якоб Фабиан, герой одноименного романа Эриха Кестнера. Фабиан снимает «чужую, богом забытую комнату» [Kästner 2005: 46] у вдовы Хольфельд, в которой кроме книг нет никаких деталей, подчеркивающих его «след» в этом пространстве. Приехавшая из провинции подруга Фабиана, Корнелия, не готова к образу жизни, в котором частное пространство лишено индивидуальных черт и своей истории, и поэтому испытывает страх перед новым жильем, в котором «не отзывается эхом» никакое слово или воспоминание [ibid.: 101]. Фабиан шутит о том, что посылает самому себе каждый день срочную телеграмму с текстом «Вставай с кровати», чтобы его разбудила из-за нее квартирная хозяйка. Отношения, возникающие в пространстве съемного жилья, сродни тем, которые строятся в пространстве отеля: простые бытовые ритуалы частной сферы заменены формальными отношениями с хозяйкой и соседями, совмещающими в себе близость и отчужденность. Комната в Берлине превращается в некое подобие дома, лишь когда Фабиана посещает мать. Пространство дома, таким образом, открыто и проницаемо для чужих глаз. Стертость границы частной жизни в романе Кестнера обозначена и тем, что дом оказывается открытым для постоянного шума, звуков большого города. Даже читая книгу, Фабиан продолжает наблюдать за городским движением. Он не укрывается в своей комнате, напротив, в горькие минуты покидает свой дом и отправляется бродить или ездить по Берлину. Желание куда-то двигаться, уехать на какой-то момент становится для героя утешением, но на самом деле положение героя остается неизменным. Бесцельное движение – просто другая сторона ожидания, обратная сторона стагнации, так как смена пространств ничего не меняет в состоянии Фабиана.

Одной из наиболее важных проблем романа «Фабиан» – как и в романе «Отель Савой» и в

«новой деловитости» в целом – является проблема ожидания, обусловленного личным кризисом героя и кризисным состоянием мира. В романе Кестнера присутствует образ «зала ожидания», характеризующего состояние всей Европы, замершей перед чем-то страшным. Фабиан и оправдывает свое бездействие кризисом, и тяготеет собственной пассивностью, а его временный дом становится пространством, отражающим это состояние.

Образ зала ожидания – один из центральных пространственных образов в романе И. Койн «Девушка искусственного шелка» («Das kunstseidene Mädchen», 1932), героиня которого также оказывается не в силах выбрать свое будущее. Название этого романа изначально звучало как «Девушка без пристанища», поскольку на протяжении всего романа Дорис тоскует «по настоящему дому» [Keun 2000: 131]. После бегства из родного города героиня оказывается в зале ожидания на берлинском вокзале Цоо, так и не обретя своего дома в Берлине. Подобно другим временным домам в «новой деловитости», в романе Койн пространство частного жилья также не предстает закрытым. Уже в первом эпизоде, когда героиня решает вести дневник, чтобы писать обо всех кажущихся ей особенными событиях своей жизни, комната в её воображении представляется чем-то вроде сцены. После переезда такой сценой становится весь Берлин, резко контрастирующий с пространствами временного дома, в которых оказывается героиня. Дорис вынуждена жить в крохотных каморках своих знакомых, так что пространство приватности съживается до минимума, а интерьер его предельно скромнен и лишен индивидуальных знаков. Если берлинский экстерьер – это пространство игры, «блеска» и роскоши, которыми героиня не перестает восхищаться, то интерьер – это место, где в условиях предельной скученности открывается все неприглядное. В городе Дорис полностью растворяется во впечатлениях от людей, витрин, вывесок, кафе, дающих ей ощущение собственной значимости. Внутри комнаты она сталкивается с одиночеством, нищетой, преступлением и отчаянием. Как и у других авторов, пространство дома здесь не предстает как место защиты, напротив, все трагедии происходят в этих крошечных комнатах. Контраст между внешним и внутренним пространствами особенно ощутим в эпизодах, посвященных слепому соседу Дорис, Бреннеру, квартира которого фактически ограничена кухней. Но жизнь в мебелированной комнате в представлениях Дорис еще хуже, ведь здесь становишься «подлым образом» одинокой [ibid.], и Дорис не знает, как ей жить в полном

одиночестве, «без заботливых слов и звуков» [Keun 2000: 135].

Дорис хочет почувствовать свою принадлежность не просто какому-то дому, но большому городу в целом. Подобно другим авторам, Койн пишет о том, что в пространстве большого города каждый человек ощущает свою потерянность: «Берлин великолепен, но он никому не дает чувства родины, ведь он закрыт» [ibid.: 88]. Схожие мысли находим у М. Кесселя в романе «Фиаско господина Брехера» («Herrn Brechers Fiasko», 1932): «Во многих городах Германии можно жить, чтобы чувствовать себя его частью и под его защитой, Берлин же это особый случай, он всегда будет тенью противником, которого нужно быть достойным» [Kessel 1956: 323].

Особую роль пространство дома играет в романах, где речь идет не о героине-одиночке, а о жизни семьи. Нехватка жилья была одной из наиболее острых социальных проблем в период Веймарской республики. Бедные слои населения жили на съемных квартирах, и часто на небольшом пространстве ютились многие члены семьи, представители разных поколений, родственники, иногда другие квартиранты. В пролетарских семьях такое положение вещей существовало и до войны, но для бюргеров подобные условия были показателем снижения их социального статуса. Социальные романы «новой деловитости» обращаются к проблеме, когда в условиях чрезмерной, противоестественной близости нарушаются связи между членами семьи, акцентируется мотив лжи и сокрытия истины.

Практически во всех социальных романах «новой деловитости» присутствует образ съемной казармы – дешевых квартир для самых бедных, который вызывает ужас у героев не столько из-за скудной обстановки, сколько из-за полной утраты приватности, если придется жить в этом пространстве. Описание съемной казармы есть и в романах И. Койн, и в романе «Маленький человек – что дальше» Г. Фаллады; этот образ является центральным в романе Э.Э. Нота, так и называющемся «Съемная казарма» («Die Mietskaserne», 1931), где казарма – это антидом, который держит всех своих обитателей в плену нищеты. Отсутствие частного пространства в съемной казарме ведет к отказу от права на индивидуальность, растворению в массе, погружению в нищету. Если съемная квартира выступает как пространство, где индивидуальность растворяется в анонимных структурах, то съемная казарма – это место, где она обречена на деградацию.

Таким образом, пространства временного жилья в большинстве романов «новой деловитости»

становятся многоплановым отражением кризисности эпохи: в социальном плане они, как правило, свидетельствуют о нищете, в психологическом – выражают кризис индивидуальности в современном массовом обществе. Безликость этих пространств означает для героя отказ от традиций, от прошлого и своей семьи, существование целиком здесь и сейчас или постоянное движение, говоря словами Йозефа Рота, «бегство без конца». Благодаря этому герой обретает в них определенную независимость, но она сопряжена с одиночеством и бездействием. Герой «новой деловитости» постоянно воспринимает свое положение как временное, что не дает ему возможности выстраивать прочные отношения с окружающими, а также строить определенные планы на будущее. Мотивом, объединяющим все частные пространства в романах «новой деловитости», становится мотив ожидания, сближающий героя, находящегося в растерянности, с обществом в целом, переживающим переходный период.

Список литературы

Беньямин В. Париж, столица девятнадцатого столетия // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / предисл., сост., пер. и примеч. С.А. Ромашко. М.: Медиум, 1996. С. 141–162.

Брехт Б. Стихотворения. Рассказы. Пьесы / пер. с нем. М.: Худож. лит., 1972. 815 с.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2004. С. 150–390.

Рот Й. Отель Савой / пер. с нем. Г. Генкеля. М.: Ad Marginem, 2012. 128 с.

Седельник В. «Бегство без конца». О прозе Йозефа Рота // Вопросы литературы. 2003. № 5. С. 174–198.

Benjamin W. Die Wiederkehr des Flaneurs / Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. III. Kritiken und Rezensionen. Frankfurt/M: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1991. S. 194–199.

Benjamin W. Spurlos wohnen/ Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. IV. Kleine Prosa. Baudelaire Übertragungen. Frankfurt/M: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1991. S. 427–428.

Fallada H. Kleiner Mann – was nun? Berlin, Weimar: Aufbau, 1982. 422 S.

Fuhrmann B., Wencke M., Rajkay B., Weipert M. Geschichte des Wohnens. Vom Mittelalter bis heute. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008. 160 S.

Hartmann T. Kultur und Identität. Szenarien der Deplatzierung im Werk Joseph Roths. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag, 2006. 213 S.

Kästner E. Fabian. Die Geschichte eines Moralisten. München: Deutsche Taschenbuch Verlag, 2005. 246 S.

Kessel M. Herrn Brechers Fiasko. Berlin, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1956. 486 S.

Keun I. Das kunstseidene Mädchen München: List Taschenbuch, 2000. 219 S.

Lauffer I. Poetik des Privattraums. Der architektonische Wohndiskurs in den Romanen der Neuen Sachlichkeit. Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. 352 S.

Mattias B. The hotel as setting in early 20th century German and Austrian literature. Checking in to tell a story. N.Y.: Camden House, 2006. 252 p.

Müller-Funk W. Joseph Roth. Besichtigungen eines Werkes. Wien: Sonderzahl Verlagsgesellschaft m.b.H., 2012. 202 S.

Noth E.E. Die Mietskaserne. Darmstadt: Verlag Huber Frauenfeld, 1982. 319 S.

Roth J. Ankunft im Hotel / Roth J. Werke Bd. 3. Das journalistische Werk 1929–1939. Frankfurt am Main und Wien: Büchergilde Gutenberg, 1994. S. 3–6.

Wichard N. Wohnen und Identität der Moderne. Das erzählte Hotel bei Fontane, Werfel und Vicky Baum// Kohns O., Roussel M. Einschnitte. Identität in der Moderne. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007. S. 67–83.

References

Benjamin W. Parizh, stolica devjatnadcatogo stoletija [Paris, capital of the nineteenth century]. Benjamin W. *Proizvedenie iskusstva v jepohu ego tehničeskoy vosproizvodimosti* [The work of art in the age of mechanical reproduction]. Introduction, compilation, translation and notes by S. A. Romashko. Moscow, Medium Publ., 1996. P. 141–162.

Brecht B. *Stihotvorenija. Rasskazy. P'esy* [Lyrics. Stories. Plays]. Translated from German. Moscow, «Hudozhestvennaja literatura» Publ., 1972. 815 p.

Lotman Ju.M. Vnutri mysljashhiv mirov [Inside the thinking worlds]. Lotman Ju.M. *Semiosfera* [Semiosphere]. St. Petersburg, «Iskusstvo – SPB» Publ., 2004. P. 150–390.

Roth J. *Otel' Savoj* [Hotel Savoy]. Transl. from German by G. Genkel'. Moscow, Ad Marginem Publ., 2012. 128 p.

Sedel'nik V. «Begstvo bez konca». O proze Jozefa Rota[“Endless flight”. On Joseph Roth's prose]. *Voprosy literatury*. 2003. № 5. P. 174–198.

Benjamin W. Die Wiederkehr des Flaneurs [The return of the Flaneur]. Benjamin W. *Gesammelte Schriften. Bd. III. Kritiken und Rezensionen* [Col-

lected works. Part III. Criticism and reviews]. Frankfurt/M: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1991. P. 194–199.

Benjamin W. Spurlos wohnen [To live without leaving traces]. Benjamin W. *Gesammelte Schriften. Bd. IV. Kleine Prosa. Baudelaire Übertragungen* [Collected works. Part IV. Little prose. Baudelaire]. Frankfurt/M: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1991. P. 427–428.

Fallada H. *Kleiner Mann – was nun?* [Little man, what now?]. Berlin, Weimar: Aufbau, 1982. 422p.

Fuhrmann B., Wencke M., Rajkay B., Weipert M. *Geschichte des Wohnens. Vom Mittelalter bis heute* [History of living. From the Middle Ages till now]. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008. 160 p.

Hartmann T. Kultur und Identität. Szenarien der Deplatzierung im Werk Joseph Roths [Culture and identity. Scenarios of displacement in works by Joseph Roth]. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag, 2006. 213 p.

Kästner E. Fabian. Die Geschichte eines Moralisten [Fabian. The story of a moralist]. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005. 246 p.

Kessel M. *Herrn Brechers Fiasko* [Mr. Brecher's fiasco]. Berlin, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1956. 486 p.

Keun I. *Das kunstseidene Mädchen* [The artificial silk girl]. München: List Taschenbuch, 2000. 219 p.

Lauffer I. *Poetik des Privattraums. Der architektonische Wohndiskurs in den Romanen der Neuen Sachlichkeit* [Poetics of the private space. The architectural living discourse in novels of the “new objectivity”]. Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. 352 p.

Mattias B. *The hotel as setting in early 20th century German and Austrian literature. Checking in to tell a story*. NY: Camden House, 2006. 252 p.

Müller-Funk W. Joseph Roth. Besichtigungen eines Werkes [Joseph Roth. Survey of works]. Wien: Sonderzahl Verlagsgesellschaft m.b.H., 2012. 202 p.

Noth E.E. Die Mietskaserne [The rented barrack]. Darmstadt: Verlag Huber Frauenfeld, 1982. 319 p.

Roth J. Ankunft im Hotel [Arrival in the hotel]. Roth J. *Werke. Bd. 3. Das journalistische Werk 1929-1939* [Works. Volume 3. Journalist writings 1929-1939]. Frankfurt am Main und Wien: Büchergilde Gutenberg, 1994. P. 3–6.

Wichard N. Wohnen und Identität der Moderne. Das erzählte Hotel bei Fontane, Werfel und Vicky Baum [Living and identity of modernity]. Kohns O., Roussel M. *Einschnitte. Identität in der Moderne* [Insights. Identity in modernism]. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007. P. 67–83.

**FROM THE HOTEL TO THE RENTAL HOUSING:
THE MOTIF OF HOME IN NOVELS OF THE “NEW OBJECTIVITY”**

Olga A. Dronova

**Associate Professor in the Department of Foreign Philology and Linguistics
Tambov State University**

The article examines the motif of home in novels of the “new objectivity”, which is embodied in images of a hotel's room, a room to rent and rental barracks. In the course of research we studied the novels “Hotel Savoy” by J. Roth, “Fabian” by E. Kastner and “The artificial silk girl” by I. Keun. The research into the motif of home in novels of the “new objectivity” is based on modern studies on spatial structures in modernist literature, which consider a hotel as a type of space perfect for the man of the modern era, who is living outside of the existing traditions. The images of the hotel, rental room and barracks are close due to several common features: the hero is living there temporarily; there is no connection between the space of the house and the hero's individuality; living there means breaking with family tradition; these spaces make privacy permeable and establish the type of relationship between people combining intimacy and detachment. The motif of the temporary house is connected, on the one hand, with the motif of the hero's constant movement and, on the other hand, with the motif of waiting, the hero's inability to make a decision about his future. The article puts forward the hypothesis that the image of the temporary home appears in the “new objectivity” as a crisis phenomenon, which includes social and individual components. The heroes' temporary house reflects the era of transition, when the freedom and independence of the hero are associated with loneliness and inaction.

Key words: novel, “new objectivity”; modernism; motif of home; crisis; individuality; motif of waiting.

УДК 821.161.1-3(АСЕЕВ Н.)«19»

ЭСТЕТИКА НЕОБЫЧАЙНОГО В КНИГЕ Н. АСЕЕВА «ПРОЗА ПОЭТА»

Татьяна Сергеевна Дубровских

аспирант кафедры русского языка и литературы

Южно-Уральский государственный университет

454080, Челябинск, пр. Ленина, 76. dubro2@mail.ru

Колоссальный исторический передел 1920-х гг. катализирует стремление искусства раздвинуть границы эмпирического отражения реального мира. Социально-политические, научно-технические, личностно-психологические изменения революционной эпохи требуют адекватного их беспрецедентному характеру эстетического воплощения. Литературный процесс переходного времени закономерно актуализирует художественный потенциал фантастического допущения. Малая проза Николая Асеева, представителя футуристического движения и впоследствии члена группы ЛЕФ, демонстрирует выразительное претворение вариативных приемов эстетики необычайного. Новеллистическая книга футуриста-лефовца «Проза поэта», аккумулирующая рассказы и очерки постреволюционных лет, оказывается, вопреки позитивистскому постулату «литературы факта», насыщенной разнообразными элементами фантастики – от футурологических конструкций рациональной посылки до комических форм гротескного преувеличения. Пространство изучаемого произведения содержит прямые и косвенные отсылки к творчеству западных и отечественных писателей, организуя широкий фантастический контекст. Прием включения в повествование заведомо неправдоподобного становится в рамках ансамблевого объединения одним из ведущих интеграционных факторов, определяющих сложные системные отношения отдельных частей книги в пределах синтетической литературной модели. Продуцируя фантазмагорические миры будущего и рисуя небывалые образы прошлого, автор исследует новый тип отношений человека и окружающей действительности через призму фантастической условности.

Ключевые слова: Николай Асеев; новеллистика; футуризм; поэтика фантастического; научная фантастика; гротеск.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-103-111

Представления современной отечественной науки о футуристическом направлении и его внутренних художественных группировках складываются в устойчивую и целостную научную картину. Тем не менее филология продолжает вести актуальные исследования эстетического сознания 1910–1920-х гг. и заполнять лакуны, связанные с искусством русского авангарда. К числу недостаточно изученных страниц насыщенного литературными событиями начала XX в. относится и прозаическая практика поэта Николая Асеева, признанного деятеля отечественного футуризма. Рассказы автора, созданные в течение первого пореволюционного десятилетия, демонстрируют синтетическую реализацию конструктивно-значимых принципов искусства «неуклонной измены своему прошлому»

(«Труба марсиан» [Литературные манифесты 1929: 83]) и «упоительной переделки лица земли» («Писательская памятка» [Литература факта 2000: 9]). Идеино-содержательная организация новеллистики одного из наиболее ярких и самобытных писателей переходной эпохи отражает стремление постичь законы будущего через отторжение логики старого мира, опираясь на развернутую поэтику необычайного.

Как известно, первые годы советского литературного процесса становятся знаковым этапом на пути формирования «рационально-фантастического» канона национального образца, периодом интенсивного освоения зарубежного опыта и генерации своего рода матрицы оригинальных тем, мотивов, образов. Колоссальный исторический передел наделяет человека осознанием аб-

солютной власти «режиссера новой жизни» [Литература факта 2000: 9], дарует упоительное ощущение бесконечного созидательного могущества. Представители творческой интеллигенции оказываются так или иначе подхваченными волной магнетического притяжения октябрьской космогонии. Наиболее адекватно передать пафос эпохи позволяет пластика вторичной художественной условности, выводящая факт искусства за жёсткие рамки эмпирического отражения действительности¹. По наблюдению Ю. Тынянова, в границах «литературного сегодня»² именно на неистощимый потенциал активно развивающихся фантастических жанров – несмотря на очевидные недостатки их подчас «провинциального» воплощения – была возложена функция движущей силы эволюционного преодоления «тупика» традиции [Тынянов 2002: 397].

Для «центрифугиста» Николая Асеева 1917 г. стал точкой абсолютно нового эстетического отчета – временем безудержного исторического оптимизма и неукротимой веры в скорое переустройство мира на началах справедливости, равенства, братства. Революция, по словам поэта, избавила «фантазию, душевный порыв, заветную мысль, надежды молодости» [Асеев 1990: 32] от пут косного бытия, превратила окружающий мир в грандиозную экспериментальную площадку для осуществления дерзновенных мечтаний. Не удивительно, что, возвратившись с дальневосточных рубежей, автор с энтузиазмом поддерживает художественно-философскую стратегию действенного искусства и без промедления примыкает к агитационной работе московского ЛЕФа с его постулированием реорганизованного футуризма советского стандарта.

В классово ангажированной интерпретации явление «будетлянства» претерпевает значительные изменения. При сохранении ряда формальных завоеваний левовская «артель» делает упор на тактику объективной фактографии – «не наивного и лживого правдоподобия, а самой всамделишной и максимально точно высказанной правды» [Литература факта 2000: 5]. Так, в официальной декларации объединения исполнители соцзаказа провозглашают приоритетные ценности произведения-документа: «Первое – решительная переустановка <...> на действительность. <...> Второе – полная конкретизация. <...> Только так возможно познавать и строить жизнь. Третье – перенесение центра внимания <...> с человеческих переживаний на организацию общества. <...> Мы, плохо ли, хорошо ли, знаем “душу” человека, но совершенно не знаем подлежащего его переработке мира <...>» (Н. Чужак «К методике литературы факта» [Литература факта 2000: 21]).

Необходимо подчеркнуть, что, являясь участником левовской ассоциации, Асеев неоднократно относился к манифестации производственного утилитаризма. Инструментарий плакатной дидактичности был, без сомнения, исключительно привлекательным в своей гражданской действенности. Однако, по отзывам писателя более поздних лет, теория миметически-позитивистского воспроизведения действительности далеко не всегда доказывала собственную прикладную целесообразность. В воспоминаниях о ближайшем друге и соратнике тех лет автор не скрывал: «Маяковский, а вслед за ним и я не очень-то усваивали эту теорию, главным проповедником которой являлся Сергей Михайлович Третьяков. Нам было жаль отказаться от воображения, “глупая вобла” которого все-таки была куда съедобней для работы, чем всяческий, хотя бы страшно новаторский проект, не всегда помогавший совместить его с практикой <...>» [Асеев 1964: 668].

Неоспоримым доказательством справедливости приведенных слов выступает раннее прозаическое творчество автора, составившее книгу «Проза поэта» (1930 г.). Оттачивая жанр тенденциозного лирического фельетона и пропагандируя газетно-публицистическое претворение поэтической темы³, Асеев вместе с тем щедро вводит в новеллистику вариативные приемы фантастического допущения. Рассматриваемые в настоящей статье произведения, пожалуй, в большей степени ориентируются на метод нескованного программными требованиями творческого самоопределения «Серапионовых братьев» [Пономарева 2007: 77–86], отчетливо противопоставлявших регламентированному слову «литературы факта» безусловную свободу «литературы вкуса»⁴. Широкое включение элементов заведомо неправдоподобного в корпус рассказов 1920-х гг. приобретает системообразующее значение в масштабах творчества автора.

Первый фантастический рассказ Асеева под экспрессионистическим заголовком «Расстрелянная Земля» представляет собой очередную редакцию крайне расхожего в литературном дискурсе конца XIX – начала XX в. марсианского сюжета. Выразительная фактура другого мира становится результативным способом преодоления автоматизма читательского восприятия, вымышленная среда превращается в удобную арену для идеологических прений⁵. Мистические каналы, таинственные вспышки, неразгаданные радиосигналы – все это служит обильной пищей для творческого воображения мэтров зарубежной фантастики, таких как Г. Уэллс и Э. Берроуз. В отечественной литературе магистральными проводниками «марсианского курса», несомнен-

но, следует считать «Красную звезду» А. Богданова и «Аэлиту» А. Толстого. В эру первых попыток ракетостроения и тотального увлечения «проектами» космического полета⁶ мотив путешествия к звездам обыгрывается писателями с завидной частотой: «Пылающие бездны» Н. Муханова (1924 г.), «Повести о Марсе» Граалья-Арельского (1925 г.), «Аргонавты вселенной» А. Ярославского (1926 г.) и т. д. Ю. Тынянов не без доли иронии комментировал поразительное пристрастие современников к теме установления межпланетного контакта: «Самое фантастическое – это, как известно, Марс. Марс – это, так сказать, зарегистрированная фантастика. В этом смысле выбор Марса для фантастического романа – добросовестный шаг» [Тынянов 2002: 399].

На уровне фабульного рисунка исследуемый рассказ 1921 г. не отступает от классической схемы уэллсовского романа: в смертельной борьбе за энергетические резервы марсианская цивилизация нападает на землян. Ведя прицельный огонь по выбившемуся из сил противнику, блестяще вооруженная армия захватчиков готовится праздновать победу. Значительно уступая галактическим агрессорам в техническом оснащении и понимая невозможность отразить очередную атаку оружием дальнего действия, люди решаются на безнадёжный, казалось бы, шаг – срывают «разгромленную тяжелыми гаубицами» [Асеев 1964: 69] планету с орбитальных «якорей» и берут враждебного соседа на космический «абордаж»: «Запершиеся в пневматические дома жители почувствовали болезненную тошноту. На несколько мгновений сознание было потеряно. Это был толчок поворота. Земля покинула свою орбиту и понеслась на врага» [там же: 71].

В соответствии с широко распространенной концепцией П. Лоуэлла писатель репрезентирует расу марсиан как древний социум грубых завоевателей, находившихся на грани естественного исчезновения. Человечество, научившееся управлять неистощимыми запасами земной мощи, представляет собой утопически-благополучный коммунистический союз под строгим и мудрым руководством Совета Юнейшин. Единороство двух планет, двух диаметрально противоположных мировоззренческих стратегий, иносказательно проецируется на конкретно-историческую действительность молодого советского государства, с одной стороны, раздираемого гражданскими междоусобицами, а с другой – продолжающего оказывать сопротивление интервенции и вместе с тем пребывать в экстатическом ожидании мировой революции.

Несмотря на внешне милитаристский пафос, авторский замысел заключается далеко не в проповеди «уничтожения всего и вся» [Маринетти

1986: 160] во имя высоких идеалов: доведя до логического апогея манифестируемый западными авангардистами принцип войны как единственно возможной гигиены мира, писатель в соответствии с аксиологическими ориентирами русского футуристического канона разрушает культ очистительного кровопролития. Землянам удается спастись исключительно благодаря морально-психологическому превосходству над колонизаторами: в развязке новеллы чудесное воскрешение «сплюснутого обесформленного комка» [Асеев 1964: 73] планеты становится результатом небывалого духовного героизма населяющих ее людей, осмелившихся нарушить «стройность и планомерность» [там же: 70] извечного покоя и пуститься в свободное космическое плавание. Писатель воспевае триумф чистой витальной энергии, индивидуальной и интегрированной гипертрофии воли, тем самым предваряя растиражированное в фантастической парадигме XX столетия представление о коллективном сверхразуме: «<...> вселенная стала не дремучим лесом сознаний, а светлыми тротуарами воздушно-путешествующих воль, яркими проспектами живых тел мирового организма» [там же].

Притчево-аллегорическое нарративное течение достаточно отвлеченно касается обстоятельств земного быта и полностью лишено каких-либо этнографических подробностей жизни марсиан. (На метафорический характер новеллы указывает, к примеру, откровенное нарушение гелиоцентрической естественнонаучной доктрины: «Но солнце Марса потухло, и ему осталось выбирать между медленным угасанием или победой и завоеванием соседнего источника тепла и света <...>» [там же].) Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемое произведение создавалось в дальневосточной «ссылке» писателя как в большей степени философско-умозрительный отклик на ход революционного передела. Для дистанцированного от эпицентра событий наблюдателя вселенская схватка старого и нового миропорядков представлялась будто увиденной через объектив металогиического «телескопа».

К хронотопу урбанистического будущего новеллу отсылает россыпь футурологических – в контексте начала прошлого века – технических деталей, продуктивно оживляющих логоцентричную текстовую модель: «флер оцепенения воли немедленно проник в пневмостены», «толпились на общественных аэроплощадях», «радиовесть об удаче полетела в наглухо закупоренные обиталища землян» [там же: 71–73]. Кроме того, в поле повествования лаконично введена конвенциональная для прогностической фантастики «твердой формы» фигура гениального

изобретателя. Герой-демиург фантастического универсума и материально-предметный мир будущего получают более нюансированное описание в рассказе «Завтра», следующем за «Расстрелянной Землей» в хронологическом и смысловом планах.

Структурообразующую роль в этой идейно неоднозначной новелле играет центральная в концептуальной системе sci-fi коллизия искусственного и естественного начал. На пороге экологического кризиса и неминуемой гибели оказывается в данном случае земное население – индустриализованное общество будущего так называемого «ближнего прицела». Ключ к спасению людского рода находится в руках социально детерминированного, в духе лэфовской теории, гениального конструктора синтетических сердец и передвигающихся по воздуху городов: «Динес вовремя появился на свет. Вернее, человечество выдвинуло его против надвигающейся опасности» [Асеев 1964: 78]. Пролеткультовски-футуристический тезис интеллектуального превосходства над стихией приобретает в рамках повествования бинарную реализацию – на уровне тела человека и тела мира.

Фантастические перипетии произведения смыкаются с реалиями стремительно расширяющегося научного познания: 20-е гг. XX в. становятся временем неординарных «проектов» в области регуляции природы и биологической инженерии. Главная роль в поступательном историческом движении «выразителями эпохи» отводится абсолютизированной машине в противоположность слабому и уязвимому живому организму. «Методическая, все растущая точность работы, воспитывающая мускулы и нервы пролетариата, придает психологии особую настороженную остроту, полную недоверия ко всякого рода человеческим ощущениям, доверяющуюся только аппарату, инструменту, машине» (А. Гастев «Контуры пролетарской культуры» [Литературные манифесты 2001: 329–330]). Динес олицетворяет гипостазированную в художественной плоскости идею «социального автомата»: не желая подвергать угрозе срыва выполнение своей титанической задачи, персонаж без колебаний решается на имплантацию механического сердца. Однако хладнокровному ученому отнюдь не присуща беззаветная жертвенность Данко: хирургическая операция, являющаяся, по сути, редукцией личности, направлена на удаление «рудиментарного» органа, понимаемого как акцидентный признак искореняемого прошлого⁷.

В мессианском образе инженера-первооткрывателя подчеркнута реминисцируются мифологические черты культурного героя. Однако «мыслить по-прометеевски – значит разрушать, и

как бы ни стремились прометеевцы к добру, после огня всегда остается зола» [Утопия и утопическое мышление 1991: 202]. Математически совершенный проект «железного эдема»⁸ не выдерживает экзистенциальной проверки реальностью, а гимн всемогуществу картезианского разума в развязке новеллы неожиданно оборачивается констатацией страшной антропологической катастрофы. Фатальное крушение летающего города «Самолет 1» свидетельствует лишь о старте цикла дальнейших рискованных испытаний по «корректировке» природы под руководством конструктора-идеолога техногенной цивилизации. (Автор имплицитно вводит характерный для научной фантастики мотив моральной ответственности изобретателя за свое творение, объединяющий Динеса с его ближайшими литературными «последователями» – Доуэлем и Преображенским.) Наступающее «завтра» в квазипророчестве Асеева воплощает антиномическое единство отрицания и утверждения: автор, исследующий возможности будущего с воодушевлением романтика и опасениями скептика, создает многослойную концептуальную модель, парадоксально совмещающую приметы утопической конструкции и логики предупреждения⁹.

Исследуемый рассказ, в свете жанровой концепции Е. Замятина, представляет собой вариацию «городской сказки»¹⁰, акцентирующей чудеса техники сугубо артефактного универсума. Мир будущего организуется автором по пути плотной детализации машиноцентрической действительности: «Динес взвился на наблюдательную площадку здания конденсатора. Ниже его на узорных парапетах, затянутые в каучук, механики суетились у огромного блока, притягивавшего рычаги магнитных полей» [Асеев 1964: 81]. Тем не менее, изображая футурологическую цивилизацию, автор прибегает преимущественно к эстетике «гуманитарно-неточного» знания и разрежает концентрат строго терминологических номинаций обобщенно-поэтическими формулировками. Нивелированной остается и рационально-этиологическая мотивировка осуществления изобретателем кинетических опытов. Писатель фокусирует внимание прежде всего не на предметном антураже модели становящегося бытия, а на философско-этической проблематике технократического будущего.

Во второй половине 1920-х гг. малая проза писателя обнаруживает предсказуемый поворот в сторону очеркового реализма, а локус новеллистического изображения сужается до современного автору города. Теоретической платформой для кардинальной смены эстетического регистра становятся ужесточаемые лэфовцами установки. Так, в 1928 г. Асеев публикует декларативное

воззвание, в котором подводит итоги культурным завоеваниям группы и решительно порывает с поэтикой необычайного: «Борьба за собирание, формирование и обследование фактического материала в целях противоположения его художественной выдумке, фантастике, индивидуальной трактовке событий и проч. “художественной” приблизительности, искажающей и уродующей факт в соответствии с тем или иным личным его использованием. Поэтому центр тяжести литературной работы ЛЕФ’а переносится на дневник, репортаж, интервью, фельетон и т. п. “низкие” литературные формы газетной работы, которую ЛЕФ и считает наиболее современной формой литработы» [Литературные манифесты 1929: 254–255].

Тем не менее желание наиболее полно передать личностное отношение к социально-историческим сдвигам и неослабевающая любовь к затейливой выдумке [Мешков 1981: 17] настойчиво активизируют в прозаической деятельности автора «ненужный покамест пафос будущего и скоропортящийся в бытовой атмосфере революционный романтизм» [Асеев 1964: 68]. В качестве выразительного примера симбиотического сочетания реалистического и фантастического модусов изображения выступает рассказ «Только деталь», синтезирующий плоскости прошлого и будущего в попытке запечатлеть неуловимое мгновение деформации бытия. По замечанию Ю. Тынянова, «нет фантастической вещи, и каждая вещь может быть фантастична» [Тынянов 2002: 402]. Спорадически встречающиеся детали нового быта рожают в поэтическом сознании москвича-фантазера Ваньки Облакова / Лыкова (в смягченном фольклорно-сказочными аллюзиями и металитературными отсылками образе которого угадывается неуязвимый изобретатель «завтрашнего» мира) хлебниковски гуманистические сцены гармонизированного будущего. Границы сегодняшнего дня не сдерживают утопического порыва героя, в радужных грезах о предстоящем свободно преодолевающего препоны времени и пространства вплоть до миллениаристского предела: «И весь поезд дальний – на воздух да под откос, вы думаете? Как бы не так! Да по воздуху через барьер тупика. Вытянулись вагоны в трубочки, заплывились на ходу двери – легит одна сплошная железная сигара вокруг земли <...> И еще дальше... Вот, например, станция. Название – “2000 год”. Вся она играет огнями» [Асеев 1964: 67–68]¹¹. Д. Д. Николаев в исследовании, посвященном анализу отечественной прозы 1920–1930-х гг., констатирует: «Мысль о существовании какой-либо высшей силы, властвующей над всем и всеми, чужда футуристам. Н. Н. Асеев <...> не при-

знает ничего выше человека, и отдельный индивидуум в его книге как бы врывается в космос <...>» [Николаев 2006: 408].

В рассказах «Война с крысами» и «Охота на гиен», образующих условную териоморфную дилогию «Прозы поэта», реализуется гротескно-сатирический потенциал поэтики необычайного. Автор отказывается от мажорной интонации прогностического оптимизма и обращается к резкой социальной критике настоящего: злобно-дневно-прагматическая направленность в рамках новеллистического творчества писателя оказывается предопределенной острым неприятием идеологических реверсов новой экономической политики. В статье «Работа Маяковского над поэмой “Про это”» Асеев с горечью отмечает: «<...> волны нэпа уже перекатывались через палубу корабля. Корабль шел к цели, ни на секунду не теряя ее из вида, но меняя курс сообразно опасностям и сложности пути. Держаться на его палубе было очень нелегко: нужно было сжать зубы и вцепиться в поручни, чтобы не быть смытым в море обывательщины и мещанства» [Асеев 1964: 509]. Лефовец, наряду с боевыми товарищами по литературно-художественному объединению, с усиливающейся тревогой наблюдает за практическим искажением революционной эйдологии и призывает к бескомпромиссной борьбе с призраками пассаизма.

«Война с крысами», подобно «Только детали» (в издании 1925 г. рассказ называется «Одна деталь»), погружает читателя в мир ярких иллюзорных видений; однако, в отличие от светлой московской фантазии, мрачная урбанистическая фантазмагория строится на мотивах порогового состояния нарративного субъекта. В патологически искаженном сознании рассказчика общество чинных и самодовольных буржуа симультанно сливается с несметными стаями омерзительных крыс, превращая будничную действительность в зловещий паноптикум: «То, что я сразу сообразил и отчетливо определил как собственное помешательство, не спасло меня от дрожи и покачнувшегося в сторону сердца. За столом, у рояля и по углам в креслах, скрестив лапки на розово-серых животах, сидели круглоухие со злобными глазами, с приподнятой над резцами верхней губой, шерстяные существа» [там же: 52]. Тягостное сюрреалистическое наваждение полностью подчиняет рассудок героя и пробуждает галлюцинаторное ощущение противостояния inferнальным силам. Эксплуатируя комплекс мистических мотивов и воспроизводя картины ночных ужасов, актуализируя принцип двойничества и поднимая тему механически бессознательного существования, Асеев (по собственному признанию, испытывавший благоговение перед творче-

ской индивидуальностью Э. Т. А. Гофмана¹²⁾ изображает скрытую психологическую борьбу человека новой эпохи с системой мещанских ценностей инертного прошлого.

Рассказ-фельетон «Охота на гиен» демонстрирует аналогичную композицию двоимирия: пронизательный рассказчик начинает постепенно различать в укладе повседневной жизни законы дикой природы, а в привычном окружении коллег и знакомых – звериные черты. Эксплицитно апеллируя к поэтике Р. Киплинга, автор населяет «каменные джунгли» современного города классовыми «химерами» – наполовину людьми, наполовину экзотическими животными: «Они проходят передо мною разнообразные, разномастные, пестрые в светотенях падающего на них различного освещения <...>» [Асеев 1964: 10]. Карикатурный бестиарий каталогизирует многочисленных тапиров, обезьян, волков, а главное, гиен московских улиц. Эгоистические первобытные инстинкты «человекообразных симулянтов» [Маяковский 1969: 645] в рамках специфической «октябрьской антропологии» контекстуально противопоставляются высоким интеллектуальным устремлениям homo faber¹³⁾ завтрашней цивилизации. Размывая границы жизнеподобного посредством вкрапления анималистического кода и параллельно оживляя богатейшие интертекстуальные связи, автор в лефовски агитационном стиле призывает поднять щедринское оружие инвективы и нацелить аллегорические винтовки на пресмыкающихся карьеристов, прожорливых нищих, юрких комиссионеров и других равнодушных к революционным завоеваниям обывателей.

Собранная в конце первого пореволюционно-десятилетия новеллистическая книга Николая Асеева «Проза поэта» аккумулирует разнородные приемы поэтики необычайного. Формы рационально-логической и сатирико-гротескной условности ориентированы на реализацию доминантных в культурно-исторических координатах советской литературы 1920-х гг. прогностической и критической функций. Фантастические модели, ассимилировавшие знаки идеологически ангажированной футуристической эстетики и приметы романтического художественного мышления, позволяют объемно и выразительно изобразить парадигму отношений человека и мира новой формации в диалектической сложности переходного времени.

Примечания

¹⁾ В статье «Генеалогическое дерево Уэллса» Е. Замятин попутно затрагивает вопрос зарождения и дальнейшего развития фантастического направления в контексте отечественного литера-

турного процесса: «Окаменелая жизнь старой, дореволюционной России почти не дала – и не могла дать – образцов социальной и научной фантастики. Едва ли не единственными представителями этого жанра в недавнем прошлом нашей литературы окажутся Куприн (рассказ “Жидкое солнце”) и Богданов (роман “Красная звезда”, имеющий скорее публицистическое, чем художественное значение); и если заглянуть дальше назад – Одоевский и Сенковский – барон Брамбеус. Но Россия послереволюционная, ставшая фантастичнейшей из стран современной Европы, несомненно отразит этот период своей истории в фантастике литературной. И начало этому уже положено: романы А. Н. Толстого “Аэлита” и “Гиперболоид”, роман автора настоящей статьи “Мы”, романы И. Эренбурга “Хулио Хуренито” и “Трест Д. Е.”» [Замятин 2004: 108]. В. Чаликова, комментируя скачкообразную динамику фантастики «твердой формы» в раннесоветский период – бурный подъем в 1920-е гг. и резкий спад в последующие десятилетия, публикует любопытную статистику: «<...> к концу 20-х годов проводилась самая настоящая кампания против научной фантастики. Если в 20-е годы выходило по 25 книг за год, то в 1931 г. – это уже новая историческая эпоха, сталинизм в классическом виде – выходит всего четыре книги. В 1933–34 годах после голода, на пороге массовых репрессий – ни одной. В 30-х годах была разогнана ленинградская секция научной фантастики (не просто разогнана, там были репрессированные и убитые)» [Чаликова 1994: 70–71].

²⁾ Впервые обзорная статья Ю. Тынянова «Литературное сегодня», частично посвященная краткому разбору фантастических произведений Е. Замятина и А. Толстого, была опубликована в 1924 г. в журнале «Русский современник» [Тынянов 2002: 492].

³⁾ В критико-теоретическом труде «Работа над стихом» (1929 г.), адресованном прежде всего молодому поколению советских поэтов, Асеев подробно описывает новую литературную конструкцию под названием «лирический фельетон». Разрабатываемая писателем форма полностью отвечает программным установкам «левых мастеров», т. е. опирается на «быструю переключаемость ассоциаций, маршевый, песенный, разговорный ритм, движение метафор по звуковому полю», «свежесть ощущения реального дня», «четкость восприятия», «заинтересованную и активную» авторскую позицию [Асеев 1929: 51–65].

⁴⁾ В 1922 г. петроградская группа выдвигает тезис следования собственной фантазии и доверия индивидуальному вкусу в противовес «железному и скучному уставу» (статья Л. Лунца

«Почему мы “Серрапионовы братья”» цитируется по: [Литературные манифесты 2001: 311]). Спустя год «левые силы» в лице С. Третьякова, Н. Чужака, В. Маяковского, Б. Арватова, Б. Кушнера, О. Брика и Н. Асеева манифестируют неодобрение аполитичному и неконкретному характеру творчества разнородного объединения с точки зрения документальной правды: «“Новейшая” литература (Серрапионы, Пильняк и т. д.), усвоив и разживив наши приемы, сдобривает их символистами и почтительно и тяжело приноравливает к легкому нэпочтению» [Литературные манифесты 1929: 232].

⁵ Эстетический интерес к образу «красной планеты» год от года подогревался регулярными научными открытиями и паранаучными концепциями, косвенно подтверждавшими существование внеземной цивилизации. Так, обнаружение сети «каналов» на марсианском диске Джованни Скиапарелли положило начало многочисленным теориям их искусственного происхождения. Сам итальянский ученый придерживался позиции процветания на соседней планете общества высокого развития. Его последователь, американский астроном П. Лоуэлл, разрабатывал оппонирующую гипотезу существования на «красной планете» древней вымирающей культуры [Лоуэлл 2004: 48–78].

⁶ В 1924 г. на волне популяризации возможностей практической космонавтики было организовано московское общество изучения межпланетных сообщений, почетным членом которого стал К. Э. Циолковский.

⁷ Мотив вживления стального сердца-мотора в человеческий организм и преодоления «ненавистной» телесности имеет символическое значение для футуристической эстетики – от первых манифестов Маринетти до стихотворений Маяковского лэфовского периода: «Довольно! – зевать нечего: переиначьте конструкцию рода человеческого! Тот человек, в котором цистерной энергия – не стопкой, который сердце заменил мотором, который заменит легкие – топкой <...>» («Протестую!», 1924 г. [Маяковский 1969: 19]).

⁸ Асеев описывает динамические кварталы как ряды конструкций из алюминия и стекла, тем самым не отступая от сложившейся традиции фантастически-утопической архитектуры: «<...> рано или поздно алюминий заменит собою дерево, может быть и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами» [Чернышевский 1975: 146–147].

⁹ В. А. Чаликова определяет диалектику фантастики XX в. в целом как «зазеркалье утопической мечты, где клубятся зловещие тени, гро-

моздятся искаженные, изломанные контуры утопического идеала» [Чаликова 1994: 65].

¹⁰ Рассуждая о машиноцентрической эстетике художественных миров зарубежного фантаста, писатель приходит к следующим обобщающим выводам: «Город, нынешний – огромный, лихорадочно-бегущий, полный рева, гула, жужжания пропеллеров, проводов, колес, реклам – этот город Уэллса всюду. Сегодняшний город с некоронованным его владыкой – механизмом, в виде явной или неявной функции – непременно входит в каждый из фантастических романов Уэллса, в уравнение из уэллсовских мифов, а эти мифы – именно логические уравнения» [Замятин 2004: 75].

¹¹ Рассказ 1925 г. содержит очевидные смысловые параллели с вышедшей в том же году утопической поэмой В. Маяковского «Летающий пролетарий». Фокусируя читательское внимание на «том, что будет через двести лет или через – сто» [Маяковский 1969: 313], поэт-футурист описывает мир благоденствия беспрепятственно «порхающих» в космических далях людей.

¹² Художественный мир «Войны с крысами» явственно сближается с поэтикой первой книги стихов Асеева «Ночная флейта» (1914 г.), испытывавшей значительное влияние гофмановской образности. Вошедшие в ее состав произведения маркируют романтическую тональность одиночества человека в деструктивном пространстве «фантастического и чужого» города [Мешков 1987: 28].

¹³ В переводе с латинского «человек творящий», высшая форма творческой эволюции человека.

Список литературы

Асеев Н. Н. Работа над стихом. М.: Прибой, 1929. 168 с.

Асеев Н. Н. Родословная поэзии. Статьи. Воспоминания. Письма. М.: Сов. писатель, 1990. 558 с.

Асеев Н. Н. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Изд-во худож. лит., 1964. Т. 5. 715 с.

Замятин Е. И. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Русская книга, 2004. Т. 3. Лица. 1814 с.

Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного: художественные миры фантастики, сказки, утопии, притчи и мифы (на материале европейской литературы первой половины XX века). М.: Изд-во МГУ, 1999. 308 с.

Литературные манифесты: От символизма к Октябрю / сост. Н. Л. Бродский, В. Л. Львов-Рогачевский, Н. П. Сидоров. М.: Федерация, 1929. 304 с.

Литературные манифесты: От символизма до «Октября» / сост. Н. Л. Бродский, Н. П. Сидоров. М.: Аграф, 2001. 374 с.

Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа / под ред. Н. Ф. Чужака. М.: Захаров, 2000. 285 с.

Лоуэлл П. Марс и жизнь на нем // Марс: великое противостояние. М.: Физматлит, 2004. 224 с.

Маринетти Ф. Т. Первый манифест футуризма // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в. / сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. М.: Прогресс, 1986. 640 с.

Маяковский В. Клоп // Стихотворения. Поэмы. Пьесы. М.: Изд-во худож. лит., 1969. 736 с.

Маяковский В. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1957. Т. 6. 543 с.

Мешков Ю. А. Николай Асеев: творческая индивидуальность и идейно-художественное развитие. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1981. 272 с.

Николаев Д. Д. Русская проза 1920–1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая. М.: Наука, 2006. 688 с.

Пономарева Е. В. Творческие эксперименты «Серрапионовых братьев» в контексте идей художественного синтеза // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Социально-гуманитарные науки». Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. Вып. 8. С. 77–86.

Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция: Избранные труды. М.: Аграф, 2002. 496 с.

Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы / сост., предисл., общ. ред. В. А. Чаликовой; пер. с разн. яз. М.: Прогресс, 1991. 409 с.

Чаликова В. А. Утопия и свобода. М.: Весть-ВИМО, 1994. 184 с.

Чернышевский Н. Г. Что делать? Л.: Наука, 1975. 875 с.

References

Aseev N. N. *Rabota nad stikhom* [Working on verse]. Moscow: Priboj Publ., 1929. 168 p.

Aseev N. N. *Rodoslovnaja poehzii. Stat'i. Vospominaniya. Pis'ma* [Pedigree of poetry. Articles. Memories. Letters]. Moscow: Sov. Pisatel' Publ., 1990. 558 p.

Aseev N. N. *Sobranie sochinenij: v 5 t.* [Collected works: in 5 vols.]. Moscow: Izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury Publ., 1964. Vol. 5. 715 p.

Zamyatin E. I. *Sobranie sochinenij: v 5 t.* [Collected works: in 5 vols.]. Moscow: Russkaja Kniga Publ., 2004. Vol. 3. Lica [Persons]. 1814 p.

Kovtun E. N. *Poehtika neobychnogo: khudozhestvennye miry fantastiki, skazki, utopii, pritchi i mifa (na materiale evropejskoj literatury pervoj poloviny XX veka)* [Poetics of the extraordinary: the

art worlds of science fiction, fairy tales, utopia, parables and myth (based on European literature of the first half of the 20th century)]. Moscow: MSU Publ., 1999. 308 p.

Literaturnye manifesty: Ot simbolizma k Oktjabrju [Literary manifestos: from symbolism to October]. Comp. by N. L. Brodskij, V. L. L'vov-Rogachevskij, N. P. Sidorov. Moscow: Federacija Publ., 1929. 304 p.

Literaturnye manifesty: Ot simbolizma do "Oktjabrja" [Literary manifestos from symbolism to "October"]. Comp. by N. L. Brodskij, N. P. Sidorov. Moscow: Agraf Publ., 2001. 374 p.

Literatura fakta: Pervyj sbornik materialov rabotnikov LEFa [Literature of fact: First collected materials by workers of the "Left Front of the Arts"]. Ed. by N. F. Chuzhak. Moscow: Zakharov Publ., 2000. 285 p.

Lowell P. Mars i zhizn' na nem [Mars and life on it]. *Mars: velikoe protivostojanie* [Mars: the great opposition]. Moscow: FIZMATLIT Publ., 2004. 224 p.

Marinetti F. T. Pervyj manifest futurizma [First manifesto of futurism]. *Nazyvat' veshhi svoimi imenami: Programmnye vystupleniya masterov zapadnoevropejskoj literatury XX v.* [To call a spade a spade: the keynote addresses of masters of Western literature of the 20th century.]. Ed. by L. G. Andreev. Moscow: Progress Publ., 1986. 640 p.

Majakovskij V. V. Klop [The Bedbug]. *Stikhotvoreniya. Poehmy. P'esy* [Poetry. Poems. Plays]. Moscow: Izdatel'stvo "Khudozhestvennaya literatura" Publ., 1969. 736 p.

Majakovskij V. V. *Polnoe sobranie sochinenij v 13 tomakh* [Complete works in 13 vols.]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury Publ., 1957. Vol. 6: 1924 – first half of 1926. 544 p.

Meshkov Ju. A. *Nikolaj Aseev: tvorcheskaja individual'nost' i idejno-khudozhestvennoe razvitie* [Nikolaj Aseev: the creative personality and ideological and artistic development]. Sverdlovsk: Ural University Publ., 1981. 272 p.

Nikolaev D. D. *Russkaja proza 1920–1930-kh godov: avanturnaja, fantasticheskaja i istoricheskaja* [Russian prose of the 1920–1930s: adventurous, fantastic and historical]. Moscow: Nauka Publ., 2006. 688 p.

Ponomareva E. V. Tvorcheskie ehksperimenty "Serapionovykh brat'ev" v kontekste idej khudozhestvennogo sinteza [Creative experiments of the Serapion Brothers in the context of ideas of artistic synthesis]. *Vestnik YuUrGU. Ser. "Social'no-gumanitarnye nauki"* [Bulletin of the South Ural State University. Series "Social Sciences and the Humanities"]. Chelyabinsk: SUSU Publ., 2007. Iss. 8. P. 77–86.

Тынжанов Ю. Н. *Literaturnaja ehvolyucija: Izbrannye trudy* [Literary evolution: Selected works]. Moscow: Agraf Publ., 2002. 496 p.

Utopija i utopicheskoe myshlenie: antologija zarubezhnoj literatury [Utopia and utopian thinking: anthology of foreign literature]. Ed. by V. A. Chalikova. Moscow: Progress Publ., 1991. 409 p.

Chalikova V. A. *Utopija i svoboda* [Utopia and freedom]. Moscow: Vest'-VIMO Publ., 1994. 184 p.

Chernyshevskij N. G. *Chto delat'?* [What is to be done?]. Leningrad: Nauka Publ., 1975. 875 p.

AESTHETICS OF THE FANTASTIC IN THE BOOK "THE PROSE OF THE POET" BY N. ASEEV

Tatyana S. Dubrovskikh

**Postgraduate Student in the Department of Russian Language and Literature
South Ural State University**

The colossal historical revision of the 1920s catalyzes the aspiration of art to extend the boundaries of empirical reflection of the real world. Social, political, scientific, technical, and psychological changes of the Revolutionary era require adequate forms of aesthetic embodiment. As a consequence, literary process of the period actualizes artistic potential of the fantastic. Short stories written by Nikolaj Aseev, a representative of the futuristic movement and a member of the "Left Front of the Arts", demonstrate an expressive implementation of variable techniques of science fiction. In contrast to the positivist principle of "literature of fact", "The Prose of the Poet", which includes the author's short stories and essays of the Post-Revolutionary years, is full of fiction elements – from futuristic rational models to comic grotesque exaggeration. The complex of direct and indirect references to works of Western and Russian writers organizes a wide fantastic context. Inclusion of fantastic elements becomes one of the leading integration determinants within the synthetic structure of the book. Producing phantasmagoric worlds of the future and imaginary images of the past, the author explores a new type of relationship between a man and the surrounding reality through the prism of the fantastic conventions.

Key words: Nikolaj Aseev; short stories; Futurism; poetics of the fantastic; science fiction; grotesque.

УДК 81'27

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (краткий обзор, 1916–2016)¹

Тамара Ивановна Ерофеева

д. филол. н., профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Пермь, ул. Букирева, 15. genling.psu@gmail.com

Елена Валентиновна Ерофеева

д. филол. н., зав. кафедрой теоретического и прикладного языкознания
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Пермь, ул. Букирева, 15. elenerofec@gmail.com

В статье представлена история развития социальной диалектологии и описаны результаты многолетнего изучения живой речи в Пермском университете. Показано, что исследование речи ведется лингвистами Пермского университета с учетом взаимодействия территориальных и социальных факторов.

Начало социальной диалектологии положили собственно диалектологические исследования, в которых язык одной деревни (д. Акчим) рассматривался как реально функционирующая система. Дальнейшее развитие направления было связано с изучением литературной речи в социально-территориальной проекции; была разработана концепция локальной вариативности литературного языка. Параллельно развивалось изучение нелитературных пластов городской речи: профессиональной, жаргонной и арготической форм общения. Все это позволило в дальнейшем развить теорию социолекта и его типов, а также перейти к исследованию городских социолектов. Современный этап развития социальной диалектологии в Пермском университете характеризуется вниманием не только к собственно социальному варьированию речи, но и к культурно-психологической обусловленности языковых фактов; разрабатываются также и лингвистические проблемы, связанные с субкультурными образованиями.

Ключевые слова: социальная диалектология, пермская школа социолингвистики; локализм; социолект; субкультурные образования; моделирование.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-112-121

Предметом изучения социальной диалектологии как раздела языкознания является живая речь, представляющая собою реализацию таких форм национального языка, как разговорная литературная речь, нелитературное городское и сельское просторечие, профессиональные «языки» и территориально-социальные диалекты.

Одно из главных направлений научного поиска лингвистов Пермского университета с первых дней его существования² составляли диалектологические исследования. На языковедческих кафедрах, созданных, как и университет в целом, в 1916 г., работали такие крупные ученые, как Л. А. Булаховский, С. П. Обнорский, А. В. Мир-

тов, во всех своих исследованиях неизменно опиравшиеся на факты живой народной речи.

В первый год работы университета была создана «Комиссия по изучению Северного края» (впоследствии переименованная в «Кружок по изучению Северного края»), объединявшая ученых, краеведов, студентов коллективной работой по исследованию природы, быта, материальной и духовной культуры края. Кружком было издано четыре «Пермских краеведческих сборника» (1924–1928 гг.). Уже летом 1917 г. состоялась первая фольклорно-диалектологическая экспедиция университета. Участники ее обследовали крестьянские говоры по Вишере, в Чердынском и

Соликамском уездах. Были собраны обширные материалы, на основе которых составлена карта-тека в несколько тысяч слов для задуманного «Словаря пермских говоров».

Активно занимался изучением местных крестьянских говоров С.П. Обнорский – с 1916 по 1928 г. штатный профессор кафедры русского языка в Пермском университете. Он являлся одним из редакторов «Словаря русского языка», который, по замыслу академика А. А. Шахматова, должен был включать лексику не только литературного языка, но и живых народных говоров. С. П. Обнорским для «Кружка по изучению Северного края» была составлена подробная программа собирания диалектологических материалов. Полученные сведения тщательно обрабатывались, систематизировались и использовались в процессе разработки теоретических вопросов лингвистики. На богатейшие материалы, собранные в Пермском крае, С. П. Обнорский опирался во всех своих исследованиях, в том числе и в фундаментальных работах, написанных после отъезда из Перми [Обнорский 1927, 1931, 1953].

С именем А.В. Миртова связано новое направление в диалектологических исследованиях университета – изучение живой речи рабочих. А. В. Миртовым была составлена «Инструкция для изучения языка уральского рабочего». Однако после его отъезда из Перми в 1931 г. сбор и обработка материала по этой теме прекратились.

Изучение живой речи возобновилось в 1946 г. на вновь открывшемся в 1941 г. историко-филологическом факультете Пермского университета.

В течение десяти лет преподаватели и студенты кафедры вели интенсивное обследование крестьянских говоров по пятнадцатикилометровой сетке для Диалектологического атласа русского языка, руководствуясь программой, составленной Академией наук СССР. Параллельно развернулась работа по более глубокому изучению звукового, грамматического и лексического строя пермских говоров, направленная на решение вопроса об их происхождении, классификации, а также на освещение фундаментальных проблем русской диалектологии, таких, например, как развитие русских говоров в советский период, взаимодействие их с русским литературным языком и т. п. [Скитова 1959].

О широте исследуемых вопросов свидетельствуют публикации диалектологов университета [Скитова 1950, 1962, 1973; Грузберг 1960; Потапова 1960; Адливанкин 1964; Федорова 1964; Андреева 1972].

Завершив совместно с лингвистами Пермского педагогического института и Казанского университета обследование пермских говоров для Диалектологического атласа русского языка, лингвисты Пермского университета приступили к всестороннему изучению лексики говоров Пермской области и подготовке региональных словарей, необходимых не только для лингвистов, в частности историков языка, но и для преподавателей русского языка от начальной до высшей школы, этнографов и краеведов, писателей и журналистов, представителей широкой общественности. Было запланировано создание трех взаимосвязанных словарей: дифференциального словаря русских говоров на территории бывшей Чердынской земли (Перми Великой), недифференциального (полного) словаря одного из этих говоров – говора д. Акчим Красновишерского района, а также недифференциального (полного) словаря одного из носителей акчимского говора – Анны Герасимовны Горшковой. Первый том Акчимского словаря вышел из печати в 1984 г. Авторский коллектив первого тома этого словаря включает 54 человека. В настоящее время словарь завершен, всего опубликовано 6 выпусков [Акчимский словарь 1984–2011].

Региональные словари полного типа без преувеличения являются энциклопедией жизни русского народа, отраженной в языке, непревзойденным источником сведений о всех ее сторонах – традиционной и современной духовной культуре, трудовой деятельности жителей края, народных воззрениях и оценках всего окружающего и происходящего.

В 1965 г. параллельно с изучением местных крестьянских говоров на кафедре русского языка и общего языкознания развернулась работа по изучению литературной разговорной речи региона сравнительно с другими регионами и образцово-кодифицированной речью, а затем в сферу научных интересов диалектологов университета вошли и другие разновидности речи города, а также сельское просторечие [Ерофеева Т. 1971].

Раскрытию проблем социальной диалектологии в этот период были посвящены два межвузовских сборника научных работ, издаваемых при Пермском университете: «Живое слово в русской речи Прикамья» [1969–1994] (всего вышло 12 выпусков); «Литературный язык и народная речь» [1977–1991] (всего опубликовано 6 выпусков). В 1999 г. было проведено Международное научное совещание «Лингвистическая ретроспектива, современность и перспектива города и деревни», где были подведены итоги изучения речи города и деревни за это время.

По каждому из направлений исследований, на которых были сосредоточены пермские лингвисты, были получены важные для развития социальной диалектологии результаты.

Изучение лексики современного, реально функционирующего говора д. Акчим позволило конкретизировать положение о системном характере лексики, выявило своеобразие лексической системы диалекта сравнительно с литературным языком, обнаружило жизнеспособность диалектной системы и ее развитие вместе с развитием национального языка в целом. Было установлено, что существенная роль в развитии языка в общем и говоров в частности принадлежит социальным факторам.

Лексика диалекта включает в себя ряд производных элементов, обеспечивающих выразительность и образность не только народно-поэтической, но и обиходной диалектной речи. Образность диалектного языка – это способность его языковых единиц и средств вызывать представления и ассоциации, содействующие изобразительности, выразительности и наглядности излагаемого содержания; а выразительность, по определению диалектологов университета, – это способность языковых единиц наиболее адекватно, экономно и образно или логически впечатляюще передавать излагаемое содержание и сами названные качества речи (адекватность, экономность, образность в выражении и передаче содержания). В обиходной речи порождаются и используются фразеологические единицы, устойчивые сравнения, пословицы, поговорки, рифмованные строки, выразительные средства типа метонимии, синекдохи, метафоры, гиперболы и т. д.

Изучение лексики говора д. Акчим и других говоров на территории бывшей Чердынской земли и Прикамья в целом показало, что объем словарного запаса современного территориального говора весьма значителен. По внутреннему устройству лексика говора представляет собою своеобразную динамическую систему как на уровне лексико-семантических вариантов одного слова, так и на уровне лексем. Лексика говора составляет диалектическое единство элементов, соотношенных по следующим признакам: общерусское – диалектное, конкретное – абстрактное, старое – новое, нейтральное – стилистически окрашенное и т. п. Специфической особенностью диалектного слова в семантическом аспекте является более близкая, чем в литературном языке, связь звуковой материи с представлением. Значительную часть диалектной лексики представляют слова, в семантике которых весьма существенна доля коннотаций, вплоть до преобла-

дания их над предметно-логическим ядром. Просторечной лексике в словарном запасе крестьянского диалекта принадлежит довольно скромное место. По подсчетам студентки Е. Борисовской, анализировавшей лексику акчимского говора в пределах словаря на буквы Г, Д, И, К, доля просторечной лексики составляет 6–11%. Аналогичные данные получены студенткой В. Лившиц, рассматривавшей в этом аспекте словарный запас А. Г. Горшковой – носительницы акчимского говора.

В сферу социальной диалектологии входят такие формы общения, как «профессиональные языки», жаргон и арго, где также прослеживается тесная взаимосвязь и взаимозависимость между говорящим, входящим в тот или иной языковой коллектив, и его речью [Грузберг 1989; Ерофеева Т. 1991].

Так, изучаемая как реализация разговорной речи профессиональная речь имеет свою специфику и включает три типа профессиональных единиц: термин, профессионализм, профессиональный жаргонизм. Изучение профессиональной речи показало, что наиболее продуктивно проводить различие между этими единицами следующим образом: термин принадлежит кодифицированному литературному языку, однако может быть использован и в устной речи, чаще всего при официальной обстановке; профессионализм семантически идентичен с термином, но употребляется в литературной разговорной речи какой-либо профессиональной группы преимущественно в неофициальной и полуофициальной обстановке; профессиональный жаргонизм появляется исключительно в неофициальной обстановке и обладает при этом яркой экспрессией.

Возникновение профессиональных языковых единиц порождается лингвистическими причинами. Это и терминологическая «недостаточность» (отсутствие необходимого термина), и стремление назвать какое-либо явление более кратко, чем на языке терминологии, стремление к простоте, наконец. Экстралингвистические причины выступают по отношению к профессиональной лексике как регулирующие: они влияют на количественное распределение профессиональных единиц в речи. К экстралингвистическим причинам могут быть отнесены разные факторы, в том числе и социальные характеристики говорящих: сила традиции, психологический климат в коллективе, возраст, должность, общественное положение говорящего и др.

В работах пермских социолингвистов большое внимание уделено исследованию жаргонизированной студенческой речи, которое проводилось в нескольких аспектах. Прежде всего, да-

ется определение термину «жаргонизм», выделяются и описываются тематические группы жаргонизмов, изучается структурная организация жаргонного слова, прослеживается его контекстуальная реализация в обиходной речи и художественной литературе, выявляются причины реализации жаргонизмов в речи.

В работах, посвященных изучению жаргона, было показано, что употребление жаргонизированной лексики, являющейся экспрессивным средством, предполагает, как и использование разговорной речи, отсутствие социально-психологических преград между собеседниками и отсутствие предварительного обдумывания высказывания. Но при этом, в отличие от разговорной речи, жаргонизированная речь молодежи складывается и существует только в условиях социально-речевой общности говорящих при относительно едином возрасте. Жаргонизация речи выступает как характерная черта обиходно-разговорной речи молодежи. «По заказу» определенной ситуации возникают жаргонизмы в процессе общения. При этом наибольшую силу воздействия имеют жаргонизмы окказионального плана.

Пристальное рассмотрение языкового материала позволило нам считать аргю особой речевой сферой, состоящей из более или менее произвольно выбираемых, видоизменяемых и сочетаемых элементов естественного языка, которые проявляются исключительно в устной речи социально обособленных замкнутых групп. Своеобразные социальные условия существования людей, входящих в такие группы, постоянно враждебное отношение к обществу, его нормам, презрение к труду, женщине, огромная роль личных качеств при совершении преступления и т. д. – все это создает предпосылки появления у них своего особого речевого поведения. Эти же социальные условия отражаются на лексико-семантическом составе аргю.

Разноаспектное изучение социального диалекта аргю дало свои результаты. Обращение к семантике арготизмов позволило, с одной стороны, установить, что обширные ряды слов соотносены с одним и тем же понятием. Это проистекает из стандартности мышления арготирующих, обусловленного ограниченностью их рода деятельности, жизненных интересов, внутреннего мира и видения окружающего мира под чрезвычайно суженным углом зрения. С другой стороны, выявить, что в арготической лексике проявляется склонность носителя аргю к конкретизации представлений об окружающем мире – отсюда наличие значительного числа синонимов, большого количества устойчивых словосочетаний, конкретизирующих общее значение глагола.

Применение метода семного анализа обеспечило возможность раскрыть внутреннюю структуру лексико-семантической группы ‘взять в свою собственность’ и поставить вопрос не только о системности, но и о специфике системной организации арготической лексики и составляющих ее групп. Специфика эта проявляется, в частности, в том, что обнаруживается массовая дублетность, ослабляющая взаимоотношения и взаимосвязи единиц в системе. Системная избыточность приводит к слабости самой системы.

С 2000 г. начинается новый виток развития социальной диалектологии в Пермском университете. В это время окончательно оформился научный межвузовский семинар «Школа социо- и психолингвистики» (руководители – Т. И. Ерофеева, Е. В. Ерофеева, Т. И. Доценко). Участники школы собираются на заседаниях, где обсуждают ключевые проблемы современной лингвистической науки, в том числе и социальной диалектологии [Доценко, Ерофеева Е., Ерофеева Т. 2010]. В работе школы принимают активное участие студенты и аспиранты Пермского государственного университета и Пермского государственного педагогического университета, а также ведущие специалисты не только отечественных, но и зарубежных вузов. Для молодых ученых выступления на семинаре являются хорошей проверкой научных концепций, которые в дальнейшем «выливаются» в состоявшиеся исследования (см., например: [Балашова 2006; Зубарева 2010; Усманова 2006]).

За последние 20 лет развития направления было поддержано 12 фундаментальных и прикладных проектов, связанных с изучением проблем социальной диалектологии и исследованием языковой ситуации региона; защищено 2 докторских (Ерофеева Т. И., Ерофеева Е. В.) и 20 кандидатских диссертаций (Загоруйко Ж. С., Черноусова А. С., Гаранович М. В., Литвинова Е. С., Кропачева М. А., Корлякова А. Ф., Низгулов Т. С. и др.); выпущено 16 сборников научных трудов «Проблемы социо- и психолингвистики» [2002–2012]; с 2013 г. начал издаваться научный журнал «Социо- и психолингвистические исследования» [2013–2015].

Представим научные результаты изучения речи города этого периода. Под языком города понимается динамическое языковое образование, постоянно находящееся в стадии становления. Своеобразие языка города заключается в его двойственной природе: с одной стороны, он представляет собой гетерогенную структуру, в которой отмечается взаимовлияние разнородных элементов, таких как литературный язык, диалект, просторечие, языки исконного населения и

т. п.; с другой стороны, в результате этого взаимодействия образуется гомогенная система, специфичная для каждого конкретного региона. Такое понимание объекта исследования является новым и актуальным для современной лингвистики.

В рамках направления развивается теория локальной вариативности форм языка, в первую очередь – локальной вариативности литературного языка. Принципиально важным для направления является выдвинутое и разрабатываемое понятие локализма – языковой единицы, отмечаемой на определенной территории. Кроме того, рассматриваются региональные маркеры в русской речи билингвов (коми-пермяков и татар) – коренного населения Пермского края [Русская речь коми-пермяков 2007; Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края 2010 и др.]. Многолетнее изучение живой речи региона позволило подготовить к изданию не имеющий аналогов региональный словарь локальных элементов Пермского края – «Глоссарий русских локализмов» – и включить его материалы в учебное пособие по курсам русской диалектологии и культуры речи [Ерофеева Е., Ерофеева Т., Скитова 2002]. Исследования локальной вариативности вносят весомый вклад в развитие теории региолекта [Ерофеева Е. 2005; Ерофеева Т. 2009].

Существенная роль в изучении городской речи отводится моделированию частных и обобщенных социолектов [Ерофеева Е. 2010], которое дает возможность вскрывать и показывать социолингвистический механизм функционирования разноуровневых единиц и анализировать закономерности речевого поведения носителей языка в реальных жизненных условиях [Ерофеева Е., Ерофеева Т., Грачёва 2000; Загоруйко 1999; Гаранович 2008; Усманова 2006]. Вариативность наряду с устойчивостью является важнейшей характеристикой городского общения, поэтому для моделирования социолектов языка города используется вероятностный метод. Комплексные статистические модели городской речи на материале русского языка создавались и создаются только в рамках данного направления. При статистическом моделировании исследуется влияние на речь как отдельных социальных факторов (гендера, возраста, образования, профессии и др.), так и взаимодействия факторов. Изучение социолингвистического варьирования языковых единиц разных уровней (фонетического, лексического, грамматического) и различной природы в рамках одного уровня (локализмов, профессионализмов, архаизмов, жаргонизмов и т. п.) позволило сделать выводы о сложных вза-

имосвязях социальных факторов с владением различными единицами языковой системы [Ерофеева Е. 2005; Ерофеева Т. 2010].

Изучение социальной вариативности речи на современном этапе развития социальной диалектологии в Пермском университете проводится в тесной связи с исследованием психолингвистических факторов (ситуации, психологических характеристик личности), а также в связи с формированием когнитивных систем и языковой компетенции индивида. Все это позволяет ставить вопросы, касающиеся роли языка в становлении и функционировании социальной идентичности, стереотипов, ценностей [Гаранович 2010; Ерофеева Е. 2011, 2014; Ерофеева Е., Худякова 2012; Худякова 2014].

С 2011 г. пермские лингвисты, работающие в направлении социальной диалектологии, приступили к разработке еще одной темы – субкультурные образования, которые с учетом социокультурной стратификации города понимаются как разные сегменты социума с их культурным кодом (обычаями, языком, традициями и т. д.). Определяются и описываются типы городских субкультур: просторечная культура, культура профессиональных сообществ, культура молодежных группировок, игровая культура сообществ, культура криминальных сообществ. Показаны методики описания лексического состава субкультурных единиц с помощью семантического поля и лексикографирования. В ноябре 2013 г. коллектив кафедры теоретического и прикладного языкознания провел конференцию «Проблемы исследования субкультур», посвященную субкультурам городского пространства. Впоследствии эта тема нашла освещение в журнале «Социо- и психолингвистические исследования» (2013 г.). Разработка этой темы была поддержана двумя проектами РГНФ: «Языковые субкультуры в структуре городской культуры» (2011–2013 гг.), «Взаимодействие субкультур и их языков» (2014–2016 гг.); в качестве участников в этих проектах приняли участие Т. И. Ерофеева, Е. В. Ерофеева, М. В. Гаранович, М. А. Кропачева и М. А. Литвинова.

Выработанный в рамках настоящего направления интегральный подход к исследованию речевой продукции горожанина позволяет не только описывать социолингвистическую специфику речи разных городов, но и выявлять инвариантные черты «городской речи» как целостного явления.

Примечания

¹ Статья подготовлена в рамках проектов РГНФ №15-04-00381, №15-04-00320.

² В статье использованы материалы доцента Ф. Л. Скитовой.

Список литературы

Адливанкин С. Ю. Некоторые вопросы словообразования существительных со значением лица (по материалам говоров Пермской области) // Вопросы фонетики, словообразования, лексики русского языка и методики его преподавания: труды 4-й зональной конф. кафедр русского языка вузов Урала. Пермь, 1964. Вып. 1.

Акчимский словарь – Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1984–2011. Т. 1–6.

Андреева Л.К. О разграничении общеупотребительной и окказиональной лексики при работе над опытом полного словаря говора одной деревни // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии: материалы IX зональной конференции русского языка вузов Урала. Пермь, 1972.

Балашова Е.А. Фрагменты наивной картины мира русских и словенцев по данным обыденных толкований слов (социолингвистический подход): учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2006. 160 с.

Гаранович М.В. Особенности функционирования гендерных речевых стереотипов в языковом сознании мужчин и женщин // Проблемы социо- и психолингвистики / отв. редактор Т. И. Ерофеева; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. Вып. 11: Языковая вариативность. С. 142–149.

Гаранович М. В. О социолингвистическом подходе при изучении функционирования гендерных стереотипов в языковом сознании носителей языка // Вестник Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2010. Т. 1, № 3. С. 122–128.

Грузберг Л. А. К изучению склонения имен существительных в говорах Пермской области (родительный падеж множественного числа) // Учен. зап. Перм. ун-та. 1960. Т. 16. Вып. 1.

Грузберг Л.А. О разграничении устной литературной речи и городского просторечия // Живое слово в русской речи Прикамья / ред. Ф. Л. Скитова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1989. С. 26–31.

Доценко Т. И., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И. Пермская школа социолингвистики: теоретические и методологические основы // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 2(8). С. 144–155.

Ерофеева Е. В. Вероятностная структура идиомов: социолингвистический аспект. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. 320 с.

Ерофеева Е. В. Дифференциация и интеграция социолектов // Вестник Пермского университета.

Российская и зарубежная филология. 2010. № 5(11). С. 39–47.

Ерофеева Е. В. Групповая идентичность и ее отражение во внутреннем лексиконе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2011. Вып. 1. С. 91–96.

Ерофеева Е. В. Несоциологическое исследование социальных идентичностей и ценностей: теоретическое обоснование, методы исследования, язык // Социо- и психолингвистические исследования. 2014. Вып. 2. С. 90–102.

Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Грачева И. И. Городские социолекты: Пермская городская речь: звучащая хрестоматия. Пермь; Бохум, 2000. 172 с., CD.

Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Скитова Ф. Л. Локализмы в литературной речи горожан: учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. 108 с.

Ерофеева Е. В., Худякова Е. С. Психолингвистическое исследование ценностных установок билингов (на материале тематической группы «Человек») // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. № 2. С. 7–16.

Ерофеева Т. И. О территориальном варьировании устной формы литературного языка (на материале речи пермской интеллигенции) // Живое слово в русской речи Прикамья / ред. Ф. Л. Скитова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1971. Вып. 2. С. 3–21.

Ерофеева Т. И. Локальная окрашенность литературной разговорной речи: учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1979. 91 с.

Ерофеева Т. И. Опыт исследования речи горожан (территориальный, социальный и психологический аспекты). Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1991. 136 с.

Ерофеева Т. И. Социолект: стратификационное исследование / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 240 с.

Ерофеева Т. И. Штрихи речевого портрета Прикамья: учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 192 с.

Живое слово в русской речи Прикамья / гл. ред. Ф.Л. Скитова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1969–1994. Вып. 1–12.

Загоруйко Ж. С. Профессиональный «портрет» малой социальной группы: структурно-семантическое и стратификационное описание: дисс. ... канд. филол. наук. Пермь, 1999. 129 с.

Зубарева А. А. Формулы русского речевого этикета: социолингвистическое исследование: учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 198 с.

Литературный язык и народная речь / гл. ред. Е.Н. Полякова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1977–1991. Вып. 1–6.

Лингвистическая ретроспектива, современность и перспектива города и деревни / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1999.

Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке. Л., 1927. Вып. 1: Единственное число. Т. 12. 324 с. 1931. Вып. 2: Множественное число. Т. 6. 411 с.

Обнорский С. П. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953. 251 с.

Потапова Н. П. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным именем существительным с собирательным значением, в говорах Пермской области // Учен. зап. Перм. ун-та. 1960. Т. 16. Вып. 1.

Проблемы социо- и психолингвистики / гл. ред. Т. И. Ерофеева, Е. В. Ерофеева; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002–2012. Вып. 1–16.

Русская спонтанная речь коми-пермяков: звучащая хрестоматия / Н. В. Боронникова, Т. И. Доценко, Е. В. Ерофеева и др.; науч. ред. Т. И. Ерофеева; Департамент внутренней политики Администрации губернатора Пермского края; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2007. 72 с., CD.

Русская спонтанная речь татароязычных билингов Пермского края: звучащая хрестоматия / Н. В. Боронникова, Е. В. Ерофеева, Е.С. Худякова и др.; науч. ред. Т.И. Ерофеева; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 100 с., CD.

Скитова Ф.Л. Из наблюдений над традиционными говорами Верещагинского района Пермской области // Доклады и сообщения Пермского государственного университета. Пермь, 1950.

Скитова Ф. Л. К вопросу о воздействии литературного языка на современные русские говоры // Учен. зап. Перм. ун-та. 1959. Т. 15. Вып. 1.

Скитова Ф. Л. Об одной фонетической особенности верхневишерских говоров Пермской области // Учен. зап. Перм. ун-та. 1962. Т. 22. Вып. 1. С. 45–50.

Скитова Ф. Л. Природа и закономерности семантических изменений при переходе областных слов в лексику литературного языка // Проблемы лексикологии. Минск, 1973.

Социо- и психолингвистические исследования. Пермь, 2013–2015. Вып. 1–3. [Электронный ресурс]. URL: <http://splr.psu.ru> (дата обращения: 13.07.2016).

Усманова М. В. Гендерная специфика когнитивных моделей ситуаций (на материале спонтанных монологов) / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2006. 152 с.

Федорова К. А. Термины родства в русских говорах на территории бывшей Чердынской зем-

ли // Вопросы фонетики, словообразования, лексики русского языка и методики его преподавания: труды 4-й зональной конф. кафедр русского языка вузов Урала. Пермь, 1964. Вып. 1.

Худякова Е. С. Этничность коми-пермяков как система оппозиций // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. № 4(28). С. 80–85.

References

Adlivankin S. Yu. Nekotorye voprosy slovoobrazovaniya sushchestvitel'nykh so znacheniem litsa (po materialam govorov Permskoj oblasti) [Some questions of derivation of nouns with the “face” meaning (a case study of the Perm region dialects)]. *Voprosy fonetiki, slovoobrazovaniya, leksiki russkogo yazyka i metodiki ego prepodavaniya* [Problems of phonetics, derivation, lexis of the Russian language and its teaching methods]. Perm, 1964. Iss. 1.

Akchimskiy slovar' – Slovar' govora d. Akchim Krasnovisherskogo rajona Permskoj oblasti [Akchim dictionary. Dictionary of the dialect of Akchim village of the Krasnovishersky district of the Perm region]. Perm State University. Perm, 1984–2011. Iss. 1–6.

Andreeva L. K. O razgranichenii obshcheupotrebitel'noj i okkazional'noj leksiki pri rabote nad opytom polnogo slovarya govora odnoj derevni [On delimitation between vernacular and occasional lexicon when working on a full dialect dictionary of a village]. *Aktual'nye problemy leksikologii i leksikografii* [Current problems of lexicology and lexicography]. Mater. IX zonal'noy konferentsii Russkogo yazyka vuzov Urala. [Proceedings of the 9th regional conference on the Russian language of the Ural universities]. Perm, 1972.

Balashova E. A. *Fragmenty naivnoj kartiny mira russkikh i sloventsev po dannym obydenykh tolkovaniy slov (sotsiolingvisticheskiy podhod)* [Fragments of the naive worldview of Russians and Slovenes according to ordinary meanings of words (sociolinguistic approach)]. Perm, 2006. 160 p.

Garanovich M. V. Osobennosti funktsionirovaniya gendernykh rechevykh stereotipov v yazykovom soznanii muzhchin i zhenshin [Features of gender speech stereotypes functioning in language consciousness of men and women]. *Problemy sotsio- i psikholingvistiki* [Problems of socio and psycholinguistics]. Perm, 2008. Iss. 11. P. 142–149.

Garanovich M.V. O sotsiolingvisticheskom podkhode pri izuchenii funktsionirovaniya gendernykh stereotipov v yazykovom soznanii nositelej yazyka [On the sociolinguistic approach in studying gender stereotypes functioning in language consciousness of native speakers]. *Vestnik Leningradskogo gosu-*

darstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina [Vestnik of Pushkin Leningrad State University]. 2010. Vol. 1. Iss 3. P. 122–128.

Gruzberg L. A. K izucheniyu skloneniya imjon sushchestvitel'nykh v govorakh Permskoj oblasti (roditel'nyj padezh mnozhestvennogo chisla) [On studying noun declension in dialects of the Perm region (genitive plural)]. *Uchenyje zapiski Permskogo universiteta* [Proceedings of the Perm State University]. 1960. Vol. 16. Iss. 1.

Gruzberg L. A. O razgranichenii ustnoj literaturnoj rechi i gorodskogo prostorechiya [On differentiation between oral standard speech and urban vernacular]. *Zhivoe slovo v russkoj rechi Prikam'ya* [The living word in the Russian language of Prikamye]. Perm, 1989. P. 26–31.

Dotsenko T. I., Erofeeva E. V., Erofeeva T. I. Permskaya shkola sotsiolingvistiki: teoreticheskie i metodologicheskie osnovy [Perm sociolinguistic school: theoretical and methodological foundations]. *Vestnik Permskogo universitetata. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and foreign philology]. 2010. Iss. 2(8). P. 144–155.

Erofeeva E. V. *Veroyatnostnaya struktura idiomov: sotsiolingvisticheskiy aspekt* [Probabilistic structure of idioms: sociolinguistic aspect]. Perm, 2005. 320 p.

Erofeeva E. V. Differentsiatsiya i integratsiya sotsiolektov [Differentiation and integration of sociolects]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and foreign philology]. 2010. Iss. 5(11). P. 39–47.

Erofeeva E. V. Gruppovaya identichnost' i ee otrazhenie vo vnutrennem leksikone [Group identity and its reflection in the mental lexicon]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filologiya. Vostokovedenie. Zhurnalistika* [Vestnik of St. Petersburg State University. Series 9. Philology. Asian Studies. Journalism]. 2011. Iss. 1. P. 91–96.

Erofeeva E. V. Nesotsiologicheskoe issledovanie sotsial'nykh identichnostej i tselestej: teoreticheskoe obosnovanie, metody issledovanija, jazyk [Non-sociological research on social identities and values: theoretical grounds, research methods, language]. *Sotsio- i psikholingvisticheskie issledovanija* [Socio- and Psycholinguistic Studies]. 2014. Iss. 2. P. 90–102.

Erofeeva E. V., Erofeeva T. I., Gracheva I. I. *Gorodskie sotsiolekty: Permskaya gorodskaya rech': zvuchashchaya khrestomatiya* [Urban sociolects: Perm urban speech: sounding chrestomathy]. Perm, Bohum, 2000. 172 p., CD.

Erofeeva E. V., Erofeeva T. I., Skitova F. L. *Lokalizmu v literaturnoj rechi gorozhan: ucheb. posobie* [Localisms in the standard speech of citizens. Learning guide]. Perm, 2002. 108 p.

Erofeeva E. V., Khudjakova E. S. Psikholingvisticheskoe issledovanie tselestnykh ustanovok bilingvov (na materiale tematicheskoy gruppy «Chelovek») [Psycholinguistic research on the bilinguals' system of values (a case study of the thematic group "Human")]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and foreign philology]. 2012. Iss. 2. P. 7–16.

Erofeeva T. I. O territorial'nom var'irovanii ustnoj formy literaturnogo yazyka (na materiale rechi permskoj intelligentsii) [On the territorial variation of the literary language in its oral form (based on speech of Perm intellectuals)]. *Zhivoe slovo v russkoj rechi Prikam'ya* [The living word in the Russian language of Prikamye]. Perm, 1971. Iss. 2. P. 3–21

Erofeeva T. I. *Lokal'naya okrashennost' literaturnoj razgovornoj rechi. Uchebnoe posobie* [A local specificity of literary colloquial speech. Learning guide]. Perm, 1979. 91 p.

Erofeeva T. I. *Opyt issledovaniya rechi gorozhan (territorial'nyj, sotsial'nyj i psikhologicheskij aspekty)* [Experience of investigation into townspeople speech (territorial, social and psychological aspects)]. Sverdlovsk, 1991. 136 p.

Erofeeva T. I. *Sotsiolekt: stratifikatsionnoe issledovanie* [Sociolect: stratification study]. Perm, 2009. 240 p.

Erofeeva T. I. *Shtrikhi rechevogo portreta Prikam'ya* [Features of Prikamye speech portrait]. Perm, 2010. 192 p.

Zhivoe slovo v russkoj rechi Prikam'ya [The living word in the Russian language of Prikamye]. Perm, 1969–1994. Iss. 1–12.

Zagorujko Zh. S. *Professional'nyj "portret" maloj sotsial'noj gruppy: strukturno-semanticheskoe i stratifikatsionnoe opisaniye*: dis. kand. filol. nauk [Professional "portrait" of small social group: structural, semantic and stratification description. Cand. philol. sci. diss.]. Perm, 1999. 129 p.

Zubareva A. A. *Formuly russkogo rechevogo etiketa: sotsiolingvisticheskoe issledovanie: ucheb. posobie* [Russian speech etiquette formulae: sociolinguistic study. Learning guide]. Perm, 2010. 198 p.

Literaturnyj jazyk i narodnaja rech' [The literary language and folk speech]. Perm, 1977–1991. Iss. 1–6.

Lingvisticheskaja retrospektiva, sovremennost' i perspektiva goroda i derevni [Linguistic retrospec-

tive, the present and prospects of towns and villages]. Perm, 1999.

Obnorskij S. P. *Imennoe sklonenie v sovremen-
nom russkom jazyke* [Nominal declination in the
modern Russian language]. Leningrad, 1927. Iss. 1.
Edinstvennoe chislo [The singular]. Vol. 12. 324 p.
1931. Iss. 2. Mnozhestvennoe chislo [The plural].
Vol. 6. 411 p.

Obnorskij S. P. *Oчерки по морфологии русского
глагола* [Essays on morphology of the Russian
verb]. Moscow, 1953. 251 p.

Potapova N. P. Soglasovanie skazuemogo s
podlezhashchim, vyrazhennym imenem sushchestvitel'ny
m s sobiratel'ny m znacheniem, v govorah
Permskoj oblasti [Agreement between the predicate
and the subject that is a noun with a collective mean-
ing in dialects of the Perm Region]. *Uchenyje
zapiski Permskogo universiteta* [Proceedings of
Perm State University]. Perm, 1960, Vol. 16. Iss. 1.

Problemy sotsio- i psikholingvistiki [Problems of
socio and psycholinguistics]. Perm, 2002–2012.
Iss. 1–16.

*Russkaya spontannaya rech' komi-permyakov:
zvuchashchaya khrestomatiya* [Russian spontaneous
speech of Komi-Permyaks: sounding chrestomathy].
N. V. Boronnikova, T. I. Dotsenko, E. V. Erofeeva
et al. Ed. by T. I. Erofeeva. The Internal Policy De-
partment of the Administration of the Perm region
governor. Perm State University. Perm, 2007.
72 p., CD.

*Russkaya spontannaya rech' tataroyazychnykh
bilingvov Permskogo kraja: zvuchashchaya khres-
tomatiya* [Russian spontaneous speech of Tartar bi-
linguals of the Perm region: sounding chrestoma-
thy]. N. V. Boronnikova, E. V. Erofeeva, E. S. Khu-
dyakova et al. Ed. by T. I. Erofeeva. Perm State
University. Perm, 2010. 100 p., CD.

Skitova F. L. Iz nablyudenij nad traditsionnymi
govorami Vereshchaginskogo rajona Permskoj ob-
lasti [From the observation of traditional dialects of
the Vereshchaginskiy district of the Perm region].
Doklady i soobshcheniya Permskogo gosudarstven-

nogo universiteta [Papers and reports of the Perm
State University]. Perm, 1950.

Skitova F. L. K voprosu o vozdeystvii litera-
turnogo yazyka na sovremennye russkie govory [To
the problem of the literary language effect on mod-
ern Russian dialects]. *Uchenyje zapiski Permskogo
universiteta* [Proceedings of the Perm University].
Perm, 1959. Vol. 15. Iss. 1.

Skitova F. L. Ob odnoj foneticheskoy osobennosti
verkhnevisherskikh govorov Permskoj oblasti [On a
phonetic peculiarity of the Upper Vishera dialects of
the Perm region]. *Uchenyje zapiski Permskogo uni-
versiteta* [Proceedings of the Perm University].
Perm, 1962. Vol. 22. Iss. 1. P. 45–50.

Skitova F. L. Priroda i zakonmernosti seman-
ticheskikh izmenenij pri perekhode oblastnykh slov
v leksiku literaturnogo yazyka [The nature and pat-
terns of semantic changes in the transition of region-
al words into the literary language]. *Problemy
leksikologii* [Problems of lexicology]. Minsk, 1973.

Sotsio- i psikholingvisticheskie issledovaniya
[Socio- and Psycholinguistic Studies]. Perm, 2013–
2015. Iss. 1–3. Available at: <http://splr.psu.ru>.

Usmanova M. V. Gendernaya spetsifika kogni-
tivnykh modelej situatsij (na materiale spontannykh
monologov) [Gender specificity of situations cogni-
tive models (a case study of spontaneous mono-
logues)]. Perm, 2006. 152 p.

Fedorova K. A. Terminy rodstva v russkikh go-
vorakh na territorii byvshej Cherdynskoj zemli [Kin-
ship terms in Russian dialects on the territory of the
former Cherdyn land]. *Voprosy fonetiki, slovoobra-
zovaniya, leksiki russkogo yazyka i metodiki ego
prepodavaniya* [Problems of phonetics, derivation,
lexis of the Russian language and its teaching meth-
ods]. Perm, 1964. Iss. 1.

Khudjakova E. S. Ehtnichnost' komi-permyakov
kak sistema oppozitsij [Ethnicity of Komi-Permyaks
as a system of oppositions]. *Vestnik Permskogo uni-
versiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija*
[Perm University Herald. Russian and foreign phi-
lology]. 2014. Iss. 4(28). P. 80–85.

SOCIAL DIALECTOLOGY AT PERM UNIVERSITY (brief overview, 1916–2016)

Tamara I. Erofeeva

**Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Perm State University**

Elena V. Erofeeva

**Head of the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Perm State University**

The article deals with the history of social dialectology and describes the results of multiyear studies on colloquial speech conducted at Perm State University. It is shown that the research is carried out by Perm linguists with regard to the interaction of territorial and social factors. The foundations of social dialectology were laid by dialectological studies which considered the language of a certain village (Akchim) as a real functioning system. Further progress in this research area was connected with the study of literary language within the social-territorial framework; conceptual foundations for literary language local variation were developed. Investigation into non-literary modes of urban speech (professional and jargon communication) was synchronously carried out. All this made it possible to further develop the theory of sociolect and its types, as well as to move to studying urban sociolects. The current stage of social dialectology development at Perm University is characterized by attention not only to social language variation itself, but also to cultural and psychological determination of linguistic facts. Linguistic issues related to subcultural formations are also being investigated.

Key words: social dialectology; Perm school of sociolinguistics; localism; sociolect; subculture; modeling.

УДК 81-11

ПЕРМСКАЯ ШКОЛА МЕТАФОРЫ¹**Лариса Михайловна Алексеева**

д. филол. н., профессор кафедры лингводидактики

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Пермь, ул. Букирева, 15. alm@psu.ru

Светлана Леонидовна Мишланова

д. филол. н., зав. кафедрой лингводидактики

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Пермь, ул. Букирева, 15. mishlanovas@mail.ru

Статья посвящена истории и принципам формирования теории метафоры в рамках деривационной теории в пермской лингвистической школе. Выявлены истоки и предпосылки создания школы метафоры, описаны основные этапы развития деривационной теории метафоры, приведены основные суждения и результаты изучения метафоры в аспекте дериватологии. Проанализированы основные направления исследований метафоры и их дальнейшие перспективы: метафорическое терминопорождение, когнитивная метафора, метафора в дискурсе, мультимодальная метафора и метафорическая компетенция. Отмечено, что для пермской школы метафоры характерен поиск новых аспектов изучения метафоры: мультимодальной, жестовой теории метафоры. Кроме того, большое внимание уделяется прикладным исследованиям метафоры, изучению кросскультурной специфики метафоры и динамики метафоризации в различных институциональных типах дискурса. Актуальным направлением становится исследование метафорической компетенции как способности идентифицировать метафоры в дискурсе, правильно интерпретировать и применять их в собственной речи.

Ключевые слова: пермская школа метафоры; метафора; дискурс; деривация; термин; метафорическая компетенция.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-122-133

Пермская школа метафоры создавалась как самостоятельное лингвистическое направление в рамках известного в 1970-е гг. лингвистического направления – дериватологии [Алексеева, Мишланова 2015; Alekseeva, Mishlanova, Isaeva 2014]. Созданию школы идеально соответствовала научная атмосфера того времени: признание многими лингвистами деривации как оптимальной концепции, способной решать накопившиеся в теории языка проблемы, а также большой авторитет профессора Л. Н. Мурзина, лидера в исследовании динамики языка. В 1970-е гг. Пермский университет был центром научных поисков и открытий, где регулярно проводились дериватологические конференции. Сформировался постоянный круг их участников, к которому каждый раз примыкали начинающие исследователи. Молодых исследователей метафоры объединял интерес к ее природе с позиций дериватологии.

За 42 года существования школы метафоры пермскими лингвистами по проблемам метафоры было защищено 10 кандидатских и 2 докторские диссертации и вышло в свет более 500 научных публикаций.

Начало исследованию метафоры положила работа Л. Н. Мурзина «Синтаксическая деривация», написанная в 1974 г. Отметим, что именно в рамках пермской школы, задолго до публикации известной в мире монографии по когнитивной метафоре Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980], были заложены основы теории метафоры, которые вследствие ряда причин не получили всемирной известности.

Особенностью пермского «взгляда» на метафору явилось то, что пространство исследования метафоры не ограничивалось рамками слова: метафору понимали как явление, опосредованное многими факторами, в частности текстом, про-

фессиональной речью, дискурсом [Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013; Alekseeva, Mishlanova, Nakhimova, Tchudinov 2014].

В истории пермской школы метафоры просматриваются два периода эволюционного развития теории метафоры. Эти периоды были обусловлены двумя открытиями: 1) раскрытием механизма метафоры, трактовавшегося как аналог текстопорождения (Л. Н. Мурзин, Т. Н. Симашко, М. Н. Литвинова, Л. М. Алексеева); 2) созданием теории метафоры как основы дискурса (С. Л. Мишланова и др.).

Заметной вехой в становлении деривации метафоры была статья С. Ю. Адливанкина и Л. Н. Мурзина «О предмете и задачах дериватологии» в сборнике «Деривация и текст», которая заканчивалась формулировкой актуальных задач новой лингвистики: выявление сути деривационных процессов, их типология, соотношение глубинного и поверхностного аспектов, пересмотр содержания традиционных научных дисциплин, формирование новых дисциплин, что в совокупности должно привести к становлению нового направления в лингвистической науке [Адливанкин, Мурзин 1984: 12].

С этих позиций рассмотрим исходные положения теории метафоры, выдвинутые исследователями метафоры на первом этапе.

1. Метафора моделируема. Предложена модель метафоризации как результат контаминации двух семантически непроемких предложений: базового и интродуктивного [Мурзин 1972; Мурзин 1979; Симашко 1979].

2. Пропозиция отражает основное содержание высказывания. Модель метафоры, обоснованная текстопорождением, также пропозициональна. Следовательно, метафора порождается и представляет собой знак, который получает развитие в речи [Мурзин 1984: 69].

3. У метафоры есть *денотативный* и *сигнификативный* уровни [Мурзин 1974].

4. Язык динамичен. Разработано понятие *динамики языка*. «Язык в каждый момент своего бытия обладает статической основой (языковая система) и динамическим способом, или формой, существования (речь): совокупность этих двух сторон языкового существования и составляет то, что называется синхронией языка. Деривация метафоры соотносится с речевой деятельностью человека. Коммуникативные акты имеют непосредственным результатом создание **речевых** единиц (текстов, номинативных словосочетаний, лексических дериватов). Диалектика: процессы деривации происходят в речи, а продукты деривации фиксируются в языковой системе» [Адливанкин, Мурзин 1984: 5]. Введено понятие *текста*: «речевое (внешнеречевое) построение, со-

держащее законченное сообщение о результатах познавательной деятельности и иной психической деятельности человека» [там же: 7]. «**Деривационные процессы имеют единую мыслительную природу**: создание речевых единиц (внешняя речь, т. е. **коммуникативная**) опирается на процессы внутренней речи (**когнитивная**)» [там же: 8]. Естественно, что коммуникация опирается на мысле-речевую деятельность человека [см.: Выготский 2001: 21].

5. Метафора представляет собой постсемантический (производный) процесс [Мурзин 1984].

6. Принципиально **новым** является процессуальный подход к образованию метафорического высказывания: «Живую метафору следует связывать не с изменением значения слова, а с поиском выражаемого ею смысла» [там же: 19]. При этом порождение метафоры рассматривается как процесс формирования метафорического высказывания по законам текстообразования. Как и художественный текст, метафорическое высказывание является *двуплановым* [там же: 12].

7. Как единица производная, т. е. деривационно более сложная, метафора в художественном тексте удлиняет декодирование [там же]. Это связано с особенностями прагматики метафоры: «Компактность и необычность обозначения объекта и выражения мысли – вот прагматические особенности воздействия на декодирующего» [там же: 50]. Тем не менее образование и функционирование метафоры в художественном тексте подчиняется общеязыковому, в том числе деривационным, законам: «Выявление общих свойств метафоры и художественного текста важно потому, что метафора является одним из текстообразующих компонентов. Очевидно, понимание того, как строится метафора, помогает разобраться и в законах построения художественного текста и, наоборот, анализ художественного текста, его построения способствует раскрытию некоторых тайн построения метафоры» [там же: 13].

В монографии «Как образуется метафора (деривационный аспект)» Т. В. Симашко и М. Н. Литвинова обращаются к анализу метафоры в художественном тексте [Симашко, Литвинова 1993]. Авторы рассматривают метафору как последовательность деривационных шагов в ходе процесса текстообразования. Их интересует генезис живой метафоры, т. е. процесс ее образования в тексте, в речевой деятельности. Отмечается, что во внутренней речи производится мысле-речевая операция, которая выражается во внешней речи в виде деривационной модели. Доказывается, что метафора предикативна по природе, поскольку в центре ее находится глагол. Сравнение, двухкомпонентная метафора и

метафора-загадка рассматриваются как производные единицы с разной деривационной историей. Особый интерес представляет изучение особенностей перевода метафоры в художественном тексте: выявлено, что при переводе метафоры, как правило, актуализируются деривационные шаги, предшествующие образова-

нию метафоры в деривационной модели [Литвинова 1987].

Теоретические предпосылки появления деривационной теории метафоры, а также развившиеся на ее основе новые направления исследования метафоры в Пермском университете представлены в таблице.

Развитие теории метафоры в пермской школе метафоры

<i>Автор</i>	<i>Понятие метафоры</i>	<i>Носитель метафоры</i>	<i>Механизм</i>	<i>Отношение к языку</i>
Аристотель	Переносное слово	Слово	Аналогия	Принадлежит языку, языку художественного произведения
Потебня А. А.	Общий закон, который обеспечивает историческое развитие языка	Язык	Семантическое движение языка	Принадлежит языку
Мурзин Л. Н.	Выводит из плоскостного ракурса, переводит на два уровня: глубинный и поверхностный	Деривация двух предложений, контаминация двух предложений и компрессия	Механизм сравнения	Принадлежит тексту, связана с текстопорождением
Симашко Т. В., Литвинова М. Н.	Метафора – результат творческого акта	Словосочетание, предложение, текст	Производится в тексте. Опирается на знание того, как эти реалии выглядят	Не принадлежит языку, но покидает его, поскольку семиотична по природе; метафора – свидетельство жизнеспособности языка
Алексеева Л. М.	Способ моделирования научного знания	Текст	Создание пары подобных отношений в тексте	Принадлежит тексту
Мишланова С. Л.	Когнитивно-коммуникативный механизм семиозиса	Дискурс. Циклический процесс усвоения, порождения и фиксации (новых) языковых знаков в дискурсе – вербально опосредованной профессиональной деятельности	Семиотический цикл – развитие языкового знака в дискурсе	Принадлежит разным стадиям дискурса (когнитивной, семантической, внутренней речи, внешней речи (тексту), языку как системе)
Алексеева Л. М., Мишланова С. Л.	Перевод как метафора. Текст оригинала и текст перевода как компоненты в структуре метафоры (Цель и Источник); можно применять методы идентификации метафоры	Дискурс	Переводящая личность (экстракция и трансляция научного знания)	Принадлежит дискурсу – разные виды перевода соответствуют разным стадиям дискурса (трансмутация, межъязыковой перевод, внутриязыковой перевод)
Алексеева Л. М., Мишланова С. Л.	Мультимодальная коммуникация как метафора	Дискурс как семиосфера – репрезентация знания различными модусами	Разные компоненты метафоры (Цель и Источник) репрезентируются разными модусами	Одним из модусов репрезентации метафоры в дискурсе может быть вербальный

<i>Автор</i>	<i>Понятие метафоры</i>	<i>Носитель метафоры</i>	<i>Механизм</i>	<i>Отношение к языку</i>
Мишланова С. Л., Уткина Т. И., Полякова С. В., Ковязина Е. Н., Ивинских Н. П., Полякова С. В., Тарасова Н. П., Исаева Е. В.	Когнитивно-коммуникативная стратегия переработки (процессирования) научного знания	Дискурс – транс-дискурсивное пространство как иерархия типов дискурса (от научного до наивного)	Регуляция когнитивных и коммуникативных процессов переработки научного знания	Принадлежит дискурсу – экспертное и неэкспертное знание передается разными концептуальными и деривационными моделями метафоры
Мишланова С. Л.	Метафорическая компетенция – способность порождать и понимать метафору в дискурсе	Дискурс как единство внутренней и внешней речевой деятельности (в профессиональной сфере)	Языковая личность / ПЯЛ (интериоризация и экстериоризация РД в дискурсе)	Принадлежит дискурсу как совокупности репрезентаций языка (система, текст, способность) – компонент (профессионально-ориентированной) коммуникативной компетенции

Новым подходом к изучению метафоры в пермской лингвистической школе стало исследование метафоры в языке науки. В основу теории терминологической метафоризации, разработанной Л. М. Алексеевой, были положены идеи деривационной природы термина, представления о термине как производном языковом знаке² [Алексеева 1990, 1996а, 1996б, 1997а, 1997б]. Метафорическое терминообразование рассматривалось при этом как один из вариантов деривации термина [Алексеева 1990]. Развитие теоретических аспектов терминологической метафоризации представлено в докторской диссертации Л. М. Алексеевой и ее монографии «Термин и метафора»³ [Алексеева 1998; Алексеева, Мишланова 2002]. Представим наиболее важные тезисы названных работ.

1. Метафоризация – изоморфный процесс, имеющий место во многих типах коммуникаций. Построена модель процесса терминологической метафоризации.

2. Метафора в роли терминологической единицы выступает не как некий конечный продукт речевой деятельности или некое эффективное экспрессивное средство, а составляет основу процесса индивидуального научного творчества, целью которого является представление новизны открываемого знания и его оязыковление⁴.

3. При порождении нового научного текста происходит соотнесение нового авторского концепта с уже существующей системой знания и тем самым создаются предпосылки перехода субъективного в объективное. В этом видится смысл познавательного процесса, в результате

которого реализуется возможность перешагнуть границы собственного опыта и соотнести его с системой знания в целом.

4. Специфика научной метафоры обосновывается, прежде всего, характером научного познания, а также особенностями научной коммуникации.

5. Научная метафора в ходе коммуникации дает возможность говорящему формулировать свое открытие, а слушающему – понимать новизну и одновременно выстраивать новые стратегии интерпретации исследуемого явления.

В процессе разработки теории метафоры постепенно сформировался круг проблем, который сконцентрировал интересы исследователей. Одним из интересов был термин как элемент познавательной деятельности. Как удалось показать, любая научная концептуальная система носит открытый характер, а основную тенденцию развития науки можно определить как постоянное преодоление создаваемого самой наукой концептуального барьера. Отсюда следует, что старое знание получает постоянное приращение, нуждающееся в обозначении. Соответственно, основным содержанием терминопорождающих процессов, средства приращения знания, становится создание новых терминов, основанных на результате семантической переработки уже имеющегося лексического материала, иначе, научных метафор. В этой связи сам процесс терминологической метафоризации можно определить как создание новой функциональной языковой единицы, обозначающей приращенное знание в ходе исследования объектов или явлений действительности. Важную роль в образовании

терминологической метафоры играет понимание, поскольку понимание – это компонент мышления, один из образующих его процессов. Понимание обеспечивает установление связи раскрываемых новых свойств объекта познания с уже известными субъекту, а метафоры «существуют как вполне обычный творческий процесс человеческого познания, который объединяет понятия, в норме не связанные, для более глубокого проникновения в суть дела» [МакКормак 1990: 373]. Следовательно, исследование метафоры тесно связано с изучением различных психических процессов, в частности, с анализом ментальных репрезентаций.

Комплексное описание речевой деятельности в широком экстралингвистическом контексте, т. е. дискурсе, позволяющем рассматривать метафоризацию в качестве единого универсального процесса развития знака, представлено в монографии С. Л. Мишлановой «Метафора в медицинском дискурсе» [Мишланова 2002; Mishlanova 2004]. Автором предпринята попытка изучения особенностей метафоризации в медицинском дискурсе с целью построения интегративной модели метафоры как теоретического аналога терминологизации. Целостное описание дискурса как вербально опосредованной деятельности в специальной сфере позволило рассматривать метафоризацию в качестве единого универсального процесса развития знака, охватывающего весь континуум знаковой деятельности. Само понятие «метафора» при таком подходе распространяется и на механизм, и на процесс, и на отдельную фазу, и на ее результат, а также на отдельный уровень дискурса, обеспечивая унификацию явлений, имеющих разное теоретическое обоснование. Метафора в данном исследовании – это средство изучения терминологизации в дискурсе, когнитивный механизм коммуникативно опосредованного процесса развития знака [там же: 3].

Дискурс является сложной функциональной системой, включающей иерархию уровней – этапов знаковой деятельности, в частности, этапа усвоения языкового знака, этапа концептуальной метафоры, этапа метафоризации в процессе текстообразования, этапа металингвистической деятельности. Изучение особенностей категоризации в медицинском дискурсе проводилось на основе тезауруса метафорических моделей с использованием методики деривационного анализа [Мурзин 1974; Мурзин 1984; Мишланова 2002]. В деривационной теории метафоризация представлена как сложный, двухэтапный процесс. Первый этап метафоризации заключается в деривации вторичных предикативных структур, а второй этап – в компрессии этих структур и об-

разовании производного – вторичного атрибутивного сочетания, дальнейшая компрессия которого приводит к образованию вторичной номинации. При этом очевидно, что в процессе метафоризации актуализируются основные, известные еще с античных времен, типы метафоры – сравнение и предикативная метафоры (относящиеся к предикативным структурам), эпитеты (вторичные атрибуты) и метонимия (вторичная номинация). Иными словами, в процессе метафоризации образуются основные виды тропов, представляющие собой этапы знаковой деятельности [Мишланова 1998, 2002, 2003].

Рассмотрение метафоры в качестве теоретического аналога терминологизации, т. е. семиотического цикла развития знака в дискурсе, привело к разработке деривационной модели перевода [Алексеева, Мишланова 2002]. В деривационной модели перевода последовательность разных видов перевода (межсемиотического, межъязыкового и внутриязыкового [см.: Якобсон 1985]) предстает как последовательность этапов развития знака в дискурсе. При этом на этапе межсемиотического перевода, или концептуализации, формируется когнитивный уровень дискурса, репрезентирующий объем специального знания. Именно этот уровень определяет специфику дискурса и терминообразования как механизма дискурса. Межъязыковой перевод понимается как экспликация процесса концептуализации с помощью механизма текстообразования, объективация этого процесса в знаках коммуникативных систем. Внутриязыковой перевод представляется как процесс формирования наиболее типичных для данного этапа деятельности способов образования знаков [Алексеева, Мишланова 2002: 100].

Поиски новых аспектов изучения метафоры сыграли важную роль в разработке мультимодальной теории метафоры. В качестве примера теоретической аналогии метафоры может служить мультимодальная коммуникация, в частности, ее вариант, когда один из семиотических кодов является языковым / вербальным. Мультимодальная коммуникация может быть соотнесена с семиосферой [Лотман 1996], дискурсом (вербально опосредованной деятельностью в специальной сфере) [Алексеева, Мишланова 2002], интертекстом [Баранов, Караулов 1994]. Однако в наибольшей мере эвристический потенциал когнитивной теории метафоры реализуется при описании мультимодальной метафоры как единицы мультимодальной коммуникации, например, речи, сопровождающейся жестикulyацией [Мишланова, Суворова 2013; Мишланова, Хохлова 2013; Mishlanova, Suvorova 2014; Mish-

lanova, Morozova, Khokhlova 2014]. В данных работах применяются методики идентификации жестов, считающиеся общепринятыми во многих исследовательских центрах мира [Cienki 2008; 2010]. Активно изучается также мультимодальная, но не содержащая вербального компонента, метафора: поиском метафор в городском пространстве Перми – музейных экспонатах, архитектурных памятниках, рекламе и предметах быта и т. п. – занимаются участники международных летних школ метафоры, проводимых в Пермском университете [Suvorova, Mishlanova 2014].

Большое внимание в пермской школе метафоры уделяется прикладным исследованиям метафоры. В частности, разработана методика сопоставительных исследований метафоры, применение которой в изучении кросскультурной специфики метафоры и динамики метафоризации в различных институциональных типах дискурса вносит уточнения в теорию когнитивной метафоры и сопоставительную метафорологию [Mishlanova 2004; Мишланова 2010]. Особый интерес представляют сопоставительные исследования метафоры, репрезентирующей экспертное и неэкспертное знание [Dijk 2003, 2014], изучение функций метафоры в коммуникации знания [Alekseeva, Isaeva, Mishlanova 2013]. Для выявления специфики метафоры в коммуникации знания проведено исследование научно-популярного медицинского дискурса (НПМД) как прагматически ориентированного способа вербализации научного знания, обусловленного комплексом факторов семиотического, когнитивного и коммуникативного характера. Предложена типология текстов указанного дискурса, построены модели концептуальной метафоры, определены ее функциональные особенности, проведено сравнение метафоризации в разных типах медицинского дискурса. Доказано, что в семиотическом аспекте НПМД представляет собой производный по отношению к научному тип дискурса. Метафоризация в НПМД – это опосредованная совокупностью когнитивно-коммуникативных стратегий популяризации вербализация прагматически переработанного (процессированного) научного знания. Как единица НПМД метафоризация представляет собой совокупность стратегий популяризации, каждая из которых обеспечивает реализацию конкретной функции метафоры (концептуализацию, категоризацию, контаминацию, персонификацию, положительное информирование) [Уткина, Мишланова 2008]. Кроме этого, были исследованы различные типы медицинского дискурса, представляющие собой разные способы вербализации кон-

цепта – текст и ассоциативное поле («язык-способность») [Караулов 1999], причем каждый тип дискурса рассматривался в сопоставительном аспекте, т. е. на материале нескольких языков. Установлено, что метафоризация в тексте (в нашем исследовании – в научном и научно-популярном медицинском дискурсе) носит универсальный характер и не зависит от языка, т. е. выявлен изоморфизм метафорических схем в текстах. В ассоциативных полях русских и американских информантов определены кросскультурные различия, проявляющиеся в несовпадении метафорических схем [Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013]. Сопоставительное исследование динамики метафоризации обнаружило преобладание природной метафоры в дискурсе античной философии и доминирование антропоморфной метафоры в дискурсе философии Средних веков на русском и английском языках [Ковязина, Квасков, Мишланова 2009]. Изучение динамики метафоризации в педагогическом дискурсе русского и английского языков показало общие тенденции смены метафорических моделей, обусловленных закономерностями сдвигов научных парадигм, а также актуализацию метафорической стратегии «часть – целое – функция» как в русскоязычном, так и англоязычном дискурсе [Кубрякова 1995]. Метафорическое моделирование было применено для выявления особенностей функционирования метафоры при актуализации различных функций (информирования и воздействия) в коммуникации риска; доказано, что разные функции коммуникации риска реализуются разными метафорическими моделями и разными типами метафоры; выявленные особенности метафорического моделирования свидетельствует как о национальном своеобразии русской и немецкой концептосферы, так и об общих тенденциях языковой организации медийного дискурса эпидемии [Mishlanova, Tarasova 2013]. Примечательно, что для идентификации метафоры применяется методика MPVU [Steen 2007, 2010], однако вводятся ее модификации, такие как дополнительный шаг при идентификации метафорического термина, разработка трехмерной методики анализа метафоры с применением фреймового анализа, позволяющей определять смену семантических ролей внутри одной метафорической модели в разных типах дискурса компьютерной безопасности [Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013; Alekseeva, Isaeva, Mishlanova 2013].

Следует подчеркнуть, что все более актуальным становится исследование метафорической компетенции, т. е. способности идентифициро-

вать метафоры в дискурсе, правильно их интерпретировать и применять в собственной речи [Мишланова, Хохлова 2012]. К метафорической компетенции относят такие аспекты речемыслительной деятельности индивида, как распознавание метафорических выражений при слушании и чтении новостей, научных текстов и т. п., использование метафорических выражений в устной и письменной речи, а также распознавание метафор и понимание механизмов, лежащих в основе построения метафорических выражений. В исследованиях, посвященных восприятию и пониманию метафоры в профессиональной коммуникации, подчеркивается, что метафорическая компетенция необходима не только для продуктивного общения, но и для успешного ориентирования в терминологическом и понятийном аппарате науки [Алексеева 1998; Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013; Ивинских 2013], а также для понимания и продуцирования специальных текстов. В то же время в литературных источниках практически отсутствуют данные, подтверждающие зависимость метафорической компетенции от языковой и профессиональной компетенции. Перспективными представляются в этой связи попытки выявления стратегий восприятия терминов-метафор информантами с разным уровнем профессиональной компетенции, а также студентами языковых и неязыковых специальностей [Мишланова 2010; Мишланова, Хохлова 2014; Уткина, Мишланова 2014].

Современная антропоцентрически ориентированная лингвистика открыла новые перспективы изучения метафоры, расширив исследовательский контекст (изучение языка в человеке и для человека), и тем самым дала возможность рассматривать метафору не только как явление языка, но и как универсальный семиотический механизм, обуславливающий взаимодействие людей в процессе деятельности.

Перспективы изучения метафоры пермские исследователи видят в разработке методов корпусного анализа метафоры, в применении методов компьютерного моделирования метафоры в дискурсе, в освоении современных методов визуализации нейрофизиологических процессов, задействованных в порождении и восприятии метафоры, а также методов когнитивно-матричного анализа мультимодальной метафоры.

Примечания

¹ Исследование выполнялось при финансовой поддержке основной части госзадания (проект № 303) и Российского гуманитарного научного фонда (проекты №16-13-59006, №16-16-59009).

² Плодотворной в этой связи следует признать концепцию языкового субстрата термина В. М. Лейчика [Лейчик 1986].

³ За данную монографию Л. М. Алексеева была удостоена звания лауреата премии РоссТерма им. П. А. Флоренского с учетом ее вклада в развитие отечественного терминоведения (1999 г.). Исследования Л. М. Алексеевой в области терминоведения получили высокую оценку на международном уровне: ей была присуждена международная награда Австрийского отделения ЮНЕСКО, Международного центра по терминологии (INFOTERM) – Eugen Wüster Special Prize (специальная награда им. О. Вюстера), 2006.

⁴ Пермская школа метафоры сложилась не на основе теории Дж. Лакоффа, а исходя из теории М. Блэка, включающей весьма продуктивные идеи, например, ту, что указывает на возможность использования некоторых метафор как «когнитивных инструментов», которые помогают понять нам отдельные фрагменты действительности.

Список литературы

- Адливанкин С. Ю., Мурзин Л. Н. О предмете и задачах дериватологии // Деривация и текст: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. Пермь, 1984. С. 3–12.
- Алексеева Л. М. Деривационный аспект исследования термина и процессов терминообразования (на материале научно-технической терминологии русского и английского языков): дисс. ... канд. филол. наук. Пермь, 1990. 161 с.
- Алексеева Л. М. Модель метафорического терминопорождения в научном тексте // Проблемы прикладной лингвистики: сб. науч. тр. Пенза: Изд-во ПГПУ, 1996а. С. 3–8.
- Алексеева Л. М. Лингвистические механизмы метафоризации // Лингвистические и методические аспекты текста: сб. науч. тр. / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1996б. С. 57–64.
- Алексеева Л. М. Метафорическая терминологизация и текстопорождение // Терминоведение. М.: Московский лицей, 1997а. № 1–3. С. 109–115.
- Алексеева Л. М. Специфика научной метафоризации // Филологический вестник. М.: Московский лицей, 1997б. Т. 82, №1/2. С. 132–141.
- Алексеева Л. М. Метафорическое терминопорождение и функции терминов в тексте: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. М.: РУДН, 1999. 33 с.
- Алексеева Л. М. Термин и метафора. Пермь: Изд-во ПГУ, 1998. 250 с.
- Алексеева Л. М., Ивинских Н. П., Мишланова С. Л., Полякова С. В. Метафора в дискурсе: учеб. пособие под ред. Л. М. Алексеевой / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. 244 с.

Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 200 с.

Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Теория деривации (к 85-летию профессора Л. Н. Мурзина) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2015. Вып. 3(31). С. 127–135.

Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Словарь русских политических метафор. М.: Помовский и партнеры, 1994. 351 с.

Выготский Л. С. Мышление и речь. Психика, сознание, бессознательное. М.: Лабиринт, 2001. 368 с.

Караулов Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М.: ИРЯ РАН, 1999. 180 с.

Ковязина Е. Н., Квасков В. Н., Мишланова С. Л. Природа как метафора в античной философии (на материале произведения Вл. Татаркевича «История философии») // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Филология. Искусствоведение. 2009. Вып. 35, № 30(168). С. 97–112.

Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. М.: Росс. гос. гуманитар. ун-т, 1995. С. 144–238.

Лейчик В. М. О языковом субстрате термина // Вопр. языкознания. 1986. № 5. С. 87–97.

Литвинова М. Н. Деривационно-прагматический анализ метафоры: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1987. 17 с.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки рус. культуры, 1996. 448 с.

МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 358–386.

Мишланова С. Л. Метафора в медицинском тексте (на материале русского, немецкого, английского языков): автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Пермь, 1998. 17 с.

Мишланова С. Л. Метафора в медицинском дискурсе. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 160 с.

Мишланова С. Л. Термин в медицинском дискурсе (образование, функционирование, развитие): автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. М.: ИЯ РАН, 2003. 36 с.

Мишланова С. Л. Анализ восприятия медицинских метафорических терминов // Известия Самар. науч. центра Росс. акад. наук. 2010. Т. 12, № 3(2). С. 482–486.

Мишланова С. Л., Суворова М. В. Применение методики анализа жестов в исследовании мультимодальной репрезентации концепта «счастье» в устном нарративе // Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур: в 2 ч. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. Ч. 1. С. 22–25.

Мишланова С. Л., Хохлова А. Е. Метафорическая компетенция у студентов языковых и неязыковых специальностей // Иностранные языки в контексте культуры: межвуз. сб. ст. по материалам конф. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012. С. 188–194.

Мишланова С. Л., Хохлова А. Е. Вербальная и жестовая репрезентация отношения пространство-время в устном нарративе // Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур: в 2 ч. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. Ч. 1. С. 26–29.

Мурзин Л. Н. Образование метафор и метонимий как результат деривации предложений: К постановке вопроса // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1972. С. 362–366.

Мурзин Л. Н. Синтаксическая деривация: Анализ производных предложений русского языка / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1974. 170 с.

Мурзин Л. Н. Компрессия и семантика языка // Семантика и производство лингвистических единиц: сб. науч. ст. / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1979. С. 36–46.

Мурзин Л. Н. Основы дериватологии / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1984. 56 с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 528 с.

Потебня А. А. Мысль и язык. М.: Лабиринт, 1999. 300 с.

Симашко Т. В. Анализ семантической производности метафорических предложений // Семантика и производство лингвистических единиц (Проблемы деривации): межвуз. сб. науч. тр. / Перм. гос. ун-т, Пермь, 1979. С. 100–106.

Симашко Т. В., Литвинова М. Н. Как образуется метафора (деривационный аспект). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1993. 218 с.

Уткина Т. И., Мишланова С. Л. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе (семиотический, когнитивно-коммуникативный, прагматический аспекты) / Перм. гос. ун-т, Пермь, 2008. 428 с.

Уткина Т. И., Мишланова С. Л. Метафора в профессиональной коммуникации (на материале экономического дискурса) // Европейский журнал социальных наук. 2014. № 2(41). Т. 2. С. 259–265.

Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 361–365.

Alekseeva L., Isaeva E., Mishlanova S. Metaphor in Computer Virology Discourse // World Applied Sciences Journal. 2013. 27 (4). P. 533–537.

Alekseeva L. M., Mishlanova S. L., Nakhimova E. A., Tchudino A. P. The research of metaphor in the Ural linguistic school // Life Science Journal. 2014. 11 (12). P. 315–320.

Alekseeva L. M., Mishlanova S. L., Isaeva E. V. The Derivation Study of Metaphor // International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014. Anthropology, Archeology, History and Philosophy [Conference Proceedings, Book 3]. Albena, Bulgaria, 2014. P. 217–225.

Cienki A. Why study metaphor and gesture? In Gesture studies. Vol. 3 Metaphor and gesture. Eds., Cienki, A. and C. Müller. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2008. P. 5–25.

Cienki A. Multimodal Metaphor Analysis. In Metaphor Analysis: Research Practice in Applied Linguistics, Social Sciences and the Humanities /eds. L. Cameron and R. Maslen. London: Equinox Publishing, 2010. P. 195–214.

Dijk T. A. van Discourse and knowledge: a socio-cognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 400 p.

Dijk T. A. van. Specialized discourse and knowledge: a case study of discourse of modern genetics // Cad. Esp. Ling., Campinas, (44): 21–55, Jan./Jun. 2003.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 242 p.

Mishlanova S. Metaphor in medical discourse // Russian Terminology Science (1992–2002). IITF Series 12. TermNet Publisher. International Network for Terminology. Vienna, 2004. P. 266–279.

Mishlanova S., Tarasova N. Metaphor Modeling of Bird Flu in News Discourse // The Stockholm 2013 Metaphor Festival. Books of Abstracts. Stockholm: Stockholm University, 2013. P. 95–96.

Mishlanova S., Suvorova M. Multimodal representation of Happiness in Russian Students' Narrative // World Applied Sciences Journal. 2014. 30(14). P. 1752–1755.

Mishlanova S., Morozova E., Khokhlova A. Verbal and gestural representation of the space-time relation in the oral narrative // Proceedings from the 1st European Symposium on Multimodal Communication. University of Malta, Valetta, October 17–18, 2014. P. 51–54.

Steen G. Finding Metaphor in Grammar and Usage. John Benjamins Publishing Company, 2007. 425 p.

Steen G., Dorst A. at al. A Method for Linguistic Metaphor Identification. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 238 p.

References

Adlivankin S. Yu., Murzin L. N. O predmete i zadachakh derivatologii [On the subject and tasks of derivatology]. *Derivatsiya i tekst*. Mezhev. sb. nauch. tr. [Derivation and text. Interuniversity collection of scientific works]. Perm, Perm State University Publ., 1984. P. 3–12.

Alekseeva L. M. *Derivatsionnyj aspekt issledovaniya termina i protsessov terminoobrazovaniya (na materiale nauchno-tehnicheskoy terminologii russkogo i anglijskogo yazykov)*. Diss. kand. fil. nauk [Derivational aspect of studying a term and term-formation processes (on the material of scientific and technical terminology in the Russian and English languages). Cand. philol. sci. diss.]. Perm, 1990. 161 p.

Alekseeva L. M. Model' metaforicheskogo terminoporozhdeniya v nauchnom tekste [The model of metaphorical term-formation in the scientific text]. *Problemy prikladnoj lingvistiki*. Sb. nauch. tr. [Problems of applied linguistics. Collection of scientific works]. Penza, Institute of Teacher Education of Penza State University Publ., 1996a. P. 3–8.

Alekseeva L. M. Lingvisticheskie mekhanizmy metaforizatsii [Linguistic mechanisms of metaphORIZATION]. *Lingvisticheskie i metodicheskie aspekty teksta*. Sb. nauch. tr. [Linguistic and methodological aspects of text. Collection of scientific works]. Perm, Perm State University Publ., 1996b. P. 57–64.

Alekseeva L. M. Metaforicheskaya terminologizatsiya i tekstoporozhdenie [Metaphorical terminologization and text-formation]. *Terminovedenie* [Terminology studies]. Moscow, Moskovskij litsej Publ., 1997a. № 1–3. P. 109–115.

Alekseeva L. M. Spetsifika nauchnoj metaforizatsii [Specificity of scientific metaphORIZATION]. *Filologicheskij Vestnik* [Philological Herald]. Moscow, Moskovskij litsej Publ., 1997b. Vol. 82. № 1/2. P. 132–141.

Alekseeva L. M. *Metaforicheskoe terminoporozhdenie i funktsii terminov v tekste*. Avtoreferat diss. dokt. fil. nauk [Metaphorical term-formation and functions of terms in text. Synopsis of Dr. philol. sci. diss.]. Moscow, Peoples' Friendship University of Russia Publ., 1999. 33 p.

Alekseeva L. M. *Termin i metafora* [A term and metaphor]. Perm, Perm State University Publ., 1998. 250 p.

Alekseeva L. M., Ivinskikh N. P., Mishlanova S. L., Polyakova S. V. *Metafora v diskurse*. Ucheb. posobie [Metaphor in discourse. Tutorial]. Ed. by L. M. Alekseeva. Perm, Perm State University Publ., 2013. 244 p.

- Alekseeva L. M., Mishlanova S. L. *Meditinskij diskurs: teoreticheskie osnovy i printsipy analiza* [Medical discourse: theoretical foundations and principles of analysis]. Perm, Perm State University Publ., 2002. 200 p.
- Alekseeva L. M., Mishlanova S. L. Teoriya derivatsii (k 85-letiyu professora L. N. Murzina) [Derivation theory (on the 85th Anniversary of Professor L. N. Murzin)]. *Vestn. Perm. un-ta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology]. 2015. Iss. 3(31). P. 127–135.
- Baranov A. N., Karaulov Yu. N. *Slovar' russkikh politicheskikh metafor* [The dictionary of Russian political metaphors]. Moscow, Pomovskij i partnery Publ., 1994. 351 p.
- Vygotsky L. S. *Myshlenie i rech'. Psikhika, soznanie, bessoznatel'noe* [Thinking and speech. Psychics, consciousness, unconsciousness]. Moscow, Labirint Publ., 2001. 368 p.
- Karaulov Yu. N. Aktivnaya grammatika i asotsiativno-verbal'naya set' [Active grammar and associative-verbal network]. Moscow, V. V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences Publ., 1999. 180 p.
- Kovyazina E. N., Kvaskov V. N., Mishlanova S. L. Priroda kak metafora v antichnoj filosofii (na materiale proizvedeniya Vl. Tatarkevicha «Istoriya filosofii») [Nature as metaphor in antique philosophy (based on “The history of philosophy” by Vl. Tatarkevich)]. *Vestn. Chelyab. gos. un-ta. Ser. Filologiya. Iskusstvovedenie* [Bulletin of Chelyabinsk State University. Ser. Philology. Study of Art]. 2009. Iss. 35. № 30(168). P. 107–112.
- Kubryakova E. S. Evolyutsiya lingvisticheskikh idej vo vtoroj polovine XX veka (opyt paradigmatal'nogo analiza) [Evolution of linguistic ideas in the second part of the 20th century (the experience of paradigmatic analysis)]. *Yazyk i nauka kontsa 20 veka* [Language and science of the late 20th century]. Moscow, Russian State University for the Humanities Publ., 1995. P. 144–238.
- Lejchik V. M. O yazykovom substrate termina [On the linguistic substrate of a term]. *Voprosy Yazykoznanija* [Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language)]. 1986. № 5. P. 87–97.
- Litvinova M. N. *Derivatsionno-pragmaticheskij analiz metafory*. Avtoreferat diss. kand. fil. nauk [Derivational and pragmatic analysis of metaphor. Synopsis of Cand. philol. sci. diss.]. Saratov, Saratov State University Publ., 1987. 17 p.
- Lotman Yu. M. *Vnutri myslyashhikh mirov. Chelovek – tekst – semiosfera – istoriya* [Inside thinking worlds. A human – text – semiosphere – history]. Moscow, Yazyki russkoj kul'tury Publ., 1996. 448 p.
- MacCormac E. Kognitivnaya teoriya metafory [Cognitive theory of metaphor]. *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow, Progress Publ., 1990. P. 358–386.
- Mishlanova S. L. *Metafora v meditsinskom tekste (na materiale russkogo, nemetskogo, anglijskogo yazykov)*. Avtoreferat diss. kand. fil. nauk [Metaphor in medical text (on the material of the Russian, German and English languages). Synopsis of Cand. philol. sci. diss.]. Perm, 1998. 17 p.
- Mishlanova S. L. *Metafora v meditsinskom diskurse* [Metaphor in medical discourse]. Perm, Perm State University Publ., 2002. 160 p.
- Mishlanova S. L. *Termin v meditsinskom diskurse (obrazovanie, funkcionirovanie, razvitie)*. Avtoreferat diss. dokt. fil. nauk [A term in medical discourse (formation, functioning and development). Synopsis of Dr. philol. sci. diss.]. Moscow, V. V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences Publ., 2003. 36 p.
- Mishlanova S. L. Analiz vospriyatiya meditsinskikh metaforicheskikh terminov [Medical metaphor terms perception analysis]. *Izvest. Samar. nauch. tsentra Ros. akad. nauk* [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. 2010. Vol. 12. № 3(2). P. 482–486.
- Mishlanova S. L., Suvorova M. V. Primenenie metodiki analiza zhestov v issledovanii mul'timodal'noj representatsii kontsepta «schast'e» v ustnom narrative [The use of gestures analysis methods in studying multimodal representation of the concept of happiness in oral narrative]. *Aktual'nye problemy izucheniya inostrannykh yazykov i literatur: v 2ukh ch.* [Topical issues of studying foreign languages and literatures: in 2 parts]. Perm, Perm State University Publ., 2013. Part 1. P. 22–25.
- Mishlanova S. L., Khokhlova A. E. Metaforicheskaya kompetentsiya u studentov yazukovykh i neyazykovykh spetsial'nostej [Metaphorical competence of students at linguistic and non-linguistic specialties]. *Inostrannye yazyki v kontekste kul'tury. Mezhevuz. sb. st. po materialam konf.* [Foreign languages in the context of culture. Interuniversity collection of conference papers]. Perm, Perm State University Publ., 2012. P. 188–194.
- Mishlanova S. L., Khokhlova A. E. Verbal'naya i zhestovaya reprezentatsiya otnosheniya prostranstvo-vremya v ustnom narrative [Verbal and gesture representation of space-time relation in oral narrative]. *Aktual'nye problemy izucheniya inostrannykh yazykov i literatur* [Topical issues of studying foreign languages and literatures]. Perm, Perm State University Publ., 2013. Part 1. P. 26–29.
- Murzin L. N. Obrazovanie metafor i metonimij kak rezul'tat derivatsii predlozhenij: K postanovke voprosa [Formation of metaphors and metonymies as

- a result of sentence derivation. To the formulation of the question]. *Aktual'nye problemy leksikologii i leksikografii* [Topical issues of lexicology and lexicography]. Perm, Perm State University Publ., 1972. P. 362–366.
- Murzin L. N. *Sintaksicheskaya derivatsiya: Analiz proizvodnykh predlozhenij russkogo yazyka* [Syntactical derivation. Analysis of derivative sentences in the Russian language]. Perm, Perm State University Publ., 1974. 170 p.
- Murzin L. N. Kompresiya i semantika yazyka [Compression and semantics of language]. *Semantika i proizvodstvo lingvisticheskikh edinits*. Sb. nauch. st. [Semantics and formation of language units. Collection of scientific papers]. Perm, Perm State University Publ., 1979. P. 36–46.
- Murzin L. N. *Osnovy derivatologii* [Fundamentals of derivatology]. Perm, Perm State University Publ., 1984. 56 p.
- Piaget J. *Rech' i myshlenie rebenka* [The language and thought of the child]. Moscow, Pedagogika-Press Publ., 1994. 528 p.
- Potebnya A. A. *Mysl' i yazyk* [Thought and language]. Moscow, Labirint Publ., 1999. 300 p.
- Simashko T. V. Analiz semanticheskoy proizvodnosti metaforicheskikh predlozhenij [Analysis of semantic derivativeness of metaphorical sentences]. *Semantika i proizvodstvo lingvisticheskikh edinits (Problemy derivatsii)*. Mezhevuz. sb. nauch. tr. [Semantics and derivation of linguistic units (Derivation problems). Interuniversity collection of scientific works]. Perm, Perm State University Publ., 1979. P. 100–106.
- Simashko T. V., Litvinova M. N. *Kak obrazuetsya metafora (derivatsionnyj aspekt)* [How metaphor is formed (derivational aspect)]. Perm, Perm State University Publ., 1993. 218 p.
- Utkina T. I., Mishlanova S. L. *Metafora v nauchno-populyarnom meditsinskom diskurse (semioticheskij, kognitivno-kommunikativnyj, pragmaticheskij aspekt)* [Metaphor in popular-science medical discourse (semiotic, cognitive-communicative and pragmatic aspects)]. Perm, Perm State University Publ., 2008. 428 p.
- Utkina T. I., Mishlanova S. L. Metafora v professional'noj kommunikatsii (na materiale ekonomicheskogo diskursa) [Metaphor in professional communication (on the economic discourse)]. *Evropejskij zhurnal sotsial'nykh nauk* [European Social Science Journal]. Moscow, 2014. № 2(41). Vol. 2. P. 259–265.
- Yakobson R. O lingvisticheskikh aspektakh perevoda [On linguistic aspects of translation]. *Izbrannye raboty* [Selected works]. Moscow, Progress Publ., 1985. P. 361–365.
- Alekseeva L., Isaeva E., Mishlanova S. Metaphor in Computer Virology Discourse. *World Applied Sciences Journal*. 2013. 27 (4). P. 533–537.
- Alekseeva L. M., Mishlanova S. L., Nakhimova E. A., Tchudinov A. P. The research of metaphor in the Ural linguistic school. *Life Science Journal*. 2014. 11 (12). P. 315–320.
- Alekseeva L. M., Mishlanova S. L., Isaeva E. V. The Derivation Study of Metaphor. *International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014. Anthropology, Archeology, History and Philosophy*. Conference Proceedings, Book 3. Albena, Bulgaria, 2014. P. 217–225.
- Cienki A. Why study metaphor and gesture? *Gesture studies. Vol. 3. Metaphor and gesture*. Eds. A. Cienki and C. Müller. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2008. P. 5–25.
- Cienki A. Multimodal Metaphor Analysis. *Metaphor Analysis: Research Practice in Applied Linguistics, Social Sciences and the Humanities*. Eds. L. Cameron and R. Maslen. London: Equinox Publishing, 2010. P. 195–214.
- Dijk T. A. van. *Discourse and knowledge: a sociocognitive approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 400 p.
- Dijk T. A. van. Specialized discourse and knowledge: a case study of discourse of modern genetics. *Cadernos de Estudos Lingüísticos*, Campinas, (44): 21–55, Jan. /Jun. 2003.
- Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 242 p.
- Mishlanova S. Metaphor in medical discourse. *Russian Terminology Science (1992–2002). IITF Series 12*. TermNet Publisher. International Network for Terminology. Vienna, 2004. P. 266–279.
- Mishlanova S., Tarasova N. Metaphor Modeling of Bird Flu in News Discourse. *The Stockholm 2013 Metaphor Festival*. Books of Abstracts. Stockholm: Stockholm University, 2013. P. 95–96.
- Mishlanova S., Suvorova M. Multimodal representation of Happiness in Russian Students' Narrative. *World Applied Sciences Journal*. 2014. 30 (14). P. 1752–1755.
- Mishlanova S., Morozova E., Khokhlova A. Verbal and gestural representation of the space-time relation in the oral narrative. *Proceedings from the 1st European Symposium on Multimodal Communication*, University of Malta, Valetta, October 17–18, 2014. P. 51–54.
- Steen G. *Finding Metaphor in Grammar and Usage*. John Benjamins Publishing Company, 2007. 425 p.
- Steen G., Dorst A. et al. *A Method for Linguistic Metaphor Identification*. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 238 p.

PERM SCHOOL OF METAPHOR

Larissa M. Alekseeva

Professor in the Department of Linguodidactics
Perm State University

Svetlana L. Mishlanova

Head of the Department of Linguodidactics
Perm State University

The article deals with the history and principles of creation of metaphor theory within the framework of derivatology at Perm linguistic school. The sources and premises for the school of metaphor formation are revealed; the main stages of the school development are described. The main theses and results are discussed. The main lines of research and prospects are analyzed, including such areas as metaphorical term creation, cognitive metaphor, metaphor in discourse, multimodal metaphor, metaphor competence. It is noted that search for new aspects of studying metaphor (e.g. multimodal and gestural theories) is typical of Perm school of metaphor. Within the school much attention is given to applied studies, to research into cross-cultural specificity of metaphor and to the dynamics of metaforization in various institutional types of discourse. One of the currently important research areas is formation of metaphorical competence as the ability to identify metaphors in discourse, interpret them and use in speech.

Key words: Perm school of metaphor; metaphor; discourse; derivation; term; metaphor competence.

УДК 378

СТОЯ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ: ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Алексей Васильевич Пустовалов

к. филол. н., доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Пермь, ул. Букирева, 15. theyareeverywhere@gmail.com

В статье оценивается роль филологов-зарубежников (преподавателей зарубежной литературы и иностранных языков) в истории Пермского университета. Выстраиваются значимые фигуры этого направления (А. А. Смирнов, Б. А. Кржевский, Б. Л. Богаевский, Н. П. Обнорский, А. Ф. Шамрай) начиная с момента основания университета (1916) до знаменательного события – создания филологического факультета (1960) под руководством А. А. Бельского. Подчеркивается, что университетские филологи продолжили давнюю вузовскую традицию, согласно которой при обращении к филологическим дисциплинам иностранный язык изучается вместе с его литературой, а знакомство с произведениями зарубежной литературы поддерживается знанием языков, на которых они написаны.

Особый акцент делается на неопенимом вкладе, который внес Н. П. Обнорский, создатель кафедры иностранных языков, в развитие университета; утверждается, что благодаря его деятельности гуманитарная традиция в Пермском университете в 1930-е гг. окончательно не прервалась, несмотря на полное отсутствие соответствующих факультетов.

Ключевые слова: история Пермского университета; зарубежная литература; зарубежная филология; иностранные языки; гуманитарная линия; гуманитарные кафедры Пермского университета.

doi 10.17072/2037-6681-2016-3-134-139

«Standing on the shoulders of giants» – это выражение, ставшее популярным благодаря сэру Исааку Ньютону, всплывает в памяти всякий раз, когда задумываешься о том, на чье научное и организационное наследие мы опираемся, работая в университете. Однако нечасто те, кто обращается к его истории, вспоминают об ученых-филологах, тем более – о филологах-зарубежниках – на первый план всегда выходят ученые-химики, математики, физики, биологи... Выпускнику кафедры зарубежной литературы сегодня уместно «вступить за своих», заявив: есть немало имен, известных по всей России и даже за ее пределами, которые относятся именно к этому направлению науки в университете и которыми можно и нужно гордиться.

Кто-то из этих ученых работал у нас два-три года, но были и те, кто отдал Пермскому университету лучшее время жизни и лучшие силы своей души. В преддверии столетнего юбилея важно вспомнить их – тех, кто был связан в ПГУ с линией изучения и преподавания зарубежной лите-

ратуры и ее определял и сохранял. Мы находим их уже на момент основания университета. Среди первых кафедр созданного в 1916 г. историко-филологического факультета была кафедра истории западноевропейских литератур.

Одним из ее ведущих преподавателей, читавших одноименный курс, был **Александр Александрович Смирнов** (1883–1962): еще до приезда в Пермь это известный деятель Серебряного века, лично знавший Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, А. А. Блока, В. Ф. Ходасевича, сотрудничавший с ними.

В Пермском университете приват-доцент А. А. Смирнов читал лекции и заведовал просеминарием по истории западноевропейских литератур, вел занятия по французскому и старофранцузскому языку на протяжении одного учебного года (1916–1917).

Позже, в 1930–1940-х гг., А. А. Смирнов завоевывает себе известность как крупный литературный и театральный критик, литературовед, переводчик (Шекспира и произведений сканди-

навского эпоса); он считается также основателем русской кельтологической школы. А. А. Смирнов был оппонентом на защите диссертации М. М. Бахтиным на тему о Рабле (1946).

Еще одна деталь: имя А. А. Смирнова можно не раз встретить в романах советских писателей, но в совершенно ином контексте: в дополнение к своей литературоведческой и литературной деятельности он был еще крупным шахматистом и шахматоведом своего времени – масштабов российских и даже международных. Он – участник турниров в стране и за ее пределами: в 1912 г. был чемпионом Парижа по шахматам, ключевым сотрудником «Шахматного листка» (первого русского журнала подобной тематики), являлся переводчиком книг Э. Ласкера, Х. Капабланки, А. Алехина, М. Эйве, Р. Рети и других гроссмейстеров.

После приват-доцента А. А. Смирнова должность экстраординарного профессора кафедры с 1917 по 1919 г. и после эвакуации университета в Томск с 1920 по 1922 г. занимал историк литературы, переводчик **Борис Аполлонович Кржевский** (1887–1954). Как и А. А. Смирнов, Кржевский был одним из плеяды блестящих выпускников историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. После отъезда из Перми А. А. Смирнова Б. А. Кржевский – один из ведущих преподавателей историко-филологического факультета, заменивший своего предшественника в преподавании западноевропейских литератур и французского языка, а также заведовавший семинарием по романо-германской филологии [Табункина 2015: 137, 140].

Позже он являлся одним из авторов одиннадцатого тома «Литературной энциклопедии» (М., 1939); им написаны, например, статьи «Тамайо-и-Баус», «Хуан де Тимонеда», «Тирсо де Молина»; он был также редактором издательства «Academia». Крупнейший для своего времени знаток Возрождения, исследователь испанской, французской и английской литератур, Б. А. Кржевский слыл также одним из лучших мастеров художественного перевода, успешно переводивший прозу Сервантеса и Франсуа Прево, Данте, Шарля де Костера. В 1942 г. был зачислен старшим научным сотрудником Института языка и мышления, но вскоре был уволен оттуда, потому что отказался эвакуироваться из блокадного Ленинграда. Его сил и здоровья хватило на то, чтобы пережить блокаду.

Рука об руку с А. А. Смирновым и Б. А. Кржевским трудился **Борис Леонидович Богаевский** (1882–1942), еще один известный выпускник Петербургского университета. Круп-

ный отечественный антиковед (впоследствии еще – лингвист-маррист¹), Б. Л. Богаевский с успехом читал курс античной литературы в Пермском университете в 1916–1919 гг. Он успел даже побыть деканом историко-филологического факультета в 1917–1918 гг.; при этом декане факультет превратился на некоторое время в один из ведущих центров антиковедения в России. Покинув ПГУ, с января 1921 по 25 июня 1922 г. Б. Л. Богаевский – ни много ни мало – был ректором Томского университета². С 1922 г. он преподавал в Петроградском (Ленинградском) университете, сосредоточив при этом в своих руках несколько административных постов (некоторое время был проректором по учебной работе ЛГУ). Но в 1942 г. невзгоды блокадного Ленинграда оборвали жизнь ученого.

Еще один немаловажный факт. Известно, что в 1930–1931 гг. Пермский университет передал большую часть преподавательских кадров «отпочковавшимся» от него педагогическому, сельскохозяйственному, медицинскому, фармацевтическому, ветеринарному, химико-технологическому институтам; исследователи истории университета с горечью констатируют, что линия гуманитарного обучения вплоть до 1941 (года воссоздания в ПГУ историко-филологического факультета) была утрачена. Однако это не совсем так: мы можем убедиться в том, что эту линию в известной мере поддержал, не дав ей угаснуть, **Николай Петрович Обнорский**, создавший кафедру иностранных языков и руководивший ею с 1932 по 1941 г. (его правой рукой была Е. О. Преображенская, подхватившая заведование кафедрой в 1941 г.).

Приехавший в Пермь знаток античной литературы, а также нескольких иностранных языков, филолог-универсал Н. П. Обнорский прославил свое имя уже тем, что был сотрудником «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Он оказался едва ли не единственным (вместе с латинистом и юристом В. Ф. Глушковым) из отцов-основателей университета, остававшимся до конца жизни вместе со своим детищем. Именно ему выпала в университете важная роль – стать основателем и первым директором фундаментальной библиотеки (1917–1931). Уволенный ректором З. И. Красильщик с этого поста как «не могущий обеспечить перестройку библиотеки в соответствии с задачами социалистического строительства», именно он помог удержаться готовой уйти в никуда гуманитарной линии в Пермском университете, создав кафедру иностранных языков.

Во многом справедливо утверждение о том, что отсутствие гуманитарных факультетов

(с 1930 г., когда университет расформировывался и его кафедры передавались новым вузам – педагогическому, медицинскому, фармацевтическому, сельскохозяйственному институтам) негативно сказалось на ПГУ, поскольку это «лишало университет универсальности и отрицательно влияло на общую духовную атмосферу, на общекультурное развитие студенчества» [Первый на Урале 1987: 58], и «более 10 лет развитие университета носило однобокий характер» [Рогожников, Дегтев 2014: 5–6].

Однако сегодня мы можем заявить, что гуманитарная линия в университете не прерывалась даже в 1931–1941 гг., хотя соответствующие кадры ПГУ перекочевали в отсоединившийся пединститут, именно благодаря усилиям Н. П. Обнорского, филолога-универсала, возглавлявшего в этот период кафедру иностранных языков [Преображенская 1968]: кроме кафедры основ марксизма-ленинизма, она была единственной гуманитарной кафедрой университета. Он и его коллеги (Е. О. Преображенская например) смогли сохранить в этот тяжелый период филологическую традицию в Пермском университете.

И именно Н. П. Обнорский, филолог-универсал (см. подробнее: [Братухин 2013], интеллигент старой закалки, продолжил в университете традицию, унаследованную им от образованной России прежних времен, согласно которой изучение языковедческих дисциплин не должно быть оторвано от изучения литературы и, наоборот, литература не должна изучаться в отрыве от языка. Как мог, на своей кафедре он привлекал к изучению иностранных языков литературные источники; помогало ему в этом наличие созданной им библиотеки фундаментальной литературы.

Одна из лучших его учениц, живой свидетель перелома в ПГУ на рубеже 1920–1930, Мария Александровна Генкель вспоминает: «Лекции Николая Петровича Обнорского по истории античной литературы были замечательны по широте привлекаемого им историко-культурного материала... Н. П. Обнорский преподавал нам и английский язык, дав весьма основательные знания... Мы начали читать романы Диккенса в подлиннике, затем перешли к Байрону» [Генкель 1991: 11].

Традицию изучения языка вместе с литературой продолжила и Е. О. Преображенская, в 1941 г. принявшая управление кафедрой иностранных языков (с 1963 г. после ее разделения – кафедрой немецкого, французского и латинского языков) и с 1960-х преподававшая одновременно и на кафедре зарубежной литературы.

Перед началом 1941/1942 учебного года историко-филологический факультет в университете был восстановлен; его основой (вместе с кафедрой основ марксизма-ленинизма) стала кафедра иностранных языков Н. П. Обнорского. В дополнение к этим двум уже имеющимся структурам в августе 1941 были организованы кафедры всеобщей истории и истории народов СССР; в октябре появились филологические кафедры, во главе которых встали совместители из пединститута: М. А. Генкель возглавила кафедру языкознания, кафедру истории литературы – Александр Данилович Тупицын (читавший курсы русской, а также зарубежной литературы), кафедру всеобщей литературы – крупный специалист-зарубежник **Агапий Филиппович Шамрай** (1886–1952). Но через два месяца, к концу 1941, произошли изменения: кафедры языкознания, истории и всеобщей литературы слили в одну, и объединенную кафедру (на некоторое время взявшую на себя преподавание большей части филологических дисциплин) возглавил А. Ф. Шамрай.

А. Ф. Шамрай был не только крупным специалистом по зарубежной литературе, но и настоящим интернационалистом: уехав с родной Украины, он успел поработать в вузах Узбекистана, Удмуртии, Урала. Знаток своей родной литературы – А. Ф. Шамрай был автором основательной монографии «Украинская литература» (1928) – он получил известность как исследователь и популяризатор творчества И. П. Котляревского. В России он был также известен своими работами о творчестве В. Шекспира, В. Гюго, Э.-Т.-А. Гофмана.

С управлением важнейшей для филологического направления кафедрой в трудное военное время он справлялся достойно; смог даже выкраивать время для научной работы, результатом которой стала защита в конце 1943 г. докторской диссертации (тема – «Творчество Э. Т. А. Гофмана»). Таким образом, А. Ф. Шамрай стал первым доктором наук, защитившимся в рамках новосозданного факультета!³

К этому времени на факультет приходит работать еще один доктор-филолог, известный пушкиновед из Ленинградского университета **Борис Павлович Городецкий**. Благодаря его появлению на рубеже 1943–1944 гг. удалось разделить кафедру по специализациям: линию русского языка и языкознания возглавил Иван Михайлович Захаров, сам Городецкий взял на себя все, что относилось к русской литературе, и встал во главе одноименной кафедры, а А. Ф. Шамрай, специалист по зарубежной литературе, стал тем, кем должен был быть, – заве-

дующим кафедрой западной литературы. Правда, он остался у нас после этого не больше года: в конце войны А. Ф. Шамрай покинул Пермский университет, чтобы вернуться на родину Украину и занять должность профессора в Киевском университете и заведующего отделом западноевропейской литературы Института литературы им. Тараса Шевченко АН УССР. Преподавание же русской и зарубежной литературы велось с тех пор в ПГУ до 1964 г. в рамках одной кафедры.

Возвращаясь к исходной мысли статьи, можно подчеркнуть – то были гиганты, на плечах которых создавалась сегодняшняя кафедра мировой литературы и культуры! И **Александр Андреевич Бельский** (1921–1977), возродивший кафедру (как кафедру зарубежной литературы), был достойным продолжателем их дела.

Участник Великой Отечественной войны, выпускник аспирантуры МГУ, где его наставниками были такие крупные ученые, как Р. М. Самарин и А. Ф. Иващенко, он сам в 1960–1970-х гг. был одним из ведущих англистов России. Его исследованиями по истории английского романа было выявлено многообразие его жанровых форм на протяжении первой трети XIX в., открыты и введены в отечественное литературоведение новые имена (Дж. Остен, Т. Л. Пикок, М. Эджуорт и др.), дополнены и уточнены представления о творчестве В. Скотта, Ч. Диккенса, У. М. Теккерея (подробнее см.: [Проскурнин 2010: 41]). Неслучайно ему было доверено написать ряд статей об английских писателях в Большой советской и в Краткой литературной энциклопедиях. Т. И. Ерофеева, один из руководителей факультета следующего периода, считает, что А. А. Бельскому надо воздать должное за то, что после трудных для университетских филологов 1950-х гг. именно он в 1960–1970-х смог возродить линию неразрывного изучения и преподавания двух элементов филологии – языка и литературы, сделав особый акцент на соединении учебного процесса и научной работы студентов (на уровне семинаров, курсовых и дипломных работ). А. А. Бельского по праву считают одним из основателей пермской школы литературоведения. Заместитель последнего декана историко-филологического факультета и первый декан созданного в 1960 г. филологического факультета, он покинул свой пост, чтобы в 1964 г. вложить все силы в создание кафедры зарубежной литературы. Под его руководством на кафедре защищаются диссертации, создаются научные труды, уже в 1960–1970-х школа становится достаточно известной в стране. С 1971 г. он вновь декан; лишь внезапная смерть в 1977 г. оторвала его от

факультетских и кафедральных трудов. В настоящее время кафедру, а также новый факультет Пермского университета – СИЯиЛ – возглавляет ученик А. А. Бельского профессор Б. М. Проскурнин.

Восстановление и сохранение светлой памяти об этих деятелях – А. А. Смирнове, Б. А. Кржевском, Б. Л. Богаевском, Н. П. Обнорском, А. Ф. Шамрае, А. А. Бельском – помогает нам увидеть зарубежную линию более значимой не только в масштабе университета, но и в масштабе всего вузовского образования: так следует оценивать роль фигур, имевших к ней отношение! И празднуя столетний юбилей университета, мы должны помнить о них.

Примечания

¹ Марризм, т. е. последователь «нового учения о языке» Н. Марра (известного также как яфетическая теория, теория стадильности, яфетидология, марризм). Данная теория происхождения, истории и «классовой сущности» языка с конца 1920-х до начала 1950 г. пользовалась государственной поддержкой в СССР. Опиралась на огромное число произвольных и недоказуемых утверждений; ныне относится к псевдонауке.

² Ректор-филолог – не особенно частый случай: в ПГУ такое было лишь раз, и правление филолога было трагическим и оптимистическим одновременно. Степан Антонович Стойчев по приказу Совнаркома в 1930–1931 ликвидировал университет как отдельную научно-образовательную единицу, разделив его на ряд самостоятельных институтов; но он же вскоре и вернул его к жизни.

³ Подробнее об этом: *Пустовалов А. В.* Первый доктор-филолог возрожденного факультета // ФилФакт. 9 февр. 2015. № 1(78). С. 4. URL: [http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/09_02_15_shamray\(1\).pdf](http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/09_02_15_shamray(1).pdf) (дата обращения: 09.07.2015).

Список литературы

Братухин А. Ю. Н. П. Обнорский – пермский классик // Двойной портрет – III: (филологи-античники о европеизации и деевропеизации России): сб. ст. / сост. М. Н. Славятинская. М., 2013. С. 37–45. URL: <http://www.psu.ru/universitetskaya-zhizn/universitetskie-smi/stati-ob-universitete/bratukhin-obnorskiy> (дата обращения: 09.07.2015).

Генкель М. А. Я благодарна своим учителям // Пермский университет в воспоминаниях современников. Вып. 1 / сост. А. С. Стабровский. Пермь: Изд-во ТГУ. Перм. отд-ние, 1991. С. 5–12. URL: <http://www.psu.ru/files/docs/ob-universi>

tete/smi/knigi-ob-universitete/permskij-universitet-v-vospominaniyah-sovremennikov-1.pdf (дата обращения: 09.07.2015).

Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь, Перм. кн. изд-во. 1987. 234 с. URL: http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/firstonu_ocr.pdf (дата обращения: 09.07.2015).

Преображенская Е. О. Николай Петрович Обнорский – лингвист, литературовед (1916–1949) // Вопросы теории и методики преподавания иностранных языков. Вып. I. / Учен. зап. Перм. гос. ун-та. № 167. Пермь, 1968. URL: <http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet/o-fakultete-fil/nikolay-p-obnorskiy> (дата обращения: 09.07.2015).

Проскурнин Б. М. Изучение мировой литературы в Пермском государственном университете: история и перспективы // Вестник Пермского научного центра. Апрель–июль 2010. № 2. С. 39–45.

Проскурнин Б. М. Изучение мировой литературы в Пермском государственном университете: история и перспективы // Пограничные процессы в литературе и культуре: сб. статей по материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения Василия Каменского (17–19 апр. 2009 г.) / общ. ред. Н. С. Бочкарева, И. А. Пикулева; Перм. ун-т. Пермь, 2009. С. 5–10.

Рогожников С. И., Дегтев М. И. Кафедра аналитической химии Пермского университета – возникновение, первый заведующий, первый выпуск // Вестник Пермского университета. Сер. «Химия». 2014. Вып. 1(13). С. 4–27. URL: http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/analyt_chem.pdf (дата обращения: 09.07.2015).

Табункина И. А. Профессор Б. А. Кржевский в Пермском университете // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2015. Вып. 3(31). С. 4–27. URL: <http://www.rfp.psu.ru/archive/3.2015/tabunkina.pdf> (дата обращения: 09.07.2015).

References

Bratukhin A. Yu. N. P. Obnorskiy – permskiy klassik [N. P. Obnorskiy as a Perm classic]. *Dvoynoy portret – III: (filologi-antichniki o yevropeizatsii i deyeuropeizatsii Rossii)* Sb. Statey [A double portrait – III: (philologists studying antiquity about Europeanization and de-Europeanization of Russia) Collected works]. Comp. by M. N. Slavyatinskaya. Moscow, 2013. P. 37–45. Available at: <http://www.psu.ru/universitetskaya-zhizn/universitetskie-smi/stati-ob-universitete/bratukhin-obnorskiy> (accessed 09.07.2015).

Genkel M. A. Ya blagodarna svojim uchitelyam [I am grateful to my teachers]. *Permskiy universitet v vospominaniyakh sovremennikov. Vyp. I* [Perm State University in memories of contemporaries. Iss.1]. Comp. by A. S. Stabrovskiy. Perm, Perm Branch of the Tomsk State University Publ., 1991. P. 11. Available at: <http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/permskij-universitet-v-vospominaniyah-sovremennikov-1.pdf> (accessed 09.07.2015).

Kertman L. Ye., Vasilyeva N. Ye., Shustov S. G. *Pervyi na Urale* [The first in the Urals]. Perm, Permskoye knizhnoye izdatel'stvo Publ., 1987. 234 p. Available at: http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/firstonu_ocr.pdf (accessed 09.07.2015).

Preobrazhenskaya Ye. O. Nikolay Petrovich Obnorskiy – lingvist, literaturoved (1916–1949) [Nikolay Petrovich Obnorskiy as a linguist and literary critic (1916–1949)]. *Voprosy teorii i metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov. Vyp. I. Uch. zap. Perm. gos. un-ta, № 167* [Questions of theory and methods of teaching foreign languages. Proceedings of Perm State University, № 167]. Perm, 1968. Available at: <http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet/o-fakultete-fil/nikolay-p-obnorskiy>.

Rogozhnikov S. I., Dyogtev M. I. Kafedra analiticheskoy khimii Permskogo universiteta – vzniknoveniye, pervyi zaveduyushchiy, pervyi vypusk [The Department of Analytical Chemistry of Perm University: establishment, first head, first graduates]. *Vestnik Permskogo Universiteta. Seriya "Khimiya"*. [Bulletin of Perm University. Series "Chemistry"]. 2014. Iss. 1(13). P. 4–27. Available at: http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/analyt_chem.pdf (accessed 09.07.2015).

Proskurnin B. M. Izucheniye mirovoy literatury v Permskom gosudarstvennom universitete: istoriya i perspektivy [The study of word literature in Perm State University: history and prospects]. *Vestnik Permskogo nauchnogo tsentra* [Bulletin of Perm Scientific Centre]. April–July. 2010. Iss. 2. P. 39–45.

Proskurnin B. M. Izucheniye mirovoy literatury v Permskom gosudarstvennom universitete: istoriya i perspektivy [The study of word literature in Perm State University: history and prospects]. *Pogranichnye protsessy v literature i culture: sb. statey po materialam Mezhdunar. nauch. konf., posvyashchennoy 125-letiyu so dnya rozhdeniya Vasiliya Kamenskogo (17–19 apr. 2009 g.)* [Boundary processes in literature and culture: collected articles based on material of the International Scientific Conference devoted to the 125th anniversary of Vasiliy Kamenskiy's birth (17–19 April 2009)]. Ed. by N. S. Bochkareva,

I. A. Pikuleva. Perm, Perm State University Publ., 2009. P. 5–10.

Tabunkina I. A. Professor B. A. Krzhevskiy v Permskom universitete [Professor B. A. Krzhevskiy in Perm State University]. *Vestnik Permskogo uni-*

versiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and foreign philology]. 2015. Iss. 3(31). P. 4–27. Available at: [http://www.rfp.psu.ru/archive/3.2015 /tabunkina.pdf](http://www.rfp.psu.ru/archive/3.2015/tabunkina.pdf) (accessed 09.07.2015).

**STANDING ON THE GIANTS' SHOULDERS:
FOREIGN PHILOLOGY AT PERM UNIVERSITY**

Alexey V. Pustovalov

**Associate Professor in the Department of Journalism and Mass Communication
Perm State University**

The article considers the role of specialists in foreign literature and foreign languages in history of Perm State University. It studies activity of some scholars (A. A. Smirnov, B. A. Krzhevskiy, B. L. Bogayevskiy, N. P. Obnorskiy, A. F. Shamray) working in the field from the moment of the university's foundation (1916) to the establishment of the Faculty of Philology with the lead of A. Belskiy. It is emphasized that the university philologists continued the long-standing tradition according to which in philological disciplines study of a foreign language takes place in conjunction with literature written in this language, and vice versa.

Special attention is paid to the important role which N. P. Obnorskiy, the founder of the Department of Foreign Languages, played in history of the university: it is stated that due to his activity, tradition of the humanities was not completely abandoned in the 1930s, even despite the total absence of the corresponding faculties.

Key words: history of Perm University; foreign literature; foreign philology; foreign languages; tradition of the humanities; dismantling of the humanities departments at Perm University.

Научный периодический журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» зарегистрирован в 2009 г. как самостоятельное издание, объединяющее две серии журнала «Вестник Пермского университета», издаваемого с 1994 г. («Филология» и «Иностранные языки и литературы»).

В журнале отражаются результаты научной деятельности российских и зарубежных филологов. Кроме научных статей, материалов конференций, симпозиумов и семинаров, журнал печатает рецензии на монографии, сборники научных трудов и т.п., опубликованные в России и за рубежом, тематические обзоры и развернутую информацию о событиях научной жизни по профилю издания.

Полнотекстовая версия выставляется на сайте <http://www.rfp.psu.ru> и на сайте НЭБ Elibrary.ru.

С 19.02.2010 г. журнал включен в **Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий**, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

Каждая рукопись сопровождается внешней рецензией специалиста в исследуемой области, имеющего степень кандидата или доктора наук и не являющегося сотрудником вуза автора. Подпись рецензента заверяется в отделе кадров по месту работы. Авторы, не имеющие ученой степени, представляют, кроме внешней рецензии, отзыв научного руководителя, подписанный и заверенный по месту его работы. В рецензии и отзыве должны быть указаны полностью ФИО, ученая степень, должность, место работы и электронный адрес рецензента. Аспиранты дополнительно представляют официальную справку о сроках обучения в аспирантуре с указанием контактного телефона зав. отделом аспирантуры, подписавшим его документ.

Все три документа с печатями могут присылаться по почте или в сканированном виде отправляться на электронный адрес редакции вместе со статьей. Письмо с вложенными файлами должно быть отправлено с адреса, указанного в сведениях об авторе, и сопровождаться следующим текстом: «Передавая статью в научный журнал “Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология”, я гарантирую, что статья создана мной лично и не была ранее опубликована. Согласен на размещение статьи на сайте “Вестника” <http://rfp.psu.ru/>. Беру на себя полную ответственность за соблюдение авторских прав в отношении используемых мной материалов» (в случае частичной публикации представляемой статьи здесь должны быть указаны сведения об уже опубликованном фрагменте и месте его публикации).

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1–6 месяцев. Окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией и главным редактором. Члены международного редакционного совета или редколлегии даже при наличии положительной рецензии могут обратиться к главному редактору с предложением о дополнительном рецензировании статьи. В этом случае назначаются три эксперта из состава редколлегии или совета для подготовки обоснованного заключения. В случае отрицательного решения автору рукописи направляется мотивированный отказ от имени редколлегии. Рукопись, сопровождаемая внутренней рецензией, может быть отправлена автору на доработку для устранения замечаний. Срок доработки не ограничен. Статья, не соответствующая требованиям, предъявляемым к публикациям, вторично на доработку не отправляется. Статьи аспирантов, одобренные редколлегией, публикуются бесплатно.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

Рукопись объемом от 20 до 40 тыс. знаков, оформленная в соответствии с выложенной на сайте ФОРМОЙ, должна поступить вместе с ПАСПОРТОМ СТАТЬИ и со всеми указанными выше документами по электронному адресу langlit2009@mail.ru. Чтобы убедиться в том, что Ваши материалы получены, попросите отправить подтверждение.

Основной текст может быть написан на русском или английском языках.

Правила оформления рукописей помещены на сайте журнала в разделе «Правила оформления рукописей» и в прикрепленном файле ФОРМА.

Главный редактор – Ирина Александровна Табункина. Тел. (342)2396290.

Адрес редакции: 614990, Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 5, ауд. 28 (лаборатория «Духовная культура Прикамья в лингвистическом аспекте»), тел. (342)2396795 (зам. гл. редактора – *Ирина Ивановна Русинова, Наталья Валерьевна Шутимова*, ответственный за сайт – *Алексей Васильевич Пустовалов*).

Научное издание

**Вестник Пермского университета.
Российская и зарубежная филология**

Выпуск 3(35) / 2016

Редакторы *Л. А. Богданова, О. И. Кирьянова*
Корректоры *Л. А. Семицветова, С. Л. Рассанова*
Компьютерная верстка *И. А. Табункиной*
Макет обложки *Т. А. Басовой*

Подписано в печать 23.09.2016. Дата выхода в свет 29.09.2016.
Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 16,39. Тираж 500 экз. Заказ _____



Издательский центр
Пермского государственного
национального исследовательского университета.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Типография Пермского государственного
национального исследовательского университета.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Подписной индекс журнала
«Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология»
в общероссийском каталоге «Пресса России» – 41008
Распространяется бесплатно и по подписке